

E 101
208
В. П. Авенариусъ.

ТРИ ВЪНЦА

ПЕРВАЯ ПОВѢСТЬ

ИЗЪ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ

„ЗА ЦАРЕВИЧА“.

(ПЕРЕРАБОТАНА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА ИЗЪ РОМАНА ТОГО-ЖЕ НАЗВАНІЯ).

СЪ 12 РИСУНКАМИ.

Цѣна 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к. въ колѣнк. переплетѣ 2 р. 25 к.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издаіе книжнаго магазина П. В. Луковникова.

Лештуковъ переулокъ, д. № 2.

Василий Петрович Авенариус

Поветрие (За царевича #1)

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.

Содержание

#1	0007
Часть первая ЦАРСКИЙ ВЕНЕЦ	0008
Вступление	0008
Глава первая ЕДИНОБОРСТВО С ТУРИЦЕЙ	0012
Глава вторая ТУРЕНОК	0022
Глава третья В ПОГОНЕ ЗА ПЛЕМЯННИЦЕЙ	0030
Глава четвертая ЧЕМ ХОРОШ БЫЛ ЦАРЬ БОРИС	0042
Глава пятая КАК ОБЪЯВИЛСЯ ЦАРЕВИЧ	0050
Глава шестая ДОЖДАЛСЯ!	0059
Глава седьмая ГАЙДУК ЦАРЕВИЧА	0072
Глава восьмая В ГОЛОВЕ ПАННЫ МАРИНЫ НАЗРЕВАЕТ ПЛАН	0084
Глава девятая ПАННА МАРИНА ПРИНИМАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ	0094
Глава десятая ФАЛЬШИВАЯ ТРЕВОГА	0103
Глава одиннадцатая ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА	0120
Глава двенадцатая КОЕ-ЧТО О ПОЛЬСКОМ ВОСПИТАНИИ ТРИСТА ЛЕТ НАЗАД	0129
Глава тринадцатая VIVAT DEMETRIUS IOANNIS, MONARCHIAE MOSCOVITICAE DOMINUS ET REX!	0138
Часть вторая ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ	0149
Глава четырнадцатая ДЕНЬ ВИШНЕВЕЦКИХ	

0149

Глава пятнадцатая НА СЦЕНУ ВЫСТУПАЮТ
ИЕЗУИТЫ 0162

Глава шестнадцатая ОТЕЦ НИКАНДР И
ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ПАИСИЙ 0177

Глава семнадцатая ВОЛК В ОВЧАРНЕ 0191

Глава восемнадцатая ПО СВЕЖЕМУ СЛЕДУ
0202

Глава девятнадцатая ПАНУ ТАРЛО
РЕШИТЕЛЬНО НЕ ВЕЗЕТ 0212

Глава двадцатая ГАДАЛКА 0218

Глава двадцать первая ДЕВУШКИ
«ПОДСЛУШИВАЮТ», НО НЕ ТО, ЧТО ОЖИДАЛИ
. 0235

Глава двадцать вторая НОРОВ БИРКИНЫХ
СКАЗЫВАЕТСЯ 0247

Глава двадцать третья В ОГНЕ И В ПОЛЬШЕ
0256

Глава двадцать четвертая МАРУСЯ
«СБРЕНДИЛА» 0274

Глава двадцать пятая СУД СТРОГИЙ И
НЕУМЫТНЫЙ 0288

Глаза двадцать шестая ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА
0308

Глава двадцать седьмая ИСПОВЕДЬ КУРБСКОГО
. 0317

Глава двадцать восьмая НА КРАСНОГО ЗВЕРЯ
0329

Глава двадцать девятая ГОН	0338
Глава тридцатая ЗАСОСАЛО!	0347
Часть третья БРАЧНЫЙ ВЕНЕЦ	0359
Глава тридцать первая ПАННА МАРИНА ТАНЦУЕТ МЕНУЭТ	0359
Глава тридцать вторая МАРУСИН ПЕРСТЕНЬ . . . 0373	
Глава тридцать третья МСТИТЕЛЬ	0381
Глава тридцать четвертая ЕЩЕ О МАРУСИНОМ ПЕРСТНЕ	0389
Глава тридцать пятая В КОМ СИЛА	0405
Глава тридцать шестая СЕСТРА И БРАТ . . .	0421
Глава тридцать седьмая ЦАРЕВИЧ У ПАПСКОГО НУНЦИЯ	0443
Глава тридцать восьмая ЦАРЕВИЧ ПЕРЕД КОРОЛЕМ СИГИЗМУНДОМ	0460
Глава тридцать девятая НОВЫЕ УСЛУГИ БАЛЦЕРА ЗИДЕКА	0468
Глава сороковая БАННИТ	0478
Глава сорок первая БРАЧНАЯ ЗАПИСЬ . . .	0497
Глава сорок вторая НА МОСКОВИЮ!	0503
Глава сорок третья МИШУК!	0522
Глава сорок четвертая ОТЧЕГО КУРБСКИЙ ЧУРАЛСЯ БРАЧНОГО ВЕНЦА	0533

**В. П. Авенариус
За царевича
(Историческая трилогия)**

**(Историческая повесть из времен
первого самозванца)**

Часть первая ЦАРСКИЙ ВЕНЕЦ

Вступление

Тяжелые времена переживала земля русская в последние годы царствования Бориса Годунова. В течение всего лета 1601 года шли проливные дожди, не давая вызреть хлебам; в середине же августа, под праздник Успения Богородицы, побил морозом весь хлеб на корню. Прошлогодние запасы дали еще земледельцу прожить впроголодь до весны и засеять поля старым зерном; но за первым недородом последовали два года совсем неурожайные, голодные: лежалое зерно не взошло, а засеять землю-кормилицу сызнава было уже нечем.

Открылся лютый голод и мор. С отменой Юрьева дня крестьяне и холопы хотя и были теперь, казалось, бесповоротно закреплены за своими барами, но голод порвал эти насильственные узы: закрепощенные самовольно разбегались; сами бары гнали их от себя,

чтобы избавиться от лишних ртов.

По лесам завелись разбойничьи шайки, от которых не было проходу ни пешему, ни конному. По городским улицам, по большим дорогам брели толпами нищие, оглашая воздух раздирательными воплями о куске хлеба. Десятками, сотнями падали они на пути в предсмертных корчах, и во рту у них находили траву, кору древесную, солому, землю. Лошадиное мясо, мясо собак, кошек, крыс почиталось за лакомство.

Напрасно царь Борис дал тысяче-другой трудового люда работу над постройкою большого каменного здания в Кремле; напрасно, изо дня в день, раздавал он от щедрот своих милостыню, раскрыл царские житницы — все это было каплею в море и не могло существенно ослабить общее народное бедствие. Отовсюду только и слышалось, что люди пухнут от голода и на третий-четвертый день отдают Богу душу. Голодный тиф выродился в чуму, и народ вымирал целыми семьями. В одной Москве, на глазах, так сказать, царских, перемерло (по словам бытописца того времени Петрея) до полумиллиона людей; о

дальних, глухих местах и говорить нечего.

Трехгодичные непрерывные лишения отразились не только на телесном здравии народном, но и на духовном: развратили в народе коренные его верования, помutilи его природный светлый ум. Кто мог быть виновником этого гнева Божьего на всех православных, как не тот, кто был поставлен самим Богом пещись о благе их? Снова всплыли и жадно передавались из уст в уста забытые рассказы о совершенном за 12 лет назад в городе Угличе убийстве царевича Димитрия, сына и прямого наследника приснопамятного царя-мучителя, Ивана Васильевича. Кому могло быть на потребу то убийство, как не ему одному, правителю Борису Годунову, который затем уже беспрепятственно мог дать выбрать себя в цари? А теперь вот, за вину его тяжкую, Господь ниспослал кару на всю землю русскую: зачем-де выбрали, посадили на престол душегубца! Что в том, что он всякими добрыми делами мнит искупить свой старый грех? Не искупить, злодей, не замолить!

Среди такого-то ропота и брожения народного, с границ литовских пронесся вдруг со-

вершенно невероятный, дивный слух, что будто бы царевич Димитрий вовсе не погиб, что он спасся от подосланных Годуновым убийц и проживает на Литве. Отрадный слух этот был, однако же, еще так смутен, что никто почти на Руси не смел ему верить.

Между тем по ту сторону границы, в Малой Польше, на Волыни, молва приняла уже более осязательный образ: находились люди, имевшие случай своими глазами видеть человека, выдававшего себя за покойного сына Грозного царя. Наслышался о нем, хотя еще его и не видел, и молодой герой нашего рассказа, с которым мы сейчас познакомим читателей.

Глава первая

ЕДИНОБОРСТВО С ТУРИЦЕЙ

Туры (нынешние зубры, сохранившиеся в наше время в Западном крае, как зоологическая редкость, в одной только Беловежской пуще, Гродненской губернии) триста лет назад водились не только по всей дремучей, непролазно-болотистой чаще обширного бассейна Припяти, так называемого «Полесья» (обнимающего южные уезды губерний Гродненской и Минской и северные — губерний Киевской и Волынской), но были обычным явлением и за чертою Полесья, на Волыни, в уездах Владимирском и Дубенском, как показывают самые названия местных поселений: «Турийск», «Турья», «Затурцы», «Туричаны», «Туриковичи», «Турье поле» и проч. Где теперь по зыбучим пескам пролегает почтовый тракт с одинокими ветлами, ясенями, грабами и с неизбежною телеграфною нитью, а на много верст кругом осиротело чернеют такие же свидетели новейшей цивилизации — обрубленные древесные пни, там когда-то, про-

должением Полесья, расцветали роскошные дубовые и сосновые леса, в которых был настоящий вод всякому зверю.

В таком-то бору, в болотистой долине, тянущейся от Козина на Вербу и далее на Острог, на обрывистом берегу реки Иквы под вечер знойного июльского дня паслась матерая турица со своим трехдневным сосуном. Отбившись от своего стада, она настолько, видно, доверяла собственной силе, чтобы не страшиться внезапного нападения со стороны единственного опасного врага туров — человека. Да и где было взяться человеку? Первобытную гущину этого векового леса никогда еще, казалось, не переступала нога человека. Даже птичий свист и гам понемногу умолк. Изредка только постукивали еще там и сям неутомонные дятлы; да из трясины с разных сторон тянули свои гнусливые ноты болотные органисты — жабы. В неподвижном воздухе чувствовалась удушливая вечерняя сырость: тяжелые испарения болотистой почвы расстилались кругом прозрачным туманом и, словно порожденные ими, рои коромыслов и мелких мошек взвивались к гасну-

щему небу, чтобы поиграть еще над ярко озаренными верхушками бора в последних лучах уходящего солнца.

Вдруг предательский звук обратил внимание турицы. Она вскинула свою могучую косматую голову с криво загнутыми назад рогами и пытливо-гордо повела белками больших выпуклых глаз по темнеющей чаще. Но в тот же миг оттуда блеснул огонь, грянул выстрел — и, пораженная пулей в грудь, турица со стоном упала на передние колена.

Неожиданный гром выстрела вспугнул в ближнем лозняке стаю диких уток. С шумным взмахом крыл, дружно крикая, взвились они над излучиной реки и понеслись в сторону, чтобы опуститься в камыши где-нибудь в более безопасном месте.

Турица, исходя кровью, стояла по-прежнему неподвижно, как вкопанная, на передних коленях. Между деревьями показался враг ее — великан и атлет. Годами он был еще юн — лет никак не более двадцати. Сильно загорелое и обветрившееся лицо было опушено начинающейся светло-русой бородкой; высокий, без малого в сажень, стан его, затяну-

тый сверж козуха поясом, был юношески тонок и строен. Но в плечах молодой человек был уже так широк, грудь его была так высока, что и теперь он мог почитаться богатырем. Станный, можно сказать, дикий наряд его придавал ему вид еще более внушительный: волчий козух шерстью вверх, берестовая шапка набекрень, за поясом длинный нож, в руках дымящийся еще самопал — делали из него если не разбойника, то по меньшей мере одичалого полещука, дикаря. Но в молодом лице его не было ничего зверского: крупные, но правильные черты его, напротив, поражали каким-то врожденным благородством, а смелый взгляд голубых глаз был так ясен и прямодушен, что отнюдь не мог принадлежать душегубцу.

Большими шагами приблизился дикарь к подстреленному зверю. Теперь только, казалось, заметил он около турицы теленка-сосуна, который, в безотчетном страхе, прижался к боку матери.

— А, бедняженька! — с участием промолвил он, — знал бы, так пожалуй не тронул бы ее, твоей кормилицы.

Он наклонился к туренку, чтобы погладить его. Пораженная уже насмерть, но еще державшаяся на коленях турица неверно поняла его движение и, чтобы заслонить свое детище от собственного ее убийцы, с последним напряжением сил рванулась к нему с земли. Молодой человек едва успел увернуться, чтобы не быть сбитым с ног. Выхватить нож, замахнуться прикладом ружья — у него не достало уже времени. Удалось ему только одно — поймать разъяренное животное за рога.

Для обыкновенного смертного меряться силами с царем Полесья, туром, хотя бы и тяжелораненым, — было бы, разумеется, безумством. Для полещука-богатыря это был, видно, только новый, но тем более заманчивый способ борьбы, из которого он, как всегда, ожидал выйти победителем.

Неожиданно задержанная в движениях своим противником, не выпускавшим рогов ее из своих жилистых рук, турица яростно мотала головой, опущенной, против воли ее, долу, взрывала копытами землю и что есть мочи напирала на врага. Тот, однако, с эластич-

ностью молодости слегка уступая ее буйному напору, вместе с тем ни на миг не выпускал ее из своей власти. Как два испытанные бойца, водили они друг друга; но дикарь очень ловко пользовался каждым передвижением турицы, чтобы мало-помалу оттеснить ее к обрывистому берегу реки. Силы видимо начали изменять ей. Истекая кровью, она раз уже спотыкнулась и, как бы призывая на помощь отсутствующих членов родного стада, издала протяжное глухое мычание.

Молодой человек, впрочем, также донельзя истомился; он просто задышался, и по разгоряченному лицу его пот струился в три ручья. Но перевес был уже явно на его стороне: от задних копыт животного до края обрыва оставалось не более двух шагов.

Надо было разом порешить бой. Дикарь напряг мышцы до крайней степени и с такою стремительностью приподнял турицу за рога на дыбы, с такою Мощью толкнул ее руками в грудь, что она запрокинулась назад, передние ноги ее мелькнули в воздухе, задние сорвались с обрыва — и бой был окончен: увлекая за собой землю и каменья, турица шумно ска-

тилась с невысокого, но довольно крутого берега в самую реку, и воды с плеском расступились перед ее грузным телом.

Стрелок наш глубоко перевел дух, поднял с земли брошенный перед тем самопал и стал наскоро заряжать его. В пороховнице у него оказалось пороху не более, как на один заряд.

— Все одно пришлось бы к жиду идти, — пробормотал он про себя.

Между тем турица, ошеломленная падением с высоты, словно оправилась еще раз и показалась из-под воды. Иква в этом месте довольно мелководна, и поверхность ее была затянута сплошной сетью водорослей, осоки, камыша, водяных лилий. Поднявшись на ноги, турица тяжело зафыркала мокрыми ноздрями и двинулась к берегу, унося на своих кривых рогах и широкой спине целый цветник речных трав и цветов. Но, ступив уже передними копытами на сушу, она вдруг зашаталась, протяжно, как бы укоризненно замычала и стала падать, падать, пока совсем не повалилась на бок, чтобы уже не встать.

В ответ ей дикарь услышал около себя тоненькое, но не менее жалобное мычание, и



Дикарь приподнялъ турицу за рога на дыбы.

не успел оглянуться, как из-под ног его к обрыву юркнул сосун-туренок, про которого он, в разгаре боя, совсем было забыл. Предсмертный зов матери преодолел у маленького бычка всякий страх перед крутизною, и он кубарем, по-видимому благополучно, скатился к самой воде. Молодой человек в два прыжка последовал за ним.

Турица испустила последний вздох. Туловище ее лежало еще наполовину в воде; но увенчанная водорослями и лилиями, могучая, красивая голова ее покоилась среди прижатых береговых трав, а наклонившийся над нею сосун лизал ее в толстые, мокрые губы, точно ожидая этой детской лаской пробудить ее снова к жизни.

— Шабаш, милый, не разбудишь! — сказал дикарь, участливо кладя руку на голову осиротевшего бычка.

В младенческом неведении своем, бычок точно также облизал эту безжалостную руку, сейчас только уложившую наповал его мать. Незаслуженная нежность со стороны обиженного им маленького зверя тронула, пристыдила молодого убийцу.

— Прости меня! Я тебя уже не брошу, — вслух уверил он сироту, точно бычок мог понять его. — Но куда мне в лесу деться с тобой?

Минутку дикарь простоял в раздумье.

— Да, так будет всего лучше, — решил он, — Рахиль, я знаю, не откажется взять тебя.

Закинув за плечи самопал, он снял с себя пояс, перевязал им четыре ноги туренка, как тот ни мычал, ни брыкался, взвалил его себе на спину и, бросив последний взгляд на бездыханное тело побежденного врага, вскарабкался на берег, чтобы направиться к выходу из лесной чащи.

Глава вторая

ТУРЕНОК

Верстах в четырех-пяти от того места, где происходила описанная сейчас сцена, почва становилась холмистой, и густая чаща все более редела, пока на вершине одного пригорка совсем не прервалась. Здесь, на перепутье двух дорог, от Дубна на Кременец и Вишневец и от Острога на Броды, Львов и Самбор, стояла одинокая еврейская корчма. Два исполина-дуба, распустившие свои широкие зеленые ветви над крутою соломенною крышей, над покосившимся крыльцом, придавали издали грязной корчме довольно укромный, почти нарядный вид.

Солнце только что село, и маленькие слюдяные окна «парадных» горниц корчмы горели ослепительным багрецом отражавшейся в них вечерней зари, когда вышел из лесу на дорогу наш молодой стрелок со своей живой добычей за плечами. Не доходя полусотни шагов до невысокой околицы, он вдруг остановился: на глаза ему попалась, под боковым

навесом корчмы, запряженная фура. Точно не желая столкнуться с посторонними людьми, дикарь оглянулся назад на лес, потом опять на корчму, видимо колеблясь: идти ли еще вперед или нет? Но четвероногий младенец забарахтался у него за спиной и прекратил тем его Нерешительность. Молодой человек пошел вперед и, войдя в околицу, направился обходом к задним дверям дома.

Но это ему ни к чему не послужило. Лежавший на цепи у своей конуры около переднего крыльца большой мохнатый волкодав завидев его уже и залился хриплым лаем. На крыльце появилась Рахиль, молодая дочка содержателя корчмы, Иоселя Мойшельсона, цыкнула на собаку и пошла навстречу к пришельцу. В черных глазах ее светила непритворная радость; на смуглых щеках выступил яркий румянец.

— Что тебя долго видать не было, Михайло? — с ласковым укором спросила она его. Обратилась она к нему на местном малорусском наречии не без заметного, разумеется, еврейского акцента.

Хотя давеча в лесу сам с собою Михайло и

говорил по-русски, но на вопрос девушки ответил также по-малорусски.

— Да нынче только весь порох вышел. А вот Рахиль, подарок тебе — туренок.

— Какой душко! Где взял ты его?

Говоря так, Рахиль приняла уже маленькое животное с рук на руки от Михайлы, присела к земле, распутала ему ножки и, как ребенку, помогла ему встать. Туренок поднял кверху мордочку и жалобно замычал.

— Матку зовет свою, не дозовется, — сказал Михайло, — убил я ее, вишь, сейчас только. Самому теперь жаль, право! Вырасти-ка его, Рахиль; только чур, не зарежь.

— Сама-то ни за что не зарежу, молочком бы от коровы нашей выкормила; да не знаю, как татэ мой... Татэ! Смотри-ка, какого славного зверька принес он мне, — крикнула она по-еврейски отцу, вышедшему в это время также на крыльцо.

Иосель Мойшельсон, тщедушный и сгорбленный старик-еврей, в засаленном ветхозаветном лапсердаке, с выбивавшимися из-под черной ермолки кудрявыми пейсами, защитил рукой, как щитком, свои красные, с крас-

ными же веками глаза от яркого зарева заката и нимало, казалось, не разделял восхищения дочери.

— Пхэ! — сказал он, нервически моргая глазами и подергивая плечом. — Куда нам с ним? На жаркое еще не го́ж.

— Михайло вон просит вырастить его...

— Вырастить! А чем ты, Михайло, нам за то заплатишь?

— Да хоть турицу, что ли, даром уступлю вам, что уложил давеча в бору, — с пренебрежением ответил дикарь. — Дайте мне только фунтов десять пороху да пуд хлеба.

Иосель Мойшельсон, в знак удивления такому несообразному требованию, растопырил пальцы веером в пространстве.

— Ты хорошо хандлюешь! Може, и турицы никакой нема?

— Сам плут естественный, так и другим на слово не веришь? — гаркнул тут кто-то за спиною содержателя корчмы и дал ему при этом сзади такой тумак, что еврей отлетел в сторону и должен был ухватиться за перила крыльца.

На пороге стоял, с дымящейся короткой

«люлькой-носогрейкой» в зубах, коренастый, плечистый и пузатый казак, заслоняя своим тучным корпусом весь вход в корчму. Громадные, закрученные вниз жгутами усы, сизый как зрелая слива нос, густые, нависшие брови и толстая «чупрына» на макушке, замотанная за ухо, придавали ему лихой, почти свирепый вид. Только в нахмуренных карих глазах его просвечивало свойственное малороссу добродушное лукавство.

— Так ты, братику, сейчас только турицу убил? — отнесся он к дикарю, вынимая изо рта люльку и широко потягиваясь.

— А уж, право, не знаю, — ответил Михайло, подходя ближе к крыльцу, — я ль ее убил, сама ли убилась.

— Сама? Как же так-то?

Михайле пришлось рассказать о своем единоборстве с турицей. Хотя он, очевидно, не помышлял о самохвальстве и не придавал значения своему молодечеству, но, увлекшись собственным повествованием, невольно все-таки передал дело в таких живых красках, что слушатели увидели его в самом выгодном свете. Рахиль слушала его с затаен-

ным дыханием, не отрывая с уст его своих блестящих глаз и сложив набожно руки, точно молясь на молодого богатыря. Отец ее только потряхивал наклоненной к плечу головой, не то удивляясь, не то сомневаясь в возможности такой безумной удали. Казак же, как знаток дела, попросту упивался рассказом, причмокивал, побрякивал, притопывал и подбадривал рассказчика возгласами: «Оце добре! Дуже лихо!»

— Вели ж своим хлопцам запрячь телегу да ехать за мной в лес, — заключил дикарь рассказ свой, обращаясь опять к корчмарю. — А сам отпусти-ка мне пороху да хлеба.

— Ото глупство! Сейчас ночь на дворе: еще с телегой в болоте увязнут.

— Так пошли поутру, что ли. Мне ждать недосуг.

— Нет, друже: до утра сам уж погоди. Не найти им без тебя и на телегу не поднять. Пороху же я тебе дам фунт целый, а хлеба десять фунтов. Хорошо?

— Сказано раз — десять фунтов и пуд, — решительно настаивал на своем Михайле

— Ну, два фунта и полпуда? Далибуг (ей Бо-

гу), себе в убыток.

— Христопродавец окаянный! — крикнул тут слышавший весь торг казак и схватил торгаша за шиворот. — Дашь ты ему чего нужно, али нет?

— Дам, все дам! Нехай будет так... Пусти меня только, пане полковнику!

— Не пан я и не полковник, а, слава Богу, казак запорожский! — сказал казак, выпуская его на волю. — Чего стоишь еще, ну? Беги за хлебом и порохом, да живо, чоловіче!

— Сейчас, мосьпане, сейчас... А что, Михайлушка: ведь это же все за одну твою турицу?

— Ну да, — ответил тот, недоумевая.

— А за туренка что?

— Да ведь я же дарю его твоей Рахили.

— Ото подарок! А кормить кто его буде?

— Ах, тателе!.. — вмешалась дочь. Михайло презрительно повел плечом.

— Я, пожалуй, буду носить тебе за него дичину, — сказал он, — только, повторяю, чтобы на нем волоска никто не тронул.

— И ладно! И милый человек! Каждую неделю — по туру либо медведю.

— Что принесу, то и ладно.

— Уй! Этого же никак не можно! Ну, скажем, каждые две недели; хорошо?

— Да что ты, жиде, в кабалу его к себе, что ли взял? — грозно прикрикнул на еврея запорожец и с таким выразительным жестом протянул снова руку к его шее, что тот присел к самому полу и юлой юркнул в корчму.

— Гевалт! Криминал! Не смей меня и пальцем тронуть! В трибунал тебя представлю...

— Что?! Ты еще грозиться? погоди у меня! Сейчас с тобой по-свойски расправлюсь.

Лихой казак ворвался в корчму следом за беглецом, который укрылся уже за своей стойкой.

— Гвоздь на стене есть; не найдется ли где веревочки?

— Пане региментарь! — приосанясь, не без достоинства воззвал тут Иосель Мойшельсон, и только смертная бледность лица и обрывающийся голос выдавали его внутреннюю тревогу. — Я — бедный старик... жить мне и так не долго... Но без меня дочка совсем сиротой станет... Помыслите, что учил сам Христос ваш...

— Ага! Теперь, небось, и про Христа вспом-

нил!

— Полно же, Данило! За мухой с обухом, за комаром с топором! — послышался тут от окошка благодушный оклик по-русски. — Давеча, знай, во всю глотку зевал, а теперь вон как развоевался!

Данило опустил приподнятый кулак и с усмешкой оглянулся...

Глава третья В ПОГОНЕ ЗА ПЛЕМЯННИЦЕЙ

У окна, в переднем углу, за столом, уставленным разной снедью, сидел дородный мужчина лет под пятьдесят с окладистой бородой, с жирно намасленными волосами, остриженными по-русски в кружок и с срединным пробором. Дорожный охабень купеческого покроя был широко отворочен на груди; выхоленное круглое брюшко, упитываемое теперь вновь, просило простора. Вся фигура его, а того более еще его русская речь, его чистый московский говор обличали в нем коренного русака.

— Садись, что ли, — продолжал купец, ука-

зывая на лавку около себя. — Натешился и полно.

— Без острастки, братику, с этим народцем никак Нельзя, — по-русски же отозвался Данило. — И то, право, хотел еще галушек поест, а теперича в рот куска бы не взял: печенку разбередил мне, бисов сын!

— Ничего, милый, садись, говорят тебе: киселем брюха не испортишь. А где же этот молодчик-то, Михайлой звать, что ли? — продолжал купец, обертываясь к выходной двери. — А, здорово, добрый молодец! Жалко: по-нашему, по-русски, чай, не говоришь тоже?

Стоявший в дверях Михайло нерешительно подошел ближе.

— Говорю... Я сам тоже русский.

— Русский! Слава Тебе, Господи! Раз-то хоть опять со своим братом, русским человеком, душу отведешь! Прошу к нашему шалашу, гость будешь.

— Спасибо, почтенный.

Осенясь крестом, Михайло подсел также к столу.

— Слышал я, братец, отсюда в окошко, слышал, как это ты им про свалку свою с турицей

сказывал, — говорил проезжий, с удовольствием оглядывая статную фигуру молодого полещука. — Хоть сам-то я по-здешнему, по-хохлацкому, говорить не горазд, а понимать понимаю. Отличился, брат, надо признать. Сам я, скажу прямо, ни в жизнь не посмел бы тягаться с таким чудищем, наутек бы пошел. А, да вот и тот самый бычок никак?

Рахиль втащила в это время туренка в корчму.

— Ишь ты, какой ядреный! — восхищался купец. — А что, друг, не предоставишь ли его мне, а?

— Я отдал его уже вон хозяйской дочке.

— Уступи-ка мне его, красавица! — на ломаном малорусском языке обратился к ней гость. — Не знаешь, как удружишь.

— Нет, ни за что! — наотрез отказала молодая еврейка, прижимая к себе туренка.

— Купи, так уступим, — отозвался с другого конца корчмы хозяин.

— За ценой мы не постоим. Что возьмешь за него?

— Но я же не отдам его, татэле! — запротестовала Рахиль.

Жадный содержатель корчмы разразился в ответ целым потоком еврейской брани. Купец только рукой отмахнулся и обратился опять к полещуку:

— А что, добрый молодец, имя-то тебе ведь Михайло?

— Михайло.

— А по отчеству как величать?

— Андреич.

— Михайло Андреич? Так-с. Из каких будешь? Пользуясь тем, что рот у него был набит съестным,

Михайло не торопился с ответом. Сделав из кружки глубокий глоток, он откашлянулся и затем уже ответил:

— Я тут не издалеча: из-под Новограда-Северского.

— Из-под Северского? Да ведь и я тамошний! То-то мне из лица ты с места знаком будто показался. Постой, постой, на кого это ты схож?.. Дай Бог памяти... Да нет, то боярин и князь родовитый. А ты, молодец, ведь не княжеского рода?

— Я — крестьянский сын, — поспешил уверить любопытного опрашиваемый, однако

отворотил лицо от окошка, откуда падал на него слишком яркий свет. — Наша деревенька маленькая; ее и в Северском редко кто знает: Березайкой называется.

— Березайкой? Не слыхал что-то. А сюда-то, на Волынь, тебя как занесло? Не от голода ли тоже, от нужды горькой в темный бор бежал?

— От голода, точно, от голодной смерти.

— И дома у себя никого родных не оставил?

— Никого.

— Все от голода же перемерли?

— Все: и родители, и сестра, и два братика.

— Так, милый, так. Много нонече по белу свету вашего голодного брата мыкается. Прогневили мы, знать, Господа. Грехи наши тяжкие! Ешь, сердечный, кушай во здравие — не обедняешь. А чтоб и тебе тоже знать, с кем хлеб-соль ведешь, и сам скажусь тебе. В Северске бываючи, про купца Биркина, чай, слышал?

— Как не слыхать!

— Еще бы нет! Всякий мальчонка уличный тебе пальцем дом Биркина, Степана Маркича,

укажет. Ну, этот Биркин, значит, мы самые и есть. Не богатеи какие, а живем в добром достатке, жаловаться не можем. Родом-то из Белокаменной; после отца нас четверо братьев осталось: Иван, Андрей, я — Степан, да Гордей. Но там, в Москве, вместе нам тесно стало. Старший-то, Иван, само собою, отцовскую торговлю принял и один на месте засел. Мы же, прочие, как выделил нас, рассеялись по матушке-Руси, основались кто где: Андрей — в Нижнем; я — в Северском; а меньшей-то, Гордей, сюда, за рубеж, к хохлам перевалил, с ярмарки на ярмарку кочевал да деньгу зашибал, Господь упокой его душу!

Купец Биркин троекратно перекрестился.

— Так его уж и на свете нет? — спросил Михайло. — А я так думал: не к братцу ли ты, Степан Маркич, сюда погостить собрался?

— Нет, самого его не довелось уже увидеть! — со вздохом отвечал Степан Маркович. — И навряд бы удосужился: своих дел — не оберешься. Да вот дочка-то после него, невеста, одна-одинехонька осталась, и именица изрядная толика. Как бы ни было, а все по плоти племянницей мне доводится. Хошь

не хошь, а пустился в путь. И бычка-то этого самого для нее торгую: надо ж девоньке го-
стинец привезти.

— Так она у вас, знать, охотница до мелко-
го зверья?

— Уж такая ли охотница, и — Боже мой!
Сызмальства еще, увидит, случится, в окно,
как уличные ребятки кошку, собаку мучат, —
пошлет сейчас силой отнять, к себе принести;
обмоет, вычешет, накормит — ну, что твою
куколку алибо ребенка; нянчится, возится;
смеху-то, балованья-то! Такая шальная, пра-
во.

— Золотое, значит, сердце.

— Да уж там понимай как знаешь. Было б
хошь серебряное, да в голове-то только мень-
ше этой девичьей дури, сумятицы неразбор-
ной. Ведь по ее милости же вот которую неде-
лю уже без толку кружусь, по чужим людям
маюсь. И когда еще отыщу ее — одному Богу в
небе известно.

— Да ты, Степан Маркыч, не знаешь разве,
где она, где жил напоследок брат твой?

— Как не знать: дом то у него на Украине, в
Лубнах.

— В Лубнах! Да ведь то будет еще подалее Киева?

— Куда подалее! Плутал я, братец ты мой, плутал; а тут еще непогодь, бездорожье великое: насилу добрался.

— Так, выходит, ты был уже там?

— Был-то, был, но племянницы уже не застал.

— Как не застал.

— Да уж — ау!

— Убежала?

— Нет, милый, храни Господь, такой порухи чести нашей она не сотворила б: честного, богобоязненного купецкого роду. Не уходом ушла, а, как по весне все равно птенчик, из гнездышка упорхнула. Не хотел я про эти дразги наши по свету трезвонить, да так уж к слову молвилось; ведь ты, молодец, дальше не перескажешь?

— Кому же мне пересказать?

— И то правда: может, никогда больше не даст Бог свидеться. На Руси у нас недавно еще, правда, девицы затворницами, келейницами в светлицах своих жили. Ноне же, при царе Борисе Феодоровиче, им тоже вольготней ста-

ло: с опаской и бережью смеют иной раз и в людях показаться. А здесь, у ляхов, и толковать нечего: паненки с паничами, не за редкость, совсем запанибрата. Такой обиход, стало.

— Но ведь племянница же твоя, Степан Маркыч, жила на Украине; какие же там ляхи?

— Знамо, хохлы. Но дело-то, милый человек, вот какое. Брат Гордей, разъезжая тут вдоль и поперек по всему краю, заезжал, случалось, и к князьям Вишневецким. Их два брата ведь, этих Вишневецких.

— Князь Адам в Вишневце да князь Константин в Жалосцах. Наслышан тоже.

— Ну, вот. Русские ли они, или точно ляхи — сам шут их разберет. Оба на кровных полячках женаты; но старший, Константин, на дочери воеводы Сендомирского, Мнишка, и сам тоже веру их принял папскую. Про меньшого, Адама, врать не хочу; не знаю толком.

— Князь Адам, слышно, пока православный, — вставил Михайло.

— И благо ему. У князя-то Константина, изволишь видеть, в Жалосцах почасту молодая

свояченица гостит, и тут-то Маруся, племянница моя, значит, и полюбила её.

— Так племянница твоя, видно, езжала тоже с отцом?

— Везде как есть; он её от себя ни на шаг. Ну, а панна Марина-то, дочь воеводы, известно — полячка, сумела вежеством да лаской девочку приворожить к себе. Такая ж, говорят, шалунья, игрунья, привередница. Брату Гордею, знамо, лестно, что дочка его с воеводской дочерью дружбу водит. А девочке-то того паче, что паны вертихвосты с нею, что с заправской панной, лясы точат. Боюсь, как бы кругом её не ополячили! Как помер тут у девчурки родитель, она и отпиши о том своей панне Марине, а та — вышли за ней сейчас колымагу, да шестериком, с вершниками, с гайдуками.

— Но как же она не дождалась тебя, родного дяди?

— Да я за делами-то, вишь, за дорогой я замешкался; да был тут ещё, грех не грех, а случай такой: в доме-то родительском ей одной никоим, значит, образом оставаться уже не пристало...

— Что так?

Степан Маркович почесал в затылке и махнул рукой.

— Э-эх! Будь она мне родная дочка — и то я, может, не попенял бы ей: такая, знать, статья подошла. Что сор из избы выносить... Но мне-то, братец, рассуди, каково-то было? Приезжаю — глядь, ан девоньки моей и след простыл! Что да как? В Самбор, мол, укатила, к воеводе Сендомирскому. Вот тебе и сказ! На другой край бела света, значит, да к полякам! Того гляди, чтобы ей, голубушке, грешным делом, какого дурна не учинилось. В погоню послать некого; а сам ни дороги-то, ни порядков здешних не знаю. Как быть? Туда-сюда. Тут вожатого мне, душевного этого человека, Данилу Дударя, сам Бог послал. Эге! Да он никак уж и спать завалился? Эй, Данилка, спишь что ли?

Запорожец растянулся, в самом деле, на лавке, подложив под голову руки, и отвечал только звучным храпом и носовым свистом.

— Так и есть, носом песни играет, — сказал купец Биркин, — времени терять не любит: ест, пьет, спит сколько влезет, да временем

разве жиды поколотит.

— А он у тебя на каком положении? — спросил Михайло.

— Да вот на каком: ешь, пей вволю; а как вернемся из Самбора — полсотни корабленников на стол. Ему-то ведь в диво: только у молодца золотца, что пуговка оловца; совсем испрохарчился.

— Казак запорожский?

— Да, гулящий, отставной козы барабанщик. Родом-то он тоже наш брат, русский, вольный казак с Дону. Да набедокурил, знать, у своих, житья ему там не стало; перебрался к украинским казакам в Сечу их Запорожскую. Но и там-то не ужился, пошел мыкаться по белу свету. Одно слово: забубенная головушка! Но зато за ним, что за горой, что за Архангелом с мечом: в обиду не даст.

Глава четвертая

ЧЕМ ХОРОШ БЫЛ ЦАРЬ БОРИС

— А что, Степан Маркыч, — спросил дикарь, — ты недавно ведь из наших краев: правда ль, что царь Борис теперь народ из своей казны кормит?

— Бают кормит, — отвечал Степан Маркович, — по 50 тысяч денег[1] на нищую братию в день раздает да по тысячам четвертей хлеба из царских закромов своих за полцены отпускает, а вдовицам, бедным да сиротам — тем и безденежно.

— Безденежно — пссь! Выгодное дело, гешефт! — не утерпел ввернуть тут свое слово хозяин корчмы, чутко прислушивавшийся из-за стойки к беседе гостей и понимавший, видно, также по-русски. — А мы-то не то слышали...

— Что же ты, братец, слышал? — через плечо спросил Биркин.

— Слышали... Да вы что, добродию, господин честной: купец торговый тоже будете?

— Купец, да.

— Хе-хе! Ловкие вы люди, уй, ловкие, умелые! Купец нахмурился.

— Слышали мы, что вы с тех царских магазинов хлеб за гроши покупали, а бедным людям за карбованцы продавали. Ото процент, ото гешефт!

Биркина передернуло.

— Молчи, собака! — с сердцем произнес он. — Собака есть, да палки нет.

— Да статочное ли дело, Степан Маркыч? — воскликнул Михайло. — Одни православные на счет других корыстуются, когда надо всеми смерть висит!

— Э, милый человек! Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Ты вот сам поразмысли: что такое тысяча, другая четвертей хлеба на все царство московское? Ведь это, почитай, на душу чуть не по зернышку придется. А куплей-продажей торг стоит: перекупить, перепродать — ан в карман-то, глядь, лишний рубль и перепал.

— А каждый рубль души христианской стоит!

— Кому на роду написано помереть, тому все одно не жить. Дело житейское! А царю Бо-

рису Феодоровичу все же щедрота его на том свете зачтется. Воистину сдержал он, памятует слово, что дал всенародно при выборе на царство! «Бог свидетель, — обещал он, — что никто в моем царстве не будет нищ и наг!» И, тряся верх своей рубахи, примолвил: «сию последнюю разделю с народом». И, по сказанному, как по писанному, сирым и вдовым заступник, нищей братии щедрый податель; никого, самих мертвых не забывает: по улицам тела их подбирать велит, обмывать да одевать в чистые рубахи, обувать в красные коты, а там со всем почетом в скудельницах хоронить.

Молодого дикаря практическая философия торгового человека не совсем, казалось, еще убедила.

— Народ теперь, значит, меньше ропщет? — спросил он.

— Меньше ли, больше ли — где весы возьмешь взвесить? — осторожно отозвался Биркин.

— Так жить-то на Руси не легче прежнего?

— Не легко, милый человек, не легко.

— И Годунова все клянут?

— Есть и такие, что не одобряют, очень не одобряют. Да на всех нешто угодишь? Вот хошь бы ваша братия, мужики да холопы, клянут кабалу: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» А каково-то, скажи, жилось вам до этой кабалы? Кто посильнее из вельмож да попов, тот вас и за чуб, и переманит, а мелкопоместные бары хошь волком вой, совсем без рук. Ну, а теперича шабаш: у кого кто закрепился, на того и трудись. За то и спасибо царю Борису Федоровичу, что не вельможным одним мирволит, а и о простых мирянах печется.

— А вас-то, торговых людей, разве он не теснит?

— Нас? — будто удивился Биркин. — Чем же, примерно?

— Как чем? Сколько немцев-то этих к нам напустил, каких льгот им надавал! И валят они к нам, что саранча залетная, из Гданска, из Любка, из свейского королевства, из аглицкой земли, буймистров своих и ратманов подсылают; а Годунов их, как великих послов принимает, не знает как и чем ублажить: отводит им на Арбате боярские хоромы; жалуует

их кафтанами на шелку, из бархату, из золотой парчи; оделяет деньгами по пятьдесят рублей на брата; оделяет землю с сотнями душ, а о всяком съестном: мясе да рыбе, масле да сыре, вине, пиве да меде — и разговаривать нечего; за царский стол свой, за царскую хлеб-соль сажает; первым боярам своим велит земно кланяться дорогим гостям, прислуживать. И возносит его, понятно, хитрая немчура превыше царя небесного, славословит великодушие государя московского; а мы-то, люди русские, православные, глядячи, только облизывайся да усы обтирай!

Патриотический пыл молодого полещука разжег понемногу и степенного торгового человека. Степан Маркович духом опорожнил свою кружку и с таким азартом брякнул ее на стол, что вся посуда на столе зазвенела.

— Все бы это еще куда ни шло, — промолвил он, — пускай бояре шею гнут — и им не мешает; но что и взаправду обидно, так это то, что проходимцам этим дают жалованные грамоты на беспошлинный торг по всей Руси!

— Да кто дает-то? Все тот же Годунов!

Биркин уже спохватился, что, пожалуй,

сболтнул лишнее, и поторопился свернуть беседу на более мирное поле.

— Да ведь не даром же им и честь такая, — мягче заговорил он, — мы, русские, что ни толкуй, народ темный, а меж них, немцев, такие есть штукари — просто ума помрачение! Вот хоть в последнюю побывку мою в Москве, зашел как-то на Неглинной к часовнику одному, из Любка родом. Гляжу: часы боевые стоячие, с боем и пере-часьем, с планидами да с альманаками (царю Борису Феодоровичу, слышь, в дар из-за моря присланы да к часовнику этому в починку отданы были). Пове-ришь ли: бьют во все часы да перечасья в колокола да колокольчики, на разные голоса, и выходит это из часов сам Спаситель наш Иисус Христос со двенадцатью святыми отцами-апостолами. Бог ты мой! Глядишь — и сам не знаешь: отвернуться ли поскорее, аль осениться крестом? Люди тертые ведь, дошлые: чтобы нас, православных, обморочить, с истинной веры сбить, и мудрящие часы-то эти, может, соорудили?

— Нет, Степан Маркыч, — возразил Михайло, — иноверцы они, еретики, — точно, но все

же на того же, поди, Христа нашего молятся. И кое-что доброе мы от них, пожалуй, переймем. Не одних проходимцев-штукарей залучил к себе Годунов, надо честь ему отдать; залучил он и разных мастеров навычных: суконников, рудознатцев, чтобы ремеслом своим народу послужили. Вызвал он и ученых людей, чтобы школы у нас всякие завести, уму-разуму сызмала детей наших учить[2]. Ума за морем, правда, не купишь, коли дома его нет; а все ж таки кое-что от них переймем. И за это царю Борису многое простится. Ученье — свет, а неученье — тьма.

Степан Маркович, недоумевая, уставился на дикаря.

— Да сам-то ты, Михайло Андреич, никак тоже грамотный? — спросил он.

— Мм... не умудрил Господь... — замялся Михайло, точно застигнутый врасплох.

— Послушай, добрый молодец, — продолжал Биркин, — скажи-ка мне по чистой совести, взаправду ли ты крестьянский, а не боярский сын?

Михайло заметно покраснел, принужденно рассмеялся и взялся за кружку — не с тем,

казалось, чтобы пить, а с тем, чтобы заслониться от слишком внимательно устремленных на него глаз собеседника.

— Твоим бы медом да нас по губам! — сказал он. — А мед-то и то ведь весьма даже изрядный.

Тут щекотливая для него тема была и без того прервана: послышался конский топот и лай волкодава. Топот замолк за околицей; кто-то по-польски окликнул хозяина. Йосель Мойшельсон опрометью выбежал на улицу. Вслед за тем донесся опять стук лошадиных копыт: всадник помчался далее. Содержатель корчмы с развевающимися полами кафтана впопыхах влетел назад в дом и, как угорелый, заметался по горнице, клича дочь и батраков своих, того же израильского племени.

Глава пятая

КАК ОБЪЯВИЛСЯ ЦАРЕВИЧ

Гости вопросительно следили за суетившимся стариком-евреем. Тот, что-то вспомнив, хлопнул себя рукою по лбу и подбежал к Михайле.

— Михайлушко! Ты погодишь, значит, до утра, пока солнце встанет?

— А что?

— Да турицу в лесу доставать.

— Сказал раз, что погожу. А что тебе вдруг так загорелось?

— Стало, надо.

Он собирался снова отойти; но проснувшийся между тем Данила Дударь удержал его за полу лапсердака.

— Куда? Постой! На что тебе турица? Отвечай толком.

— Вай, отстань! Недосуг!

— Так и собака собаке молвила, когда та ее в гости зазывала: «Вау, отстань! Недосуг». «А что?» — «Да завтра хозяин с сыном едет, так надо вперед забегать да лаять». Каких таких

гостей на утро ждешь, ну?

Иосель Мойшельсон, видя, что ему не отвязаться, нехотя объяснил, что светлейший князь Адам с княгиней своей, с детьми и с царевичем Димитрием в Дубне у князя Острожского прогостил да теперь вот вперед гонца в Вишневец выслал: завтра-де тут, мимо корчмы проедут и привал сделают.

Гости переглянулись, а хозяин воспользовался этим, чтобы увернуться и ускользнуть.

— Так про царевича этого, стало, не все бабьи сказки? — вполголоса промолвил купец Биркин.

— И в Киеве, и в Остроге болтали уже нам про самозванца, — сказал запорожец. — Да не всякому бреху верь.

— Молчок, брат! — цыкнул на него Степан Маркович, опасливо озираясь. — Держи язык за зубами.

— Да мне-то что держать, дружище? Нам, вольным казакам, не все ли едино, кто у вас там на Москве царит? А будет вашему самозванцу удача, так мы первые же, пожалуй, пристанем.

— Самозванец ли он — это еще бабушка

надвое сказала, — оживленно вмешался дикарь. — Все, что слышно об нем, так на правду похоже.

— У нас-то, на Руси, его за беглого монаха, Гришку Отрепьева, почитают, — сдержанно заметил Биркин.

— Вестимо, что Годунову надо было ему какой ни есть ярлык навесить. А зачем же было Годунову к Вишневецкому в Брагин тайного гонца подсылать? Зачем он подкупить его норовил? Недаром, знать, боится как огня этого «самозванца». Вишневецкий же никакого ответа ему не дал и подалей от границы, в Вишневец утек, чтобы Борисовы убийцы на сей раз ненароком как-нибудь не подобралась к царевичу.

— Так ты, Михайло Андреич, в самом деле веришь, что то царевич?

— А уж право не знаю, чему и верить! И так, и сяк в уме перекидывал; сколько ночей из-за дум этих глаз не сомкнул! Сам скажи, Степан Маркыч: а ну, как это точно царевич, а мы-то, свои же русские люди, от него отрециваемся, отворачиваемся? Ведь такого греха нам Бог вовек не простит!

— Так-то так, — осторожно согласился Степан Маркович. — Ты здешний, тебе виднее. Что же сказывают здесь об нем?

— А вот что. Приходит к князю Вишневецкому в Брагин молодой парень, на службу нанимается. Видит князь — парень ражий, смышленный, и конем, и мечом владеет, да грамоту знает — русскую и латынь. Взял он его в первые слуги к себе и не нахвалится. Только раз вот новый слуга разнемогся не на живот, а насмерть. А как родом он был русский, православного закона, то и позвал к себе духовника попа православного. «Так и так, мол, отче; крепко мне недужится; час смертный мой пробил. Как помру, погреби ты меня, как царских детей погребают». Диву дался поп, не знает, как и быть: шутит парень, аль с ума спятил? А тот ему: «Тайны своей я тебе, отче, покуда не открою. Когда же отойду к Богу, найдешь ты под изголовьем у меня грамоту. Возьми ее, прочти втайне и никому не кажи. Бог, знать, судил мне так!»

— А батюшка и Расскажи князю?

— Да что ему делать было? Ведь православие-то наше ноне здесь, сам знаешь, в каком

загоне. Этот меньшей князь Вишневецкий хоть, говорят, пока еще и православный, да надолго ли — Господу одному ведомо. Вот духовнику-то его и надо держать ухо востро. Как передал тот все своему князю от слова до слова, так князь и пойдя к слуге своему и вынь у него грамоту из-под изголовья...

— И слуга не противился?

— Противился ли, нет ли, сказать не умею.

Да не все ли едино?

— Ладно. И князь прочел ту грамотку?

— Прочел.

— Что же стояло там?

— Стояло, как спасся царевич в Угличе от Годуновых убийц. Приставлен был-де к царевичу дохтур-немчин Симон, потому сызмальства царевич страдал недугом падучим. Сведаль дохтур тот про замыслы Борисовы против царевича, подыскал ему в товарищи другого мальчика, поповского сына, как брат на брата схожего на него, и велел тому мальчику быть при царевиче безотлучно, денно и ночью, спать с ним даже в одной постели; а как заснут, бывало, оба, то и перенесет царевича на другую постель. Так-то вот однажды играли

они с другими мальчиками-жильцами на царском дворе. Нагрянули тут Борисовы люди, да второпях-то, вместо царевича, и зарежь того поповского сына. Дохтур же в сумятице увел поскорее царевича со двора, бежал с ним из города, бежал все дальше, пока не добрался до самого Студеного моря, в честную Соловецкую обитель. Долго скрывался царевич под монашеской рясой по разным монастырям. Когда же он подрос, вошел в лета — кровь молодецкая заиграла. Сбросил он иноческий наряд, бежал сюда, на Литву. Попал он сперва к запорожцам, обучался у них верховой езде, всем воинским хитростям. Но праздная жизнь была не по нем. Нанялся он к одному шляхтичу детей грамоте учить, а от шляхтича перешел уже к Вишневецкому.

— В слуги-то? Из попов да в дьяконы?

— Слуга слуге тоже рознь, Степан Маркыч: Вишневецкий сделал его своим первым слугою, покоевцем; а ведь этакый первый покоевец у светлейшего князя Вишневецкого — особа. Сам Вишневецкий по своей пышности, поди, иному королю не уступит: у него и стража своя, и придворные...

— Но как же он слуге своему да грамотке его на слово так и поверил? — вмешался запо-рожец.

— Не на слово: показал тот ему и царский золотой крест на груди, крест с драгоценны-ми камнями, что дал ему крестный отец его, князь Иван Федорыч Мстиславский. «Горькая жизнь опостылела мне! — молвил царевич Вишневецкому со слезами, — пре-даю себя, князь, в твою волю. Делай со мной что хочешь! Но коли, мол, пособишь мне вы-ручить отцовское наследие, то будет тебе и от меня, и от Бога великая награда!» А умом-то этот князь Адам, говорят, настолько же прост, насколько сердцем добр. Как увидел слезы московского царевича, самого слеза прошиб-ла, у самого кровь русская в жилах заговори-ла. Обещался тут не покинуть уже царевича, вернуть ему родительский престол; поднес ему богатое платье, сам одел, обул его, созвал всех домашних, велел чествовать дорогого го-стя по-царски, величать «царским величе-ством», задал ему пир горой и подарил ему лучшую свою колымагу, шесть упряжных и шесть верховых коней со всем убором и при-

слугой.

— Да, мудреное дело! — проговорил задумчиво Биркин. — Занятно бы, все-таки, пови-
дать его, этого «царевича», каков он из себя.

— Да ведь завтра-то, ты слышал, он про-
едет тут? Заночуй — увидишь. Я сам-то непре-
менно обожду.

— Аль заночевать? Как думаешь, Данило?

— Чего мы не видели? — отозвался запоро-
жец. — Панов этих польских, что ли? По ве-
ре-то Вишневецкий, может, и православный,
а сам-то, слышь, совсем уже ополячен: и оде-
вается в польский жупан, и болтает, почитай,
только по-польски.

Тут вступился в защиту Вишневецкого хо-
зяин корчмы: есть-де у «светлейшего» даже
русский карло Ивашко; нарочно выписал его
из Москвы под пару такому же карлу Палаш-
ке из хохлов и очень уважает того Ивашку за
его русские шутки; детки княжеские тоже
сказки русские от него охотно слушают; по-
этому, как подерутся оба карла, так князь все
больше Ивашкину сторону держит.

— Дело-то нам не в Ивашке этом, а в царе-
виче, — прервал корчмаря Биркин.

— Да и в нем-то что нам за радость? — возразил Данило. — Коли он вправду царевич, — и так, верно, даст Бог раз увидеть; а не царевич, так что нам в нем?

— Оно точно: подалее от греха. Одно разве, что ночь глухая; месяца еще нет: на ущербе...

— Месяц — казачье солнышко, твоя правда, Степан Маркыч. Да после полуночи, чай, выглянет; а там и заря утренняя.

— Ин будь по-твоему. Покушали честь-честью, выпили сколько следует, покалякали — ажно язык приболтался, — и прощенья просим.

Он бросил на стол ефимок[3], не требуя сдачи, и стал прощаться с Михайлой. Иосель Мойшельсон, припрятав деньги, исчез в задней горнице. Вслед за тем оттуда послышалась ожесточенная еврейская перебранка между отцом и дочерью. Когда же, немного погодя, Биркин усаживался в свою фуру, корчмарь преподнес ему, крепко скрученного снова по ногам, туренка. Та-роватый Степан Маркович не стал уже торговаться из-за желанного гостинца племяннице, и скрытая у еврея в подполье кубышка обогатилась в ту же ночь

еще несколькими ефимками.

Глава шестая ДОЖДАЛСЯ!

Было незадолго до полудня следующего дня. Вся площадка перед еврейской корчмой до самой околицы была тщательно выметена. На заднем же дворе, заваленном по-прежнему нетронутыми грудями сора, шла суетливая возня и стряпня. При помощи Михайлы, убитая им турица была взвалена в лесу на телегу и благополучно доставлена сюда, на задний двор.

С князем Вишневецким, как всегда, был, без сомнения, и его лейб-повар с поваренками; но свежего туриного мяса у них, верно, не было припасено с собой, и хоть по этой-то части Иоселю Мойшельсону можно было показать себя. Старик-корчмарь совсем выбился из сил: со съехавшей на затылок ермолкой, с разгоряченным и искаженным от волнения лицом, с растрепавшимися и прилипшими к вискам пейсами, он метался, как угорелый, то к висевшей под навесом туше турицы; то к

столу, где наскоро разрубалось вырезанное уже из туши мясо; то к лоханке, где оно промывалось. В поощрение же сотрудников: дочери, двух батраков-евреев и стряпухи-еврейки, он осыпал их своей еврейской бранью. Отведя душу над домашними, он то и дело выбежал за околицу на большую дорогу удостовериться: не видать ли уже высоких гостей.

Тем временем в маленькой светелке корчмы, у открытого окошка, сидел Михайло и с напряженным вниманием поглядывал также в сторону Дубна. Очень уж, видно, загорелось молодому нелюдиму своими глазами увидеть названного царевича Димитрия, коли решился выждать его. Впрочем, здесь-то, на вышке, самого его, Михайлу, никто, конечно, и искать не стал бы... И отчего это только рядом с мыслями о царевиче нет-нет да и набежит вдруг мысль о племяннице этого Биркина? Никогда-то ведь до вчерашнего вечера ничего он про нее не слышал; никогда, чай, ему ее и увидеть не доведется. Но что ни говори, жаль бедняжку: по словам дяди, девица добрая, сердобольная, нравом душевная, развеселая, и собой-то, верно, картинка писаная, коли уж

дочка самого воеводы Сендомирского к себе ее так приблизила, — а свихнется, поди, оплячится! Недаром и Биркин помянул об этом.

Дикарь наш так замечтался о судьбе незнакомой ему еще вовсе Маруси Биркиной, что забыл даже на некоторое время о царевиचे. Напомнил ему о нем содержатель корчмы, который, выбежав опять за околицу, замахал вдруг отчаянно руками и с криком: «О вай! Едут! Едут!» — бросился назад в дом. Михайло совсем высунулся из окошка в ту сторону, откуда ожидался княжеский поезд.

От Дубна, в самом деле, курилось облако пыли, которое быстро приближалось. Вскоре Михайло мог различить и весь поезд. Впереди бежали гуськом два долговязые, сухопарые скорохода, поминутно хлопавшие своими длинными бичами, хотя на пути им не попадалось никого встречного, кому пришлось бы свернуть с дороги. Платье на обоих, испанского покроя, было из самой легкой шелковой ткани; на ногах у них были башмаки; а на шапочках с княжеским гербом развевались страусовые перья.

Шагах в тридцати за скороходами мчалась

вереница повозок. Во главе кортежа, сверкая на солнце, неслась сверху донизу раззолоченная колымага, разукрашенная гербами и другими атрибутами княжеского сана. Запряженные в нее цугом кровные кони тигровой масти щеголяли окрашенными в пурпуровый цвет гривами, «наголовками» из страусовых перьев, золотом и шелками шитой сбруей. На каждого из коней было посажено по маленькому фореитору; на козлах, рядом с кучером, восседал усатый великан-гайдук; на запятках стояли еще двое. По сторонам экипажа гарцевали вершники в остроконечных шапках. Ливрея на всей этой прислуге была одноцветная, зеленая, с золотыми шнурами и кистями. В золотой колымаге ехали, без сомнения, сам князь Адам Вишневецкий и царевич Димитрий.

Следующая повозка в позолоте, хотя несколько и уступала первой, но упряжью была столь же роскошна, с тою разницею, что кони были нежно-телесного цвета и гривы у них были светло-изумрудные. На подножках стояло с каждой стороны по мальчику-пажу, на запятках — четыре гайдука. Из этого надо

было заключить, что в повозке ехала сама «светлейшая» с детьми.

Остальные экипажи были проще, но вся поездная прислуга носила ту же однообразную, красивую ливрею, и гривы всех лошадей были окрашены либо в зеленый, либо в красный цвет.

Только что поезд въехал на пригорок к корчме и еще не остановился, как навстречу ему выскочил из дому за околицу еврей-корчмарь с дочкой. Оба успели, оказалось, на скорую руку переодеться. Иосель был в лиловом длиннополом кафтане и с низкими поклонами размахивал в руке шапочкою того же цвета. На Рахили было цветное же шелковое платье и драгоценное ожерелье.

— Дорогу, дорогу! — кричали скороходы, влетая на двор с свистящими бичами, и хозяйка едва имели время посторониться: передние три-четыре экипажа вкатили также в околицу, тогда как хвост кортежа остановился на большой дороге.

Соскочившие с запяток золотой колымаги, два гайдука высадили оттуда под руки двух мужчин: одного постарше, другого помоложе.

Младший — очевидно, царевич Димитрий, — с рыцарским поклоном подал руку высаживаемой из второй повозки княгине Вишневецкой, болезненной и желчной на вид барыне, и повел ее на крыльцо и в дом.

Двух княжеских детей, девочку лет семи и мальчика по пятому году, бережно приняли из повозки два гайдука; а за детьми, уже без чьей-либо помощи, вышла их няня.

Тем временем из третьего экипажа, дорожного рыдвана, выбрались две фрейлины светлейшей, а за ними выскочили и два карлика-шута. Оба худенькие, ростом в аршин с небольшим, они могли бы сойти, пожалуй, за пятилетних ребят, не будь их старообразных, размалеванных рож, их полосатой одежды и дурацких колпаков на головах. С оглушительным визгом и гамом, гремя погремушками на колпаках, они вперегонку взбежали по ступеням крыльца. Но один из шутов оказался догадливее товарища: подставил ему ножку, и тот скатился кубарем на двор к самым ногам Вишневецкого. Первый забил в ладошки и заликавал детским дискантом:

— Шилды-булды, начики-чикалды, шивал-

ды-валды, бух-булды!

Потерпевший, как мяч, вспрыгнул с земли и кинулся к обидчику. Но этот дал уже тягу в дом.

Не очень-то, казалось, разборчивый в потехах князь Адам с усмешкой крикнул ему вслед:

— Ай да Ивашко! Живее, братец, не то в горб тебе еще накладет!

При имени Ивашки, Михайло вспомнил вчерашний рассказ еврея о выписанном Вишневецким из Москвы русском карлике. Этот шут-озорник, стало быть, и был он самый.

Но Михайле было уже не до карликов: гораздо более его занимал теперь сам князь, сбросивший между тем на руки одного из слуг свой капеняк (дорожный плащ). Узнать в Вишневецком крупного магната можно было с первого взгляда по его дорогой собольей шапке, с пером цапли и огромным изумрудным аграфом; по его гранатовому кунтушу с малиновыми отворотами, богато расшитому золотыми цветами и яркими шелками; по его золотому поясу и сабле, осыпанной по рукоятке и ножнам алмазами. И в его красивом ли-

це, и во всей сановитой, довольно дородной фигуре было что-то прирожденно-благородное. Хотя ему было за 40 лет, в лице его, сохранившем замечательную свежесть, не было почти морщин; усы его были лихо закручены, и с полных, как две вишни, губ его не сходила благосклонная улыбка.

Тут внимание Михайлы было развлечено развернувшейся внизу на дворе пестрой, оживленной картиной. Княжеские придворные, «маршалки» и «по-коевцы» — крупная и мелкая шляхта, обязанная сопровождать светлейшего во всех его поездках, — повывезали, повыскакивали из остановившихся за околицей повозок, и вся площадка перед корчмою закишела празднично разряженным людом; воздух огласился шумным польским говором и смехом.

По сторонам крыльца, как уже раньше упомянуто, росли два могучие дуба, распространявшие теперь, в полдень, широкую, прохладную тень. По данному князем знаку многочисленные холопы бросились наперерыв в дом, нанесли оттуда разной столовой мебели, и в несколько минут в тени дубов был на-

крыт и уставлен чем следует длиннейший обеденный стол. Местничество в старой Польше процветало едва ли не более еще, чем на старой Руси; поэтому, при выборе сидений за столом, каждый шляхтич, оспаривавший у других придворных старшинство в роде, норовил заручиться местом повыше, поближе к князю-воеводе и царевичу. Только благодаря особенной опытности и сноровке княжеского маршала, весь придворный штат, хотя и не без пререканий, был чинно расставлен вокруг стола. Никто еще, однако, не сел в ожидании княгини воеводиной и царевича.

Но вот и княгиня с детьми спустилась с крыльца, а за ними и царевич. Все заняли свои места.

Внимание Михайлы сосредоточилось исключительно на царевиче, которого он имел полный досуг разглядеть, так как тот, сев за стол, был обращен к нему лицом.

Это был молодой человек лет двадцати двух — двадцати трех, ростом ниже даже среднего, но сложения очень плотного, коренастого. Черты его безбородого, смуглого лица отнюдь не могли похвалиться правильно-

стью и вообще красотой, а на лбу и около правого глаза у него было вдобавок по бородавке. Когда он, чтобы освежить голову, снял шапку, то обнаружил под нею коротко стриженные, жесткие как щетина, черного цвета волосы. За всем тем ему нельзя было отказать в представительности и даже в привлекательности: в открытом, смелом, почти дерзком Взгляде его пронизательных серых глаз светилось столько ума, на губах его змеилась по временам такая тонкая усмешка, в осанке его было столько самонадеянной гордости, во всех телодвижениях столько изящной ловкости, — прямой царедворец, если не царский сын! Ко всему этому он был одет в живописный, богатый польский костюм: в голубой бархатный кунтуш над стального цвета атласным жупаном, разукрашенным золотыми узорами; набекрень шапка соболья с бархатным верхом и султаном из стеклянных волос, за златотканым поясом желтые лосиные печатки; сбоку — украшенная драгоценными камнями сабля.

Обед между тем шел своим чередом. Княжеские повара оказались большими мастера-

ми: хотя времени у них было очень немного, хотя дело было дорожное, угощение вышло на славу. Загодя, видно, в Дубне еще все изготовили, а здесь только допекли, дожарили. Начало трапезе положил, разумеется, традиционный еще в ту пору у местных вельмож со времен князя Владимира Киевского, жареный павлин во всей роскоши своих разноцветных перьев; затем следовали уже чисто польские блюда: зразы, бигос, мники. Парубки с умывальными чашами и кувшинами с водой в руках, с ручниками через плечо, стояли тут же, чтобы столующие могли между отдельными блюдами тотчас умыть себе жирные руки (вилки в ту пору не были еще в общем употреблении). Сновавшие вокруг стола слуги усердно подливали заморского виноградного вина, отечественной браги и домашнего меду в опорожненные чаши и кубки. Несмотря на присутствие княгини, беседа за столом текла все свободнее и шумнее. Шнырявшие туда да сюда карлики со своей стороны взапуски смешили обедавших; сама княгиня удостаивала их иногда снисходительной, кисло-сладкой улыбкой, и только когда баловень-сыночек ее,

сидевший рядом с нею, раздражался чересчур уже звонким смехом, она морщилась, зажимала себе в его сторону ухо и выговаривала стоявшей за стулом княжича нянюшке: зачем-де та не наблюдает за ним толком.

Тут подали новое блюдо, и от одного конца стола до другого пронесся возглас удивления и восхищения. Сам Михайло в окошке светелки не знал, верить ли глазам: вся турица его была воедино опять сложена, да так, в мохнатой шкуре, с приставленной рогатой головой, и подана на стол! Самые же рога у нее были вызолочены и цветочными венками кругом обвиты.

Но и на этом дело еще не стало: придворный кравчий, рушивший столующим жаркое, умелым взмахом ножа распорол живот турицы — и посыпалась оттуда в подставленные блюда небывалая начинка: дичь всякая, куры, зайцы...

Между тем царевич подозвал к себе Рахиль и о чем-то ее спрашивал; она же, словно обрадовавшись, что-то ему рассказывала и кивала вверх, на светелку... Этого недоставало!

Михайло быстро откинулся назад от окошка. Но вот и лесенка к светелке закрипела под чьими-то шагами. Ну, так и есть!

В дверях показалась Рахиль. Красивое лицо ее пылало огнем, голос ее обрывался от волнения:

— Царевич зовет тебя, Михайло...

— И зачем ты, Рахиль, говорила ему обо мне?.. — укорил ее дикарь.

— Иди, иди! Господь благослови тебя: счастье твое, может, ждет тебя...

Ему ничего не оставалось, как последовать зову. Придерживая рукою сердце, точно боясь, чтобы оно не выскочило у него из груди, он сошел в нижний этаж, а оттуда на двор.

Глава седьмая

ГАЙДУК ЦАРЕВИЧА

Взоры всего избранного, блестящего «панства», сидевшего за столом, обратились на молодого поле-щука.

— Ну, добрый молодец, хозяйская дочка рассказала нам о том, как ты расправился вон с этим зверем, — милостиво заговорил по-русски царевич, указывая на возвышавшуюся посреди стола златорогую, увенчанную цветами, могучую турицу. — В бою один на один с человеком ты, я чай, тоже справишься, не покажешь тылу?

Михайло самонадеянно вскинул голову.

— Как ты сам, царевич, полагаю, тылу ворогу не кажешь, так и я постою за себя!

— За смелое твое слово, молодец, ты люб мне. Такие люди мне нужны. Чем тебе без пути болтаться, взял бы я тебя в свою дружину. Да говоришь ли ты по-здешнему?

— По-хохлацки? Говорю.

— Прислушался? Но панского, польского языка, конечно, еще не знаешь?

— Знаю...

— Это откуда? Да кто же ты, молодец? Из каких?

Молодой богатырь, как ни был приготовлен к такому вопросу, замялся, смутился. Искоса хмурясь на окружающих, не сводивших с него глаз, он, запинаясь, уклонился от прямого ответа.

— Я... не пропащий человек... дурным чем себя доселе не опорочил...

— Но имя, звание твое?

— Имя мне Михайло...

— Михайло Иваныч Топтыгин? — подхватил тут подскочивший к нему шут Ивашко. — Здорово, Мишенька! Что женушка-медведиха, Матрена Ивановна? Что малые детки?

Приветствие свое карлик сопровождал таким забавным кривляньем, что князь Адам, а за ним и все его придворные разразились одобрительным смехом. Маленький же княжич так и заливался, тыкая пальчиком на звериный кожух дикаря.

— Мама, медведь! Медведь!

Один только царевич, прерванный в своем допросе, сердито усмехнулся, и заметившая

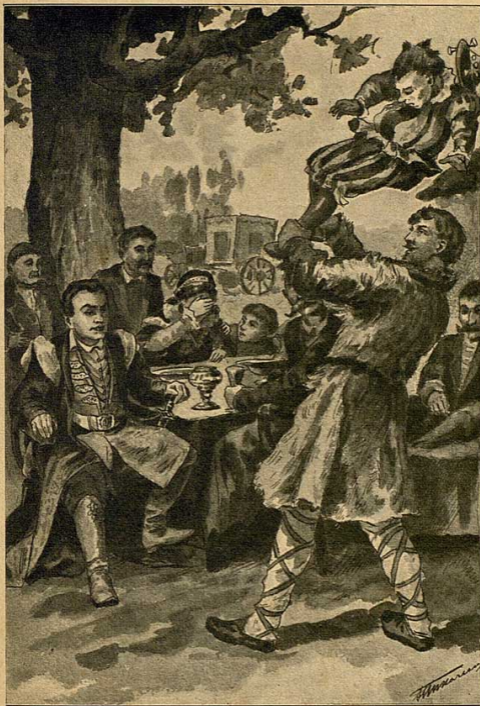
это княгиня наклонилась к сыну и стала тихонько ему выговаривать. Между тем, лавры Ивашки не давали уже покою товарищу его Палашке. Тому надо было во что бы то ни стало также отличиться.

— А Палашко покатается на медведе! — объявил он, молодецки потрясая головою в дурацком колпаке, отчего бубенчики на колпаке задорно зазвенели; и не успел Михайло оглянуться, как проворный шут, хватаясь за его волосатую одежду, вскарабкался к нему кошкою на плечи. — Ну, пошел! Вперед! Цоб-цобе!

Михайло был еще очень молод; услышав вокруг себя новый взрыв хохота, он понял одно: что сделался общим посмешищем, и в присутствии кого же? Самого царевича! Кровь ударила ему в голову, и он не мог уже совладать с собою. Стащив карлика разом за ноги с своих плеч, он размахнулся им по воздуху, как кистенем.

— Куда зашвырнуть тебя: за крышу или за околицу? Смех кругом разом замер.

Светлейшая ахнула и, боясь за свои нервы, закрыла глаза рукой. Сынок же ее уцепился



— Куда зашвырнуть тебя: за крышу, или за околицу?

за рукав матери и громко разревелся:

— Ай, мама, мама! Он убьет Палашку, убьет!

— Гей, хлопцы! — крикнул тут князь Адам. — Чего зеваете? Отымите его у него!

Михайло уже опомнился.

— Не подходи, братцы! — сурово обратился он к холопьям, которые довольно нерешительно двинулись было к нему. — Натворю бед: ни ему, ни вам несдобровать.

Как пуховую подушку, сгреб он малютку-шута в охапку и подбросил его кверху. Тот очутился на покатой кровле крыльца и с криком ухватился за нее, чтобы не соскользнуть вниз. Придворные за столом свободно вздохнули, а между прислугой слышались легкие смешки. Но маленький княжич с перепугу рыдал еще безутешно, и совсем уже расстроенная княгиня с побелевшими, дрожащими губами, бросила в лицо своему вельможному супругу при всем собрании резкий упрек:

— И вы, князь Адам, молчите? Вы позволяете какому-то лесному бродяге так обижать ваших приближенных, доводить до горьких

слез вашего единого сына — сына князя Адама Вишневецкого? Нет, это слишком... этого я не перенесу!..

Она с шумом поднялась и увлекла за руку в дом плачущего сына. Маленькая дочка-княжна, фрейлины и прислуживавшая детям нянюшка поспешили за нею.

Добродушный князь Адам, на устах которого при благополучном исходе истории с карликом появилась уже прежняя улыбка, не на шутку вспылил от заслуженного укора; он грозно выпрямился и задышающимся голосом гаркнул хлопцам:

— Убрать его с наших глаз и рассчитать по-казацки!

«Рассчитать по-казацки», как было всем хорошо известно, в том числе и самому Михайле, значило отстегать нагайкой. Прежде, однако, чем хлопцы успели исполнить приказание своего господина, дикарь наш выхватил из-за пояса нож и стал в оборонительное положение.

— Я не дамся живым! Берегись, братцы!

— Ну, что же? Уберете ли вы его? — повторил еще строже Вишневецкий.

— Не трогать его! — раздался тут другой повелительный голос.

Хлопцы раболепно отступили. Перед Михайлой стоял сам царевич Димитрий.

— Тебя пальцем не тронут: мы не позволим, — сказал царевич, с особенным ударением на слове «мы», после чего дружелюбно, но решительно отнесся к князю Адаму. — Из-за чего вам, любезный князь, так горячиться? Чем собственно этот молодец провинился? Тем, что не дал поглумиться над собой дураку? Да по правде сказать, он обошелся с дурнем еще довольно милостиво: напугал и больше ничего.

Михайло, повторяем, был очень молод и легко поддавался первому порыву. Великодушие, с которым царевич в такую решительную минуту принял его под свою защиту, окончательно склонило нашего героя в его пользу, отогнало у него последние сомнения относительно царского происхождения его защитника.

— Отродясь я не был еще бит, и, конечно, не дался бы и теперь, — промолвил он с блестящими глазами. — Но твоего доброго слов-

ца, царевич, я вовек не забуду!

Сунув нож опять за пояс, он повернулся к шуту Палашке, который, свесив ноги, все еще сидел на кровле крыльца.

— Что, друже, насиделся? Ну, будет хныкать-то! Прыгай!

Он протянул карлику обе руки. Тот, буравя кулаком в глазу, слезливо отозвался:

— А не замаешь?

— Не замаю. Прыгай, что ли!

Поймав его налету, Михайло бережно поставил его на ноги; затем отдал царевичу еще раз глубокий поклон и повернулся, чтобы удалиться в дом. Но шут Ивашко остановил его.

— Постой, красавчик мой! Не слышал нешто, что Иван-царевич тебя в дружинники к себе прочит? Что же, Иван-царевич? Какого тебе еще Илью Муромца? Ростом трех сажен, в плечах — коса сажень, промеж глаз — калена стрела... Не красна на молодце одежда — сам собой молодец красен.

Царевич Димитрий, должно быть, привык уже к тому, что карлик переименовал его в сказочные Иваны-царевичи, потому что оста-

вил кличку эту без внимания. Он, видимо, любовался атлетической, статной фигурой дикаря и возобновил допрос.

— Ты — русский, говоришь, однако, и польски... Какого же ты рода? Откуда появился?

Юливший все время вокруг да около царевича Иосель Мойшельсон, размахивая своей парадной ермолкой, униженно-нахально проскользнул бочком вперед.

— Пхе! Да он, ваше ясновельможное величество, простой мужик, полещук: сам говорил нам.

— Так ли, полно? — усомнился царевич. Михайло не взглянул даже на еврея.

— Говорил, да, — отвечал он царевичу. — Но тебя, государь, морочить мне не пристало: язык не повернется. Какого я рода — не все ли едино? Прошлого у меня нету: я оставил его позади себя и сам уже не помню, не знаю, знать не хочу. Одна родная у меня — нужда горькая; я — полешанин и больше ничего. Зовусь же я Михайлой, прозываюсь Безродным.

— Стало быть, Михайло Безродный? А кто прозвал тебя так?

— Свои же товарищи-полецане.

— Но они-то кто такие? Не вольница ли уж разудалая, не станичники ли, подорожники?

Михайло покраснел и нахмурился.

— Не пытай, государь! — промолвил он почти умоляющим тоном. — Скажу тебе одно: я доброго кореня отрасль...

— И души христианской ни одной не сгубил?

— Ни единой, как Бог свят.

— Верю. Дружинников у меня покуда еще нет; но они найдутся — только клич кликнись. Верный же слуга, свой, русский, мне теперь всего нужнее. Готов ли ты, Михайло, служить мне верой и правдой?

— Рад душой и телом! Хоть последним слугой...

— Нет, ты будешь мне первым слугой, первым гайдуком. Подать ему чару вина!

Такая честь, оказанная безвестному бродяге будущим царем московским, возбудила кругом между панами шепот удивления, а между прислугой — и зависть. Вишневецкий собственноручно долил свой большой золотой кубок и с небрежной снисходительно-

стью протянул его Михайле, после чего подзвал к себе своего гардеробмейстера, толстопузого и чрезвычайно важного на вид старика, и вполголоса отдал ему приказание — немедленно выбрать для нового царского гайдука подходящий наряд.

Полчаса спустя обед пришел к концу, столы были убраны, и княжеская золотая колымага первою подкатила к крыльцу.

— Где же гайдук мой? — спросил, озираясь, царевич.

Иосель Мойшельсон бросился в дом и, к немалой досаде своей, застал здесь, в сенях, разодетого в новый наряд гайдука в разговоре с Рахильюю.

— Да ты, Михайло, загордишься, — говорила молодая еврейка, — чураться меня станешь...

— Я те зачураю! — перебил ее подскочивший в это время старик-отец и дернул за руку с такою силой, что девушка отлетела в угол. — А тебя, Михайло, царевич зовет. Ходи скорей, ну?

Он хотел, видно, еще распушить дочку, но спохватился, что упустит, пожалуй «гешефт»,

и буркнув только что-то, опрометью выско-
чил также к отъезжающим. Колымага уже
тронулась с места, когда в дверцах ее показа-
лась кудластая голова корчмаря.

— Ваша ясновельможная светлость! Про-
стите: мы люди маленькие, живем только
тем, что паны банкетуют у нас...

— А и в самом деле! Тебя ведь еще не рас-
считали? — вспомнил князь Адам.

— Ни!

— Сколько же тебе причтется?

Старик-еврей с умильной ужимкой скло-
нился еще ниже и без конца заморгал.

— Сто дукатов вашей светлости не много
будет? Несообразное требование поразило да-
же известного своею щедростью князя Адама.

— Сто дукатов? — переспросил он. — Это за
что же? Ведь припасы-то у нас, чай, все свои
были?

— А про турицу-то, ваша светлейшая ясно-
вельможность, забыли? Пхе!

— Да туры будто у нас на Волыни уже та-
кая редкость?

— Туры-то не редкость, — отвечал изворот-
ливый еврей, подобострастно осклабясь и

подмигивая сидевшему рядом с князем царевичу, — но цари московские — уй-уй какая редкость!

Царевич усмехнулся, а князь рассмеялся и крикнул своему казначею, чтобы тот отсчитал корчмарю требуемую им сумму.

Глава восьмая

В ГОЛОВЕ ПАННЫ МАРИНЫ НАЗРЕВАЕТ ПЛАН

Пока названный царевич Димитрий, а с ним и новый гайдук его, под палящими лучами июльского солнца в удушающих облаках пыли, безостановочно мчались навстречу неведомой судьбе своей, судьба их была более или менее уже предрешена: предрешена в отдаленном Самборе молодой девушкой, существования которой ни один из них еще не подозревал. Девушка эта была первая самборская красавица и привередница — панна Марина Мнишек, младшая и любимая дочь Сендомирского воеводы, Юрия Мнишка.

Пан воевода только что окончил продол-

жительное совещание с тремя монахами: двумя иезуитами и одним бернардинцем, посланными к нему папским нунцием в Кракове, Рангони, как панна Марина, выжидавшая только, казалось, ухода монахов, впорхнула в кабинет отца.

— Что тебе, мое сердце? — с оттенком неудовольствия спросил пан Мнишек, который, видимо, утомленный предшествовавшими прениями, разлегся на диване и, тяжело дыша, отирал платком свое голое, блестящее, как полированная слоновая кость, темя, на которое с затылка только был тщательно зачесан седой оседелец.

Молодая панна, ластясь, подседа к старику и, достав из кармана свой собственный фацилет (платок) тончайшего полотна, опрысканный эфирным раствором амбры, нежно провела платком по его лбу, а в заключение поцеловала его в самое темя.

— Вот так! — сказала она, с улыбкой глядя на него. — Что, разве не легче?

— Легче; но я устал моя милая, очень устал...

— Безбожные патеры!

— Тише, дитя мое...

— И чего им от вас нужно?! Ну, скажите, папа, чего им нужно?

— Это, милая, государственная тайна. У тебя же еще один ветер в голове...

— Без ветра, папа, никак нельзя: без него бы все на свете застоялось и сгнило; ветер очищает воздух.

И в подкрепление своих слов, она обмахнула опять лицо отца своим платком и обдала его при этом ароматом амбры.

— Экий язычок! На все ответ найдется, — заметил пан Мнишек, с умилением взглядывая снизу в сверкающие глазки дочери.

— Ну, да Бог с ними, вашими патерами! — сказала она. — Я и без того прекрасно знаю, что разговор у вас был об этом московском царевиче, который точно с неба свалился. Ответьте мне, папа, только на один вопрос: в самом ли деле это заколдованный принц, или он только прикидывается им?

— Гм... Да тебе-то, милочка, на что? Что за странные для девушки вопросы ни с того, ни с сего?

— Видно, есть с чего... Так что же, говори-

те: принц он или нет?

Пан Мнишек пристально взглянул в глаза дочери. Она глядела на него не менее зорко и смело, нетерпеливо потопывая ножкой по полу.

— Ты, Марина, у меня ведь известная фантазерка: в безумной головке твоей, верно, опять какая-нибудь шальная идея родилась?

— Шальная ли, увидите когда нужно. А теперь отвечайте мне: кто этот таинственный незнакомец, выдающий себя за русского царевича? Отвечайте, пожалуйста, по совести! Вы не знаете, папа, сколько от этого зависит и для вас, и для меня!

Пан воевода озабоченно насупился и покачал головой.

— Что я скажу тебе? Кто заглянет ему в душу?

— Так вы сами, значит, не совсем уверены в нем? — продолжала допытываться панна Марина, и возбужденные черты ее подернулись тенью разочарования. — Это, конечно, грустно, очень грустно; но... все равно, принц он или нет, есть ли у него надежда захватить венец царский?

— Ежели король наш Сигизмунд и сейм польский не откажут ему в своей помощи — без сомнения.

— А эти посланцы папского нунция из Кракова прибыли сюда к вам, конечно, по этому же делу?

Пан Мнишек не мог скрыть своего изумления по поводу дипломатического чутья дочери.

— Ты, милая моя, право, иезуит в юбке! Панна Марина тихонько засмеялась.

— Была, значит, в хорошей школе! Недаром вы окружили теперь и себя, и меня иезуитами.

— Не шути с огнем! — укорительно заметил отец. — С иезуитами считаются теперь и крупные государственные мужи, преклоняются перед ними и власть королевская. Они же возложат на голову нашего августейшего монарха наследственную корону шведскую, которая была у него насильственно отнята...

— Договаривайте, папа.

— Что договаривать? И то проболтал уже лишнее. Политика — не женское дело.

— Так я вам доскажу. Иезуиты ваши под-

бивают короля поддержать этого претендента на московский престол (царевич ли он или нет — для них все равно) с тем, чтобы он потом, в свой черед, помог королю вернуть себе шведскую корону. Не так ли?

Старик Мнишек развел руками.

— Кто тебе это все выдал?

Дочь коснулась указательным пальцем своего высокого, выпуклого лба.

— Вот эта безумная головка. Политика, как видите, иногда и женское дело. Стало быть все это верно? Хорошо. А иезуиты-то из чего хлопочут?

— Как из чего? Чтобы восстановить прежнее могущество польского народа, исповедующего их святую римскую веру.

— Вы думаете? Какое дело настоящему иезуиту до того или до другого народа? Нет, у них совсем другое на уме.

— Другое?

— Торжество истинного Христова учения: им надо обратить в римскую веру нового русского царя, а через него и весь народ русский.

— А что ведь? И то, пожалуй, так! Ай да умница! Тебе самой бы, право, восседать на пре-

столе.

— Чего нет, то может еще случиться.

Пан воевода от изумления, от испуга даже рот разинул.

— Как? Что ты говоришь?

— Молчание, папа! Еще время не пришло. Как ваши иезуиты ни хлопчут — одним без меня, поверьте, им ничего не добиться. Теперь заколдованный принц, как слышно, в Дубне у князя Острожского, которому князь Адам почему-то счел нужным раньше других его представить.

— Потому что-то — первый защитник русских и православных на Волыни! — не без горечи пояснил пан Мнишек.

— Хорошо. Но после-то князя Острожского к кому он его повезет на поклон? Разумеется, к родному брату своему, Константину, в Жалосцы...

— И ты хочешь теперь же ехать туда, как бы им навстречу? Боже тебя упаси! Вот сумасбродство...

— Ничего нет проще: про царевича я ничего знать не знаю. Еду же я только в гости к сестре своей, Урсуле. Если тут, в доме ее, я слу-

чайно, — слышите: совершенно случайно, — застаю проезжего принца, то моя ли в том вина? Что будут они потом и сюда, в Самбор, — я верю. Но видеть его раньше того, как бы мимоходом, мне решительно необходимо, чтобы присмотреться и окончательно решиться. Я нахожу даже более осторожным, если вы, папа, не будете там со мною, чтобы я гостила у сестры совсем случайно. Не правда ли?

— Правда... Умница ты у меня, повторяю, разумница, какой другой не найти, — ей-Богу, так! Но, знаешь, душа у меня далеко не спокойна: а ну, как он и точно самозванец и проведет тебя...

— Меня-то? — самоуверенно улыбнулась хорошенькая панна. — Это мы еще посмотрим: кто кого проведет!

— Ах, дитя мое, ах-ах! — вздохнул пан Мнишек, с озабоченным видом поглаживая рукою цветущую щечку дочери. — Боюсь я за тебя, боюсь: ты так молода; сердечко твое и теперь, думается мне, не совсем свободно...

Облачко грусти пробежало по ясному челу девушки.

— Вы, папа, говорите про пана Осмольско-

го?

— Да, про него. Что он к тебе неравнодушен, как многие другие польские рыцари, ты сама, конечно, заметила еще раньше меня. Но он также богат, умен, занимает при мне видное место — региментаря, и сам дослужится, надо думать, до воеводства; он храбр, честен, скромнен — рыцарь в лучшем смысле слова...

— К чему вы, папа, мне все это говорите! Будто я этого и без вас не знаю? — с сердцем перебила панна Марина и вся заалелась.

— Говорю потому, что мне больно за тебя...

— А мне-то, вы думаете, не больно? Но тут я могу не только сама занять такое высокое место, какое ни одной из моих подруг и во сне не снилось, — я могу оказать своей отчизне, своей вере такую услугу, которая никогда не забудется и занесет мое имя на страницы истории рядом с самыми почетными именами!

Пан воевода слушал свою красноречивую дочку с возрастающим восхищением; при последних словах ее он поймал на воздухе ее жестикулирующую руку и, поднеся к губам, приложился губами к кончикам ее стройных

пальцев.

— Преклоняюсь перед вашим не женским умом, пани!

Так-то, еще за несколько дней до приезда в Жалосцы царевича Димитрия, панна Марина Мнишек явилась туда в сообществе двух любимых своих фрейлин: Муси (то есть Маруси) Биркиной и Брониславы Гижигинской. День спустя прибыли туда из Самбора еще трое гостей по взаимному соглашению папских легатов: один из них, бернардинец, патер Сераковский, в действительности также иезуит, но тайный, и уже от себя — двое искателей руки панны Марины: вышеупомянутый пан Осмольский и его соперник, пан Тарло, — последний, как выяснилось вскоре, также тайное орудие иезуитов.

Глава девятая

ПАННА МАРИНА ПРИНИМАЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Каменные замки на Волыни в описываемую эпоху можно было встретить только в редких, более крупных городских поселениях: в Кременце, Дубне, Остроге, Луцке. Так и жалосцкий замок (лежавший не далее десяти верст по ту сторону Волынской границы), несмотря на вошедшее в поговорку богатство старинного рода Вишневецких, был возведен из дубового дерева и крыт гонтом. Зато он поражал массивной архитектурой, представляя обширный восьмиугольник в три яруса. Над крутой срединной вышкой развевался фамильный флаг Вишневецких, а над главным порталом красовался эффектный герб Русского (то есть Червоно-русского) воеводства — золотой лев в короне на голубом поле. По всем восьми углам замка высились стройные вежи (башни). Верхние ярусы их были снабжены, вместо окон, круглыми бойницами, из которых выставлялись жерла небольших пу-

шек; в нижних помещались скопившиеся годами склады всяких военных и особенно охотничьих принадлежностей.

Для полной защиты от нападения кочевников, замок со всеми его городнями (пристройки и службы) и прилегавшим к нему парком был обнесен земляным валом с дубовым частоколом и глубоким рвом. Последний, впрочем, в данное время пересох и оброс травой, но благодаря протекавшей по парку быстрой и многоводной речке, он всегда мог быть наполнен водою. Единственным выходом из этого земляного и водяного кольца служил подъемный мост перед въездными воротами, две башенки которых были также вооружены большими пушками — «бомбардами».

Лучшим украшением замка был, однако, его великолепный парк. Лет семнадцать назад получив, можно сказать, с бою руку старшей дочери Сендомирского воеводы, панны Урсулы Мнишек, окруженной в то время, как теперь ее младшая сестрица, целым роем поклонников, князь Константин Вишневецкий желал сделать своей молодой, избалованной

спутнице жизни пребывание вдали от родительского дома возможно отрадным и приятным. В этих видах он выписал из немецкой земли искусника-садовода и с ним разных подначальных мастеров, и в два-три месяца старый, запущенный парк стал неузнаваем. Густую чащу вдоль и поперек изрезали широкие аллеи и извилистые дорожки, усыпанные то белым, то красным песком; на перекрестках появились столбики с разъяснительными надписями: «Философская тропа», «Путь мечтаний», «Аллея вздохов» и т. п., а из-за нависших сплетений плюща то здесь, то там эффектно просвечивали расписанные гипсовые фигуры древнегреческих богов и героев, а также разных заморских, зверей: львов, тигров, крокодилов. Можно было найти для отдохновения не одну укромную беседку: одну — с кукующей деревянной кукушкой; другую — с золотой арфой; третью — наподобие китайского киоска с звенящими на зонтичной крыше колокольчиками. Можно было скрыться в темный грот со сталактитами и сталагмитами, или же присесть помечтать у журчащего каскада.

Правда, розовое настроение княгини Урсулы, в ранней юности склонной к мечтательности, с годами уступило место строгой религиозности. Но парк, по распоряжению ее светлейшего супруга, поддерживался в прежнем виде.

В этом-то парке под вечер следующего дня по прибытии самборских гостей гуляло целое общество. Во время прогулки по одну руку панны Марины вскоре очутился пан Осмольский, по другую — пан Тарло. С первого взгляда трудно было бы сказать, кому из обоих отдать предпочтение.

Аристократические черты смуглого лица пана Тарло носили, правда, следы бурно прожитых лет, но черные глаза его под густыми сросшимися бровями светились как тлеющие уголья, и та самонадеянная заносчивость, то нескрываемое презрение, с которым он относился к большинству мужчин, та рыцарская почтительность и изысканная любезность, которые он выказывал перед особами другого пола, особенно если они отличались молодостью и красотой, снискали ему почти всеобщее расположение самборских дам.

Пан Осмольский, напротив, красотою лица отнюдь не поражал. Черты его были довольно обыкновенны и крупны. Зато в них выражались твердая воля, прямодушие и привычка к размышлению. Телом же он, надо признать, был очень хорошо сложен и вообще имел чрезвычайно решительный, воинственный вид, благодаря, между прочим, и военному мундиру. Это, очевидно, был вполне прямой характер, честный и простой вояка и рубака с возвышенным умом и чистым сердцем.

— Ах, вот что, пане Осмольский, — сказала вдруг панна Марина. — У меня к вам просьба, большая просьба!

— Панне остается только приказать, — был почтительный ответ.

— Но просьба, повторяю, очень большая! Вы вчера ведь только прибыли сюда и, конечно, еще утомлены, не отдохнули?

— Мы, пани, люди военные, и утомления для нас не существует.

— Так вы не слишком на меня рассердитесь, если я вас теперь же заставлю совершить обратное путешествие в Самбор?

— С вами, в качестве конвойного?

— То-то, что без меня. Мне во что бы то ни стало надо отправить очень важное и спешное письмо к отцу, и более верного гонца, как вы, я не знаю. Как рыцарь, вы в просьбе моей, конечно, не откажете?

Она произнесла это как-то особенно ласково, но так решительно, что пан Осмольский насупился и отдал ей формальный «рыцарский» поклон.

— Вы делаете мне слишком много чести, пани. Между вашими собственными служителями, между прислугой вашей сестры нашлись бы, я уверен, вполне благонадежные люди, которые с не меньшим успехом, чем я, исполнили бы это немудреное поручение.

— Так вы не желаете сделать это для меня?

— Если прикажете, то я, разумеется, повинуюсь: ваше слово для меня — закон.

— Так я приказываю.

— Слушаюсь, пани, — не без горечи уязвленного самолюбия отвечал пан Осмольский. — Письмо, может быть, уже при вас?

Небольшое, сложенное треугольничком и запечатанное письмо, действительно, ока-

залось уже у нее наготове. Приняв его, пан Осмольский молча откланялся, подошел к хозяевам объяснить, что по самому неотложному делу должен сейчас же возвратиться в Самбор, и без оглядки удалился.

— Мне даже жаль его! — усмехнулся пан Тарло. — Вы точно нарочно услали его отсюда?

— А если бы и так? — вполголоса отвечала панна Марина. — Отстанем немножко от других.

Пропустив остальное общество вперед, они незаметно завернули в безлюдную боковую аллею.

— Время дорого, — начала тут опять панна Марина, — и с вами, любезный пане Эвзебий, я не стану более играть в жмурки. Вы не менее строгий католик, как вся наша семья Мнишек, и потому, конечно, поймете, что благо святой нашей церкви должно быть нам выше даже собственного нашего счастья. Между тем, в руках моих, можно сказать, судьбы нашей церкви: от меня зависит обратиться к ней миллионы еретиков. Что вы глядите на меня так удивленно? Объяснюсь проще:

нам надо заставить московского царевича перейти в нашу веру, а для этого мне надо заставить его расположение...

Пан Тарло, как ужаленный, даже привскочил на ходу.

— И я должен еще содействовать вам? — вскричал он. — Это, пани, бесчеловечно!

— Что я не совсем бесчеловечна, что я к вам... благосклоннее, чем к кому-либо другому, вы можете судить уже потому, что вас я не удаляю от себя, тогда как вашего опаснейшего соперника, как видите, и след простыл. Я послала его с письмом к моему отцу, чтобы тот ни за что не отпускал его уже из Самбора.

— Только для этого?

— А по-вашему этого мало? Мне выпала, как я только что говорила вам, великая, но и трудная задача — сделать московского царевича верным слугою папского престола. И, пока задача эта не будет мною выполнена, я дала себе слово не думать о моем собственном счастье. Пан Осмольский по своей непростительной прямоте только мешал бы мне в моем плане; говорить с ним о таком деликатном деле решительно невозможно. Вы же, до-

рогой Эвзебий, совсем другого закала, в вас я надеюсь иметь самого верного помощника: вы должны вашим вниманием ко мне постоянно поддерживать чувства царевича, а в то же время, чтобы оставлять его в некотором сомнении, быть галантным и с моими фрейлинами. Зато, раз только царевич будет наш, эта рука — ваша...

Молодая комедиантка, не глядя, протянула ему свою руку, к которой он не замедлил приложиться губами.

— Итак, мы — союзники? — сказала она, отнимая опять руку. — Вы обещаете иметь терпение до конца?

— Вы делаете со мною, что хотите, божественная!..

— Без нежностей! Я для вас, покамест, как и для всех других, только панна Мнишек, которая может быть одинаково любезна с кем хочет.

— Слушаюсь...

— Слово польского рыцаря?

— Слово рыцаря.

— Чур, не забывать! А теперь, пане, повернем назад и нагоним поскорее других.

Глава десятая

ФАЛЬШИВАЯ ТРЕВОГА

Следующий день выдался исключительно жаркий и душный. Солнце, чем далее за полдень, тем томительнее пекло и парило, как бывает обыкновенно перед июльской грозой. Неудивительно, что многочисленные домочадцы жалосцкого замка попрятались по углам.

Обширный, усыпанный песком двор перед лицевым фасадом замка лежал прямо на припеке, и на нем, естественно, не было ни души. Но и отсюда замечались признаки напряженного ожидания необычных гостей: из открытых окон отдаленного флигеля, где помещалась княжеская пекарня (кухня), доносился неумолчный концерт ножей, кастрюль, ступок, перебранка повара с поваренками. На пороге главного портала замка стоял бессменным караулом, в полной парадной форме, один из двух дежурных на этот день «маршалков» — молодых дворян-приживальцев светлейшего. Несколько человек состоявших

под его началом ливрейных слуг слонялось тут же между колонками подъезда и вполголоса лениво перешучивалось. По временам показывался из замка сам маршал придворный, пан Пузын, тяжелый на подъем толстяк; пыхтя под плотно облежавшим его раздобревшее тело кунтушом, спереди и сзади залитым золотым шитьем, он озирался — все ли в порядке, отдавал слугам еще то или другое приказание и, отдуваясь, скрывался опять в прохладные сени дома.

— И чего он ползет-то еще сюда? — заметил один из дежурных слуг, чернявый, востроглазый малый.

— На то маршал, — отозвался, зевая, другой.

— Маршал! Вона где наш маршал, — сказал первый, кивая на окошко в «городне», откуда только что выглянула на минутку голова молодого княжеского секретаря, пана Бучинского: всем у нас верховодит.

— Ты, Юшка, держал бы язык за зубами.

— Да нешто не правда? Он вот и теперь-то за делом — бумажки строчит, а нет-нет да и выглянет: все видит, все подметит, а хошь бы

раз облаял — мягко стелет и мягко спать. А тот что? Хошь бы палец о палец ударил: «Раздень меня, разуи меня, уложи меня, накрой меня, переверни меня, перекрести меня, а там, поди, усну и сам».

— Видно, ты, братику, давно на конюшне не бывал?

— Головы не снимут!

— А спины не жалко?

— Душа Божья, голова царская, спина барская, — с беззаботною удалью отозвался Юшка. — А нонече и на нашей улице будет праздник!

— Что так?

— Да так: штуку одну таковскую про запас имею; один князь только поколе ведает. Как сведаете, братцы, — ахнете!

— Ври больше: кудрявый у тебя волос — кудрявы и мысли.

Юшка собирался еще что-то сказать, но прикусил язык: в дверях появился сам владелец замка, светлейший князь Константин Вишневецкий. Это был мужчина лет за пятьдесят, чрезвычайно решительного, даже сурового вида, хотя в чертах лица его можно было

найти некоторое фамильное сходство с его младшим, добродушным братом князем Адамом. В ожидании царевича, он также был в праздничном наряде, в собольей шапке со страусовым пером и с аграфом из драгоценных камней.

Не удостоив и взгляда слуг, раболепно расступившихся по сторонам, князь, сопровождаемый дежурным маршалком, вышел на середину двора и неодобрительно оглядел кругом небо.

— Ни облачка, а душно, как перед грозю, — пробормотал он как бы про себя, — не застало бы их в дороге.

— Парит, ваша светлость, и чересчур уже тихо в воздухе, — позволил себе почтительно заметить молодой маршалок, — ведь нынче же у русских Илья-пророк — даром не пройдет.

— Что? — вскинулся на него начальник и гуще еще сдвинул брови. — Вы разве еще православный?

— Упаси Боже, ваша светлость!.. Я сказал только так, по необдуманности.

Князь оставил отговорку без дальнейшего

внимания и поднял голову к кровле замка, над верхушечной башенкой которого развивался родной стяг Вишневецких.

— Гай-гай, диду! — громко крикнул он.

Никого в вышине не было видно, и отклика не последовало.

— Дидусю! Павло! — еще зычнее крикнул князь. Над выступом башенки вынырнула белая, как лунь, старческая голова, четко выделяясь на небесной лазури.

— Чего, батьку? — донесся вниз разбитый, дребезжащий голос «дида» Павла.

— Не видать их?

Как петух, высматривающий на земле зерно, старик свернул свою белую голову на бок и приставил руку рупором к уху.

— Глухой тетерев! — вспылил господин его. — Не видать гостей, что ли?

— Нету-ти.

— Совсем плох стал старичина! Пора на покой, — проворчал про себя князь. — Эй, Юшка! Слетай-ка ты на вышку да дерни, когда нужно, звонок: старик, чего доброго, проглядит еще гостей.

— Мигом слетаю, батюшка князь.

Но «слетать» на вышку он уже не успел: «дид Павло» напряг теперь, как видно, свое ослабевшее зрение, чтобы в угоду князю поскорее усмотреть гостей, и дернул звонок. По замку резко прозвенел знакомый всем обитателям его колокольчик, и весь замок, как муравейник, в который ткнули палкой, вдруг взворошился, ожил.

Церемониал встречи почетных, да и непочетных гостей в «доброе старое время» соблюдался куда строже, чем в наше вольнодумное время, особенно в былой Речи Посполитой, в тонкости обращения едва ли не превзошедшей даже Западную Европу. Не прошло пяти минут от данного с вышки сигнала, как весь придворный штат, хоронившийся от дневной жары по своим покоям, был уже налицо. На пороге ожидали гостей сами хозяева: князь Константин и княгиня Урсула, не совсем уже молодая, но очень видная дама, в парадном костюме: темно-синем аксамитовом (бархатном) кубраке (дамский кунтуш) с горностаевой опушкой; в необычайно высоком корнете (головной убор из «газу» и «блондын»), так называемой «вавилонской башне»; с богатей-

шим диамантовым пунталом (ожерелье) на оголенной, полной как подушка шее; с драгоценными манелями (браслетами) и кольцами на столь же выхоленных руках. По сторонам стояли: около князя — маршал двора, пан Пузын, и секретарь, пан Бучинский; около княгини — статс-дамы и фрейлины ее. Вдоль всего портала, где должны были подъезжать один за другим экипажи, выстроились в два ряда ливрейные гайдуки и пажи, под наблюдением двух дежурных маршалков. За спиной хозяев, точно также в два ряда, вплоть до передней, растянулись высшие и низшие придворные чины.

Княжеские сыновья-подростки с их ментором-семинаристом, капеллан жалосцского замка, патер Лович, а также приезжие гости: патер Сераковский и пан Тарло оставались пока в доме — в гостиной.

За воротами, по подъемному мосту послышался, наконец, лошадиный топот, гул колес; вот донеслось и хлопанье бича... Все взоры устремились к воротам, на всех лицах выразилось самое напряженное любопытство: никто ведь еще не видел этого московского ца-

ревича! Сейчас должны были показаться скороходы, за ними окруженный вершниками ряд колясок и карет...

Но что же это такое? Ни скороходов, ни вершников; вкатился на двор один только громоздкий, допотопный рыдван, который с трудом волокла четверка исхудалых, разношерстных коней, хотя сидевший на козлах возница очень усердно работал над ними бичом.

— Пан Боболя! — вырвался у всех присутствующих крик разочарования.

Но этикет должен был быть в точности соблюден: никто не тронулся с места. Покачиваясь и скрипя на своих высоких рессорах, рыдван въехал под портал. Первою выползла оттуда старушка — пани Боболя; за нею были высажены три ее дочери-девицы.

Княгиня Урсула с самой любезной миной, к какой только было способно ее надменное, строгое лицо, выразила гостям свое восхищение «наконец-то» видеть у себя дорогих соседей, которых ждала-де и не могла Дождаться. Троекратно поцеловавшись с каждою, она повела их между низко преклоняющимися при-

дворными в гостиную.

Тем временем гайдуки подняли под руки из глубокого кузова рыдвана и самого пана Боболю. Как подагрик, он опирался на костыль и неуверенно переставлял свои поджарые ножки, которым было не под силу держать даже его не грузное, но рыхлое тело. Подслеповатые, в бесчисленных морщинках глаза его рассеянно щурились; с отвислых губ его не сходила какая-то по-детски наивная улыбка.

— Много чести, ваша светлость, слишком много чести! — шамкал он в ответ на приветствие светлейшего хозяина. — К чему все это? Мы же старые соседи! Позвольте прижать вас к сердцу!

Князь Константин, по поводу такого самообольщения непрошеного гостя, воображавшего, очевидно, что для него устроен весь почетный прием, сердито усмехнулся, однако же крепко обнял его и подставил обе щеки.

— Мы, признаться, ожидаем сейчас московского царевича, — объяснил он.

— Московского царевича? — недоумевая, переспросил пан Боболя. — А, да, да, как же,

помню, знаю! — сказал он таким тоном, что ясно было: ничего он не помнит, ничего не знает. — Тем более нам чести. Позвольте за то еще раз обнять вас!

После этого хозяином и гостем была разыграна в дверях сценка, которую двести с лишним лет спустя заставил Чичикова и Манилова разыграть Гоголь.

— Милости просим, дорогой пане, без чинов! — говорил князь, деликатно подталкивая пана Боболю ладонью в спину через порог в сени.

— После вас, князь, только после вас! — счел нужным упереться пан Боболя.

— Но в ваши лета... ваша многолетняя опытность, хотел я сказать... — поспешил поправиться хозяин.

— Мы, можно сказать, почти однолетки, но в опытности ваша светлость мне не уступите, о, нет! Родовой же сан ваш...

— Да ведь и в вашем роде, пане Боболя, как всей Польше известно, полных десять колен...

— А в вашем, князь, двенадцать...

— Помилуйте, что за счеты!

— А, нет, ваша светлость! Придворный эти-

кет Боболи, слава Богу, в тонкости тоже изучили.

В конце концов, однако, князь Константин, как и подобало хозяину, любезно пропихнул вперед гостя, и тот вполборота, с виноватым видом, проковылял на своем костыле в сени, волоча за собою по полу свою старинную турецкую саблю.

Этим моментом воспользовался князь Вишневецкий, чтобы через плечо вполголоса приказать маршалу, следовавшему за ним секретарем:

— Диду Павлу полсотни горячих!

Маршал тихо повторил то же приказание секретарю, а тот, в свою очередь, одному из дежурных маршалков, причем еще тише, так, чтобы маршал не слышал, прибавил от себя: «на ковре».

— Виноват, пане секретарь, — позволил себе возразить маршалок, — дид хоть и стар, но ковер при консекуциях установлен только для дворян... И если князь проведал бы...

— Исполняйте, любезнейший, что вам поручают, — мягко, но безапелляционно сказал пан Бучинский, — ответственность я беру на

себя.

Между тем, светлейший с гостем своим проследовали в переднюю, а оттуда и в гостиную, причем в дверях оба раза не обошлось опять без церемониального препирательства о первенстве, но в заключение, как и в первый раз, гость уступал настояниям хозяина и вполоборота проходил впереди него.

Дам в гостиной уже не оказалось: пани Боболю княгиня Урсула увела в свой «альков», чтобы напоить там кофеем; девицы же Боболи с панной Мариной и ее фрейлинами упорхнули в парк. Началось формальное представление наличного мужского персонала. Патерам Сераковскому и Ловичу пан Боболя поцеловал благословляющую руку; зато пан Тарло и два княжича сами чинно подошли к руке старого пана. Гувернера-семинариста пан Боболя не счел нужным заметить, и тот, низко поклонившись спине его, отретировался к окошку.

Усаживание гостя на диван сопровождалось также требуемыми формальностями: гость упрашивал хозяина показать ему пример, а хозяин предоставлял почет этот гостю.

Усадив, наконец, последнего, князь Вишневецкий точно теперь только заметил на госте саблю и обратился к нему с просьбой отвязать ее. Пан Боболя никак не соглашался, но потом, точно убежденный красноречием гостеприимного хозяина, дал отобрать у себя оружие и поставить в угол.

Около этих двух главных действующих лиц второстепенные сгруппировались в строгом порядке придворного этикета: ближе всех присели два духовных лица и маршал; далее пан Тарло. Что же касается остальной свиты, в том числе и секретаря, а также княжичей с их гувернером, то все они остались на ногах и в течение всего разговора не смели ни опереться, ни пошевелинуться, тем более непрошено вставить в беседу свое слово: нарушитель этикета без рассуждений был бы отправлен, наравне с простыми холопьями, на конюшню, имея перед ними одно только преимущество — «ковер».

Гайдук с подносом, на котором красовался кувшин с домашней наливкой и несколько серебряных чарок, дал взаимным любезностям хозяина и гостя другое направление:

князь собственноручно налил и с поклоном поднес пану Боболе полную чару; тот, немного починись, с видом знатока отведал душистого напитка и рассыпался в неумеренных похвалах ему. Князь долил ему чару и упрашивал пить во здравие. Гость снова приложился и торжественно провозгласил:

— За ваше здравие, князь, за здравие светлейшей княгини и всего вашего светлейшего рода!

Князь не преминул отпить с таким же пожеланием, и оба снова обнялись и трижды накрест поцеловались. Теперь только завязалась беседа о других предметах, и патер Сераковский весьма искусно сумел дать ей общий интерес.

Между тем на дворе сильно стемнело — стемнело не от сумерек, потому что солнце еще не садилось, а от надвигавшейся грозы.

— Как бы дождем царевичу дороги не испортило, — озабоченно заметил Вишневецкий.

— Царевичу? Какому царевичу? — переспросил опять забывчивый пан Боболя, усердно прикладываясь к чаре. — А, да, да,

ПОМНЮ, ЗНАЮ...

Крепкая, домашнего производства наливка ударила ему в голову и расположила его к откровенности.

— А ловкая ж у меня пани моя, ух, какая ловкая!.. Хе-хе-хе! — заговорил он вдруг, самодовольно оглядываясь на всех окружающих прищуренными масляными глазами.

— Да, уж против пани Боболи барыни не найти, — с самой серьезной миной подтвердил хозяин, хотя предвидел уже со стороны гостя какую-нибудь колоссальную наивность. — Чем она теперь отличилась?

— Чем отличилась? — сказать уж, что ли?

— Просим, пане: премного обяжете.

— А что, — говорит, — не съездить ли нам опять в Жалосцы к Вишневецким? Дом-то у них полная чаша: на неделю досыта наедемся-напьемся, да и коняки наши кстати полакомятся, побанкетуют княжеским овсецом да сенцом.

— Очень рад гостям, — сказал Вишневецкий. — А вы, пане, что же на это?

— А я ей: «еда — едой, — говорю, — овес — овсом, а уж наливочки такой, как у нашего

достоуважаемого ласкового князя воеводы, во всем мире поискать». Эх, никак весь кувшин до капли осушили? Знатное питье!

— Гей, хлопче! — крикнул хозяин, и хлопеч поддал про «дорогого гостя» кувшин вдвое объемистее первого и наполненный сладким и хмельным венгерским вином.

Опорожнив чару, пан Боболя окончательно охмелел и расчувствовался:

— Серденько-князь, голубочко моя! Как я люблю вас — и сказать не умею! Позвольте обнять вас!

Новые объятия и поцелуи.

— А пани Боболя вам на это что же? — спросил князь, стирая со щек своих следы влажных губ гостя.

— Пани-то моя что? — повторил тот, лукаво подмигивая слушателям. — Девочки у нас, — говорит, — на возрасте: пора пристроить; а из Самбора, слышно, понаехали к князю молодые рыцари; даст Бог, который-нибудь может и клюнет. Хе-хе!

Общий смех слушателей был прерван оглушительным громовым раскатом, за которым дождь за окнами полил как из ведра.

Молнии следовали за молниями, громовой удар за ударом. Наступила внезапно такая темнота, что хозяин приказал подать огня. В это время раздался снова резкий сигнальный звонок.

— Наконец-то! — вскричал, вскакивая с дивана, князь. — По местам, Панове!

— По местам? — спросил пан Боболя, с недоумением глядя вслед хозяину, устремившемуся со всей своей придворной свитой к выходу.

— Это, видно, царевич, — объяснил патер Сераков-ский, оставшийся в числе немногих в гостиной.

— Царевич? А, да, да, помню, знаю... Но где же мои девочки? Ведь как знать...

Глава одиннадцатая

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Сменивший дида Павла на вышке замка шустрый малый Юшка забил тревогу недаром: под шумным ливнем, среди перекрестного огня молний, в ворота замка влетели сперва два скорохода князя Адама Вишневецкого, а следом за ними и весь княжеский поезд.

— Сама природа, ваше царское величество [4], празднует вход ваш под мою убогую кровлю! — проговорил князь Константин, глубоко, но не униженно преклоняясь перед молодым царственным гостем.

— Надеюсь, по крайней мере, что не я причиной грозы при первой нашей встрече с вами, — шутливо отозвался царевич.

— Напротив, государь: гром и молния — небесные предвестники скорого торжества вашего над похитителем вашего прародительского престола, а проливной дождь — символ долгого, обильного плодотворными деяниями царствования.

— Лишь бы не потоков крови!.. — вздохнул Димитрий и подошел к ручке княгини Урсулы, которую представил ему тут супруг ее.

Княгиня приняла его учтивость как нечто должное, с покровительственной миной королевы, встречающей вассала, и обратилась тотчас к светлейшей свояченице, выходявшей тем временем из своей кареты.

Царевич не стал долго чиниться с хозяином, подобно пану Боболе, и на полшага впереди князя безостановочно направился в гостиную, милостиво кланяясь по сторонам выстроившимся в два ряда придворным.

Шедшему вслед за своим господином Михайле за редкость, конечно, было переступить порог настоящего польского вельможи, и вся своеобразная, роскошная обстановка замка, не менее торжественности самого приема, должна была поразить нашего дикаря. В обширных полутемных сенях, несмотря на летнее время, топилась исполинская печь, неровное пламя которой озаряло каким-то фантастически-мрачным светом стены, увешанные с большим вкусом всевозможными принадлежностями военного и охотничьего

дела: дорогими шлемами, кирасами (латы) и тарчами (щиты), пищалями, мечами, чеканами (топорики) и оцепами (копья), луками, колчанами и стрелами, богатой конской сбруей, арапниками и проч.

В гостиной, уставленной шелковой мебелью, стены были сплошь обиты старинными коврами, шитыми бисером и разноцветными шелками; изображены же были на них эпизоды из жизни святых мучеников католической церкви. На самом видном месте, между окон, на высоком аналое возвышалось святое распятие из массивного серебра, а под распятием лежало громадное евангелие *in folio* в богатом переплете с золотыми застежками. Как бы для контраста, на сводчатом плафоне были очень эффектно расписаны летающие в облаках амуры и нимфы: христианское благочестие мирно уживалось здесь рядом с языческим поклонением красоте.

Началось обычное церемониальное представление царевичу всех присутствующих. Когда очередь дошла до пана Боболи, тот, хотя давеча далеко не твердо стоял уже на ногах и с усилием шевелил отяжелевшим языком,

будто опять приободрился и без запинки, как заученный урок, изложил царевичу свою десятиколенную родословную; после чего, не давая царевичу отойти далее, сам подобострастно спросил его:

— А не сочтете ли, ваше царское величество, нескромным вопрос мой: как драгоценное ваше здоровье?

Димитрий чуть-чуть улыбнулся.

— Благодарю вас, пане.

— А смею ли еще спросить: здоровье вашего августейшего батюшки, царя московского?

Царевич насупился и вопросительно оглянулся на стоявшего около него хозяина: что это-де за чудак такой?

— Вы не помните, пане Боболя, что говорите! — с сердцем заметил князь Константин, — царя Иоанна Васильевича, отца нашего царственного гостя, двадцать лет уже нет в живых.

— Какая жалость! Осмелюсь выразить вашему высочеству мое искреннее соболезнование.

Не обращая уже на него внимания, царевич подошел к следующему.

— Да где же девочки-то мои? — растерянно говорил пан Боболя, озираясь кругом. — Куда они делись? Ах, да вот они, ваше высочество, вот они!

Большая стеклянная дверь с террасы со звоном распахнулась, и в гостиную рука об руку ворвались вихрем три неразлучные девицы Боболи. Но, Боже, что случилось с бедняжками! Ливень, очевидно, захватил их в парке врасплох. Дождевая вода струями бежала с них. Искусно взбитая прическа самым жалким образом растрепалась и прилипла ко лбу, к вискам; а воздушные летние платица, из розового «флера», сейчас только еще такие пышные, насквозь промокли. На всех присутствующих один, кажется, только подслеповатый старик-отец не разглядел хорошенько их неприглядного наряда и поспешил отрекомендовать их царевичу:

— Это гордость моя, ваше высочество! Каковы, а? Я никогда ни с одной из них не расстанусь. Разве что... Да куда же вы, дети?

Увидев вдруг перед собою лицом к лицу полную комнату мужчин, бедные барышни в первый миг совсем были ошеломлены, гото-

вы были сквозь землю провалиться, но при рекомендации отца опомнились: «Ах, ах!» — и были таковы.

Короткая сцена эта вызвала у очевидцев не одну язвительную или сострадательную улыбку. Царевич также закусил губу и обратился к хозяину с каким-то вопросом; но что тот ему ответил — он уже не расслышал: взоры его приковались снова к двери с террасы.

На смену трех девиц Боболей, из парка появились еще две барышни: панна Марина и Маруся. (Панна Бронислава, еще с террасы, сквозь стеклянную дверь завидев в гостиной сборище мужчин, своевременно отретировалась). Но странное дело! Укрылись ли они лучше трех первых от дождя; были ли одеяния на них из более плотной ткани, или же стан их отличался большею грацией, как бы то ни было, пребывание их под ливнем нисколько им не повредило. Лица обеих горели живым румянцем, глаза их искрились, влажные волосы и платья лоснились и отливали атласом; а выглянувшее в это время из-за туч вечернее солнце озолотило их с головы до ног как ореолом. Точно светлые существа иного,

заоблачного мира спустились сюда, в среду простых смертных, — при виде их все кругом на мгновение замерло, окаменело. Панна Марина первая прервала очарование.

— Просим извинения, Панове, — с прелестным смущением проговорила она, отводя рукой с чела распустившуюся прядь волос. — Нам, как видите, надо обсушиться. Да и вам, может, не мешает?

Осветив мимоходом царевича Димитрия загадочно сияющим взглядом, она вместе с наперсницей скрылась.

— А и то ведь правда, ваше величество, — сказал князь Адам Вишневецкий, — не мешало бы нам почиститься, если не от дождя, то от пыли.

Димитрий, как околдованный, не трогался с места и глядел все еще вслед исчезнувшей очаровательнице.

— Кто это? — спросил он.

— А младшая сестра супруги моей, Марина Мнишек, — поспешил удовлетворить его любопытство хозяин. — Не взыщите, Бога ради, ваше величество! Она еще так молода, почти ребенок...

— О нет, ничего... Это скорее какая-то лесная русалка, а для русалок законы не писаны.

Стоявший в стороне, у входных дверей, с карликами князя Адама молодой гайдук царевича был, казалось, поражен не менее своего господина, и обратился к своим маленьким соседям вполголоса с таким же точно вопросом:

— Кто это?

— Да ведь слышал, чай, — отвечал шут Ивашка, — панна Марина Мнишек, дочь Сендомирского воеводы.

— Нет, другая, что была с нею — в русской одежде.

— Ага! Заприметил! Хороша, ой, хороша!

— Не Маруся ли Биркина?

— А ты, молодец, почему знаешь? Аль святым духом?

Михайло оставил вопрос без ответа, но тихо вздохнул и впал в грустную задумчивость.

Пока панна Марина с фрейлинами, а также царевич князь Адам Вишневецкий и вся свита меняли или чистили свое платье, чтобы предстать к ужину в обновленном виде, в покоях семьи Боболей шел большой пе-

реполох. Три паненки Боболи со слезами еди-
нодушно требовали немедленного возвраще-
ния восвояси. Ни резоны отца, ни угрозы ма-
тери не могли на этот раз поколебать их ре-
шимости. Полчаса спустя через подъемный
мост замка снова прогромыхал старинный
рыдван, увозя столько же несбывшихся на-
дежд, как и неутоленных желудков.

Хозяевам, впрочем, было не до Боболей:
князь Константин наскоро должен был еще
условиться с братом Адамом о дальнейшем
образе действий; княгиня же Урсула нашла
сделать младшей сестре своей с глазу на глаз
строгое внушение, которое возымело свое
действие: когда перед ужином состоялось
формальное представление панны Марины
царевичу, тот едва узнал прежнюю русалку в
этой «китайской царевне», разряженной, чо-
порной и важной, но не менее прелестной, —
в этом разубранном «клейнотами», неоцени-
мом, одушевленном «клейноте».

Глава двенадцатая

КОЕ-ЧТО О ПОЛЬСКОМ ВОСПИТАНИИ ТРИСТА ЛЕТ НАЗАД

Княжеская столовая в убранстве своем не уступала парадным покоям. По одной стене дубовые, с художественною резьбою полки щеголяли массивной посудой: позлащенными червлеными глеками (кувшины), пугарями (высокие кружки), ковшами, жбанами и чарками, золотыми «нюренбергскими» кубками, серебряными мисами и «талерками». Прочие стены были разубраны трофеями охоты: медвежьими мехами, оленьими и турьими рогами, кабаньими клыками. И тут, однако, как в гостиной, в красном углу бросалось в глаза изящной работы распятие, перед которым капеллан, патер Лович, первым делом прочел краткую молитву: Беседе за ужином богомольная хозяйка сумела дать также благочестиво-патриотическое направление.

Желая, очевидно, сказать нечто приятное хозяевам, царевич выразил сожаление, что на Руси не усвоено еще того утонченного об-

хождения и чинопочитания, которое он нашел здесь, в Речи Посполитой.

— А кто воспитал нас в таком страхе людском и Божьем? — спросила княгиня Урсула, мечтательно переглядываясь со своим духовником. — Наша святая римская церковь!

— Несомненно так, — подтвердил патер Сераковский, — наш ребенок польский, прежде чем научиться читать по складам, должен уметь уже класть земные поклоны, лепетать за матерью установленные утренние и вечерние молитвы. *Non vitae, sed coelo discimus.* (Не для жизни мы учимся, а для неба.)

— Само собою разумеется, что примерная выправка наша дается нам не даром, — заметил светлейший хозяин. — Уже с самого нежного возраста словесные поучения подкрепляются у нас тонкой шелковой плеткой. С десятого же года, когда мальчики сдаются обыкновенно в иезуитскую школу, плетку на кафедре заменяет казацкая нагайка, а в высших классах, в случае надобности, то же дело исправляет шпанская трость. Чем выше класс, тем больше и число ударов: в низшем классе

обходятся каким-нибудь десятком, в старшем никак не меньше, как полусотнею горячих. Зато, ваше величество, полюбуйте-ка: что у нас все за отборные молодцы! — закончил хозяин, указывая рукою на сидевшую за столом мужскую молодежь.

— Да, уж мы постоим за себя! — подхватил пан Тарло, дугою выгибая грудь и молодежато озираясь на дам. — По себе скажу: всякий из нас тут испытал на горбе своем не одну тысячу плетей (само собою — на ковре, добавил он в скобках); но, как от плодотворного дождя, мы оттого только краше расцвели, мужали и плотью, и духом. Безграничное повиновение старшим и требование столь же безграничного повиновения от младших сделались нашей второй натурой. Иного человека в душе я, может, и презираю, ненавижу: но он чином выше меня — и я его покорный раб, улыбаюсь ему, говорю ему непринужденно и плавно любезности, которые ничего собственно не значат, ни к чему меня не обязывают, а все же ему лестны и приятны: коли нужно — обнимаю его колена, лобызаю руки, целую его в плечо, в уста... Зато, если ближ-

ний ниже меня, да успел еще навлечь на себя мою немилость, — горе ему! Я сброшу с себя мирную личину, выступлю истинным польским рыцарем — и нет ему пощады! Вот этим-то высшим воспитанием, ваше величество, мы, поляки, опередили ваших соотечественников, и все-то, как справедливо заметила наша светлейшая хозяйка, — заключил пан Тарло с рыцарским поклоном в сторону последней, — все только благодаря нашей латинской церкви!

Царевич, покусывая губу, терпеливо выслушал панегирик польскому рыцарству и латинской церкви.

— А сами вы, пане, позвольте узнать: по рождению поляк, или русский? — спросил он.

— По рождению, ваше величество, пан Тарло, пожалуй, русский, как и мы, Вишневецкие, — вступился тут князь Константин, видя, что запальчивый пан Тарло опять запетушился, — но польским воспитанием нашим мы гордимся, как гордимся и нашей единственной верой.

— Ты, любезный брат, говоришь это, конечно, только от себя? — возразил князь

Адам. — Потому что хотя мы оба с тобой воспитаны в польском духе, но я до сей поры еще, слава Богу, не изменил вере отцов...

— Прошу тебя, брат Адам, по вопросам веры не распространяться в моем доме! — резко оборвал его хозяин, и пылавшие гневом глаза, налившиеся на лбу его жилы ясно говорили, что достаточно брату его сказать еще одно слово, чтобы между ними разыгралась бурная сцена.

Князь Адам, признавая авторитет хозяина и старшего брата, умолк и на весь вечер ступежался. Царевич, желая отвлечь общее внимание от двух братьев, обратился к присутствующим дамам:

— А смею ли спросить, пани, как воспитывается у вас в Польше нежный пол? У нас, на Руси, боярышни, что цветы в теплице, весь век свой томятся в своих светелках «за тридцатью замочками, за тридцатью сторожочками», как в песнях наших поется. У вас же, поляков, сколько я успел заметить, на этот счет вольнее?

— Не только вольнее, ваше величество, сколько добропорядочнее, согласнее со стро-

гою моралью, — отвечал патер Сераковский. — Наше дворянство точно также держит девиц своих до известного возраста заперти, в четырех стенах, но не у себя на дому, а в женских монастырях. Под руководством достойных настоятельниц и сестер они вырастают там не в мраке невежества, а в лучах европейского просвещения и престола св. Петра. Самыми наглядными примерами такого монастырского воспитания могут служить вам достоуважаемая хозяйка настоящего замка, светлейшая княгиня Урсула, и прекрасная сестрица ее, панна Марина Мнишек.

— Блаженные годы невозвратного, чистого детства! — почти с девическою восторженностью заговорила княгиня Урсула, поднимая взоры к потолку. — С раннего утра, бывало, и до поздней ночи мы, «маленькие сестры», проводили в духовном бдении. На прогулках даже, мы говорили меж собой шепотом, а сидя за рукодельем, нашим главным занятием, по часам, бывало, молчали и слушали только нравоучительные речи наших строгих наставниц. О, детство, золотое детство!

— О, детство, золотое детство! — хором

вздохнули на разные голоса сидевшие за столом статс-дамы, фрейлины и другие приживалки княгини, закатывая подобно ей глаза.

— Наукам в монастыре вас, стало быть, почти не обучали? — спросил царевич, безотчетно посматривая на панну Марину, на розовых устах которой играла затаенная улыбка.

— Да много ли нам, женщинам, и надо этих ваших мирских наук? — с убежденностью отвечала княгиня. — Чтение, письмо, четыре правила арифметики — чего же больше?

Хозяйка говорила с увлечением и таким тоном, который не допускал возражений.

Панна Марина до сих пор позволила себе только однажды мимоходом вмешаться в общий разговор. Но сквозь надетую ею на себя маску «китайской царевны» не то невольно, не то умышленно у нее прорывалась девичья шаловливость: своей фрейлине Брониславе она шепнула что-то такое, от чего та закусила губу; а пану Тарло она лукаво кивнула на Марусю, и самонадеянный щеголь, поняв ее, со снисходительною любезностью начал занимать последнюю, не замечая, что молодая

москалька нимало не польщена его вниманием. Непосредственно к царевичу Димитрию панна Марина ни разу не обращалась, но украдкой очень хорошо видела, что он не сводит с нее глаз. Но вот он и сам отнесся к ней.

— А вы, прекрасная пани, смею спросить, живя в монастыре, так же находили довольство и счастье, как сестрица ваша, в этом однообразном монашеском образе жизни?

Панна Марина смущенно потупилась.

— Это я не могу сказать... — пролепетала она и с милою робостью покосилась на сестру и иезуитов.

— Почему же?

— Потому что я была очень грешна.

— Какие же у вас могли быть грехи? Расскажите, пожалуйста.

— Я, право, не знаю... — нерешительно заговорила молодая панна. — За окнами, видите ли, бывало, весна и солнце; птицы щебечут; деревья стучатся зелеными ветками в стекла, будто зовут нас в сад, в поле, на воздух и волю... А мы, девочки, сиди себе в келье, как осужденные, за пяльцами, за белоручным шитьем, не смей головы поднять, спины разо-

гнуть, слова пикнуть. Ну, и зарождаются в голове разные мысли; начинаешь придумывать, как бы напроказить, подурачиться...

— Но, Марина!.. — возмутилась княгиня Урсула.

— Извините, княгиня, — сказал заинтересованный царевич, — дайте досказать вашей сестрице.

— Я же говорила, что я очень грешна, — почти с сокрушением продолжала панна Марина. — Я очень хорошо теперь понимаю, как дурно мы, дети, поступали, когда ночью, чтобы попугать взрослых «сестер», вставали потихоньку с постелей и в простынях, белыми привидениями, разгуливали по коридорам.

— И другие грехи ваши, пани, были не более тяжки?

— Чего же еще?..

Глава тринадцатая
VIVAT DEMETRIUS IOANNIS,
MONARCHIAE MOSCOVITICAE
DOMINUS ET REX!

Ужин шел к концу. В чарах и кубках заискрились бастр и мушкатель.

— Доргие гости! — возгласил хозяин. — У меня припасена для вас еще такая колляция (угощение), какой вы верно никогда не едали. Позвать Юшку! — приказал он одному из слуг.

Юшка, видно, ждал уже за дверьми и, вбежав в столовую, тут же бухнул в ноги царевичу.

— Благословен Господь во веки веков, что сподобил узреть опять пресветлых очей твоих, нашего батюшки, царевича русского! — вскричал он и подобострастно поднес к губам полу богатого кунтуша царевича.

— Так ты разве уже видел меня прежде? — с радостною недоверчивостью спросил Дмитрий.

— Как не видать, родимый; вон эдаким

мальчугой еще знал тебя! — говорил Юшка, в умилении утирая глаза.

— А где?

— В Угличе, надежа государь; где же больше? С утра до вечера, почитай, играл ты там на царском дворе с жильцами; смотреть на вас с улицы никому ведь невозбранно. Сам-то я тоже тогда подростком еще был; так с теткой своей Анисьей единожды у Орины, кормилицы твоей, в гостях даже побывал, говорил с тобой, государь, а ты меня еще из собственных рук царских пряником печатным пожаловал. Аль не упомнишь?

— Да, как будто было что-то такое...

— И где же тебе, царскому сыну, всякого холопа в лицо помнить! А уж я то тебя, кормилец, с места признал. Хошь было тебе в ту пору много что шесть годков, а по росту, пожалуй, и того меньше, но в груди ты был что теперь широк, с лица был точно также темен, волосики на голове тоже щетинкой, да в личике те же бородавочки: одна вон на челе, другая под глазком. Господи, Господи! Благодарю Тебя! Внял Ты мольбе моей!

Широко осенив себя крестом, Юшка

несколько раз стукнулся лбом об пол.

— Ты сразу узнал меня, говоришь ты, — в видимом возбуждении произнес царевич, — но не было ли у меня еще особых примет?

— Как же, государь, были: Орина нам тогда ж их показывала.

— Какие же то были приметы?

Если уже до сих пор общее внимание присутствующих было сосредоточено на царевиче и Юшке, то теперь можно было расслышать полет мухи.

— Да одна рученька у тебя была подлиннее другой.

Царевич молча протянул перед собой обе руки: правая рука его, точно, оказалась по меньшей мере на вершок длиннее левой.

— И еще что же?

— А на правой же ручке твоей, пониже локтя, было пятнышко родимое, якобы миндалины подгорелая.

Царевич засучил обшлаг правого рукава до локтя: на смуглой, мускулистой руке его, под самым изгибом локтя чернело в самом деле миндалевидное родимое пятно.

— А-а-а! — пронесся единодушный возглас



Царевичъ засучилъ обшлагъ праваго рукава до локтя.

удивления вокруг всего стола; если у кое-кого и была еще тень сомнения в подлинности царевича, то теперь и тень эта, казалось, должна была рассеяться.

— *Roma locuta — causa finita!* (Рим высказался — дело кончено!) — возгласил патер Сераковский, поднимая свой кубок. — *Vivat Demetrius Ioannis, monarchiae Moscoviticae dominus et rex!*

— *Vivat! Vivat!* — восторженно подхватило все общество, и оживленный гул голосов слился со звоном чар и кубков.

Княжеский секретарь выбежал за дверь, и вслед затем со двора заревели одна за другою три бомбарды (большие пушки). Все мужчины по чинам подходили к будущему царю московскому и, поздравляя, чокались с ним. Никто не заметил, что двое, стоявшие только что около царевича, удалились на другой край столовой и вступили в тайный разговор.

Двое эти были Михайло и Юшка. Когда последний, чтобы дать место теснившимся к царевичу панам, отступил назад, то очутился лицом к лицу с великаном-гайдуком царевича.

— Михайло! — вырвалось у него. — Из князи да в грязи, из грязи да в князи!

— Молчи! Ни гу-гу! — буркнул на него тот и оттащил его за руку в сторону. — Ты меня знать не знаешь. Слышишь?

— Слышу. Да на чужой рот ведь пуговицы не нашьешь. Чего мне молчать?

— Полно зубоскалить. Выдашь ты меня, так и мне тоже никто молчать не велит. Назвался ты тут, я слышал, Юшкой?

— Да, Юрием Петровским, и всякому тут ведомо, что я Юрий Петровский, никто иной. Сам канцлер литовский, Лев Сапега, уступил меня здешнему князю воеводе; и что князь меня тоже любит — сам, чай, видел?

— Будь так. А все же не Юрий ты и не Петровский, а просто Петруха, обокрал своего первого господина, боярского сына Михнова, и в лес от него бежал, к грабителям, подорожникам.

— Где и встретился с тобой? — нагло усмехнулся Юшка.

— Не обо мне теперь речь! — сухо оборвал его Михайло. — Заговорю я — так мне, пожалуй, все же более твоего веры дадут: я — гай-

дук царевича. Стало быть, знай, молчи, и я промолчу.

— Ин будь по твоему; чего мне болтать? Ловит волк — ловят и волка. А того лучше, может, Михайлушко, коли работать нам, как летось, опять заодно с тобой...

— Никакой работы у меня с твоей братьей доселе не было, да и быть не может!

— Ишь, какой пышный! Чинить я тебе помехи не стану — и ты же мне, чур, не препятствуй. Больше тебе ничего от меня не требуется?

— Ничего... Пстой! Скажи мне только еще про царевича: точно ли ты... Да нет, не нужно! — сам себя перебил Михайло. — Заруби себе на носу, что ты мне чужой! А чуть что — неровен час — шутить я, ты знаешь, не стану...

Он сжал руку Юшке с такой силой, что у того пальцы хрустнули.

— Пошел!

Добродушные голубые глаза гайдука сверкнули так грозно, что Юшка, морщась от вынесенной боли, поторопился отойти. Михайло не подозревал, что нажил себе непри-

миримого врага, не слышал, как тот проворчал сквозь зубы:

— Погоди, дьявол, — ужо посчитаемся!

Когда Михайло последовал за царевичем Димитрием в отведенную последнему опочивальню, когда стал помогать ему разоблачаться, то не мог не заметить мечтательно счастливого выражения лица царевича, а затем уловил слышанную уже им давеча латинскую фразу, которую будто безотчетно прошептал теперь про себя царевич:

— *Vivat Demetrius, monarchiae Moscoviticae domenus et rex...*

— Что это значит, государь? — спросил гайдук. — Да здравствует Димитрий, господин и царь московский?

Димитрий поднял на вопрошающего задумчивый взор и счастливо улыбнулся.

— Да, братец... Кабы знал ты, как я доволен нынешним днем-то! Скажи-ка, Михайло: хорошо ты помнишь свои детские годы?

Михайло удивленно уставился на царевича и слегка смутился.

— Помню, государь, — с запинкой промолвил он, — но, не погневись, увольь меня пока

рассказывать тебе...

— Я спрашивал тебя вовсе не за тем, — успокоил его Димитрий, — я хотел лишь знать, так ли мало памятливы другим их первые годы, как мне... Мальчишкой ведь я хворал немочью падучей, — пояснил он, — а хворь эта, сказывают, отбивает память. Кое-что помнишь, да словно сквозь думан какой, сквозь сон; не ведаешь, точно ли оно так было, или же наслышался ты от других и сам потом уверовал. Вот потому-то я так благодарен этому самовидцу Юшке, что знал меня еще малым ребенком. Ведь он, кажись, честный малый, говорил по чистой совести? Он так рад был мне, так рад, — прослезился даже; не правда ли?

Михайло был правдив, и на языке его уже вертелось предостережение царевичу: не давать большой веры Юшке. Но к чему бы это послужило? Сам царевич, конечно, не был обманщик, и ему, видно, так хотелось, чтобы показание Юшки еще более подтвердило его собственные показания. Гайдуку стало жаль своего господина, и язык у него не повернулся.

— Правда, — отвечал он.

— А что ты скажешь, Михайло, про эту панну Марину? — спросил вдруг Димитрий, и глаза его заискрились совсем особенным огнем.

— Что я скажу, государь? Пригожица, чаровница, но...

— Но что?

— Но... полячка!

— Что ж из того?

— Привередница; как мысли ее вызнать? И не нашего закона.

— Ну, закон законом, и коли на то уж пошло...

Спохватившись, что, пожалуй, сказал лишнее, царевич не договорил и махнул рукой гайдуку:

— Ступай теперь, Михайло. Чай, шибко притомился тоже? Сон клонит? Я еще помолюсь Богу, а там один уже лягу.

И он опустился на колени перед образом Божьей Матери, подаренным ему князем Адамом Вишневецким и взятым им с собой в дорогу из Вишневца. С четверть часа еще после того Михайло мог слышать из соседнего по-

коя, как царевич истово молился: клал поклоны и призывал на себя благодать Божию.

Часть вторая ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ

Глава четырнадцатая ДЕНЬ ВИШНЕВЕЦКИХ

Опочивальня царевича помещалась около одной из угловых башен замка, и окна ее выходили на главный двор. Димитрий, как оказалось, был очень наблюдателен: когда он встал на другое утро, то, одеваясь, не отходил от открытого окна. Отрывочные замечания, которые делал он Михайле, свидетельствовали, что ничего из происходящего на дворе не ускользало от его внимания.

Тут под порталом парадного крыльца показался сам владелец замка, в сопровождении дежурного маршалка. Позади обоих высилась могучая фигура саженого, усатого гайдука, вооруженного нагайкой. Оглядев орлиным взором двор, Вишневецкий вдруг грозно приосанился и величественным жестом указал гайдуку на середину двора. В два прыжка был гайдук на указанном месте и

поднял с земли арбузную корку. По зычному окрику светлейшего, со всех концов двора бросилась к нему теперь стремглав с непокрытыми головами дворовая челядь. После краткого допроса, двое из дворовых, ответственные, должно быть, на этот день в чистоте двора, преклонили один за другим спину перед княжеским гайдуком, который отсчитал каждому нагайкой по два десятка «горячих». Сделав еще отеческое внушение остальным, князь Константин, сопутствуемый маршалком и гайдуком, величаво направился к внутренним воротам на задний двор.

Едва лишь князь пропал из виду, как из-за угла соседней башни со злорадным смехом выскочил Юшка.

— А! Да я ведь еще не рассчитался с этим малым! — сказал царевич и окликнул Юшку.

Того так и передернуло: он готов был, казалось, пойти наутек: но, сообразив, видно, что он узнан и делать нечего, отвесил Димитрию земной поклон и ослабил до ушей.

— Подобру, поздорову ли, надежа-государь? Что прикажешь низкому смерду твоему?

— Поди-ка сюда.

— Мигом, батюшка-государь!

Минуту спустя он стоял уже перед царевичем в его опочивальне с полусмирненным, полунахальным видом.

— Я не отблагодарил тебя еще за твое правдивое показание, — сказал Димитрий, подавая ему несколько дукатов.

Юшка жадно принял деньги, шумно пал ниц перед дарителем и припал губами к его сапогу.

— Кормилец ты наш!

Царевич отдернул ногу и отступил на шаг.

— Ты совсем никак ополячился, — промолвил он, — падаешь до ног, хоть сам и русский?

— Чье кушаю, того и слушаю, надежа-государь, — бойко отвечал шустрый мальчик, поспешно опять приподнимаясь с полу.

— Но чего ты сейчас вот тулялся тут за углом?

— Да как же, родимый, не туляться, коли меч над головой?

— Так другим, стало, за тебя досталось?

— Не то чтобы: не мое нынче дело то было

за двором смотреть.

— Но ты, сам, поди, арбузную корку подбросил? Юшка самодовольно усмехнулся, обнажая снова свои красные десна и острые хищные зубы.

— А чего ж они, дурни, не доглядели? Но ты, батюшка, меня же не выдашь?

Царевич свысока только покосился на него и спросил в свой черед:

— Что, князь Константин, каждый день обходит так замок?

— С нагайкой-то? Каждый день, государь, в урочный час, как пить дать! Такой уж обиход, значит. Не мирволить же черному люду? Чу! Слышишь рев-то?

Откуда-то издалека, с задворков, в самом деле долетали болезненные вопли.

— Это на конюшне, — объяснил, лукаво подмигивая, Юшка. — Здорово, знать, опять кому из конюхов перепало! А вон и княгинюшка наша, — понижая голос, прибавил он. — Тоже и-и куда горазда! Распалится гневом — охулки на руку не положит.

Из бокового флигеля показалась, в общесте дежурной фрейлины, княгиня Урсула с

бrevиарием (молитвенником) в руках.

— Ну, это ты, братец, не дело говоришь, на барыню свою напраслину взводишь! — строго заметил Димитрий.

— Будь я анафема, коли вру.

— Да не видишь, что ли, что она на молитву идет?

— На молитву! Что breviарий-то при ней? Так она ж его до вечера, почитай, из ручек белых не выпустит, а ночью под подушкой держит. Молельня-то княжеская вона где; а светлейшая наша идет, вишь, вон куда — прямехонько, значит, в девичью.

— Что же она девушек читать заставляет? Аль сама читает, уму-разуму учит?

Юшка закрыл рот ладонью и фыркнул.

— Научит! Переплет-то, государь, у книжницы не видел нешто какой — здоровенный, деревянный, с медными застежками? Ну, так коли им этак по башке-то погладить — не токмо что уму-разуму научишься, а и последнего-то, поди, умишка решишься!

Царевич насупился и молча кивнул Михале, чтоб тот подал ему лосиные перчатки и шапку.

— Да это что! — продолжал разговорившийся Юшка, — хошь больно, да перетерпишь, до свадьбы заживет! Нашему брату без такой науки — без лозы березовой, без арапника, а либо батожья, — как без Отче наш, никак невозможно: забалуемся. А вот уж коли за крупную какую провинность запрут тебя в свиной хлев, засадят в волчью яму, да недельку другую голодом поморят, ни росинки маковой в рот не дадут...

Поток злословья разбитного малого долго еще, быть может, не иссяк бы, если бы Димитрий не приказал замолчать болтуну и не удалился сам из опочивальни.

Михайле, по крайней мере, не хотелось верить вначале, чтобы все было так, как расписывал Юшка. Благодаря именно княгине Урсуле, весь быт в замке был проникнут неуклонным благочестием. После легкой утренней закуски все домочадцы, как «латынцы», так и «схизматики», чинной процессией двинулись в домовую церковь к обедне. Служили ее совместно оба патера в своих нарядных белых ризах с епитрахилью на плече. Перед ними шел прехорошенький маль-

чик-паж, звоня в колокольчик. Среди богатой церковной обстановки, озаряемой проникавшими снаружи сквозь цветные стекла готических окон солнечными лучами каким-то празднично-волшебным светом, торжественные звуки органа на хорах настраивали религиозно и «схизматиков». Так, Маруся Биркина, как «схизматичка», стоявшая поодаль от «верующей» панны Марины, крестилась не менее усердно, как ее панночка, и ни раз не подняла глаз, не оглянулась. При чтении Евангелия, все мужчины-поляки, по стародавнему польскому обычаю, накрылись шапками и наполовину обнажили сабли из ножен, в доказательство всегдашней готовности пролить свою кровь за веру и Речь Посполитую. Но всех истовее молилась сама светлейшая: она без устали нервно перебирала четки, без отдышки в который раз шептала про себя «аже мачиа». Дочтя молитву, она только наскоро переводила дух и с каким-то фанатическим увлечением явственно начинала ее сызнова:

— *Angelus Domini nunciavit Mariae...*

Когда затем патер Лович взошел на амвон

и прочел вдохновенную проповедь о муках ада, княгиней овладел духовный экстаз; она вдруг распласталась на полу крыжем (крестом) и принялась стучаться лбом о каменные плиты.

Впрочем, такое богомольное настроение у светлейшей подчинялось также условиям времени и места. При выходе из церкви она не преминула внушительно прикоснуться к щеке одной из камер-юнгфер, которая прозевала оправить отвернувшийся у нее шлейф платья. Когда же дежурные маршалки и пажи повели дам в столовую к обеденному столу, и паны по чинам пошли за ними следом, молитвенник княгини перешел в руки капеллану, который прочел по нему установленную молитву.

Накануне, за ужином, в новой обстановке у Михайлы глаза разбегались, внимание рассеивалось. Теперь, за обедом, стоя точно также за стулом царевича, он мог (по крайней мере, вначале) наблюдать за трапезующими гораздо спокойнее, беспристрастнее. Так успел он еще ближе приглядеться к тому образцовому этикету, которому пан Тарло

произнес вчера такой восторженный дифирамб. Стоило только княгине Урсуре милостию улыбнуться чьей-либо остроте, как весь женский штат ее заливался также одобрительным смехом, который тут же подхватывался мужчинами и звучно перекатывался до другого конца стола. Стоило ей, напротив, после душеспасительной сентенции одного из патеров, со вздохом поднести кружевной «фацелет» к глазам, как весь дамский хор также доставал платочки и испускал сочувственные вздохи. Мужчины в последнем случае ограничивались тем, что, побрякивая, опорожняли свои пугары (высокие кружки) и кубки, которые услужливыми слугами тотчас, конечно, доливались опять до краев.

«Рыцарское» внимание к светлейшей хозяйке не мешало, впрочем, столующим панам меняться мыслями относительно более насущных для них предметов, как, например, относительно ожидаемого урожая.

Несмотря на крестьянское происхождение Михайлы, сельские темы почему-то не особенно его занимали, и он охотнее приглядывался к тому, как вели себя те немногие при-

сутствующие, которые успели возбудить его интерес.

Панна Марина продолжала по-вчерашнему приковывать внимание царевича. Не то, чтобы она сколько-нибудь напрашивалась на это внимание. Нимало! В отношении к нему она была, пожалуй, еще сдержаннее, говорила почти исключительно с особами своего пола, а на одно слишком развязное замечание пана Тарло ответила так гордо и колко, что тот прикусил язык и, в отместку, обратился к Марусе Биркиной.

Хорошенькая москалька не на шутку, казалось, заняла самонадеянного щеголя: она так мило менялась в лице, так забавно путалась в ответах... Не мог он знать, конечно, что смущение ее происходило сегодня от совершенно особенной причины. Дело в том, что и наемд-ни уже рослая, молодцеватая фигура красавца-гайдука за стулом царевича не осталась незамеченною ею: был же он русский, как и она, земляк ей, почти родня! И с лица-то он, что ни говори, на холопа ничуть не похож: скорее какой-то сын боярский; ни одному из здешних вельможных панов видом не усту-

пит. Вчера еще она втайне стыдилась перед всем этим надменным панством своего русского происхождения; вчера еще она была бы куда как рада такому вниманию самборского «рыцаря», пана Тарло; а теперь — теперь она и не слушала бы его! Что это, право, с нею? Верно, «земляк» напомнил ей так родину ее...

Безотчетно глянула она опять на «земляка», и взоры их встретились...

Пан же Тарло, принимая замешательство молодой москальки на свой счет, стал с нею еще любезнее. Михайло, искоса посматривая на обоих, хмурился и был очень доволен, когда светлейшая хозяйка наконец поднялась с места, и обедающие по чинам стали подходить к ее ручке.

— Как тебе, Михайло, здешнее житье-бытье показалось? Не то, небось, что у нас на Руси? — милостиво спросил гайдука царевич, располагаясь у себя на оттоманке. — Аль путем еще не огляделся? Ступай же с Богом. Я отдохну часок, а там князь хотел показать мне свои конюшни. До подвечерка ты мне не нужен.

Хотя Михайло за утро кое к чему уже при-

гляделся, но с благодарностью воспользовался данной ему царевичем свободой: ему все еще мерещилась нахально улыбающаяся, «дьявольски красивая рожа» пана Тарло (по крайней мере, про себя он не мог назвать ее иначе) рядом со стыдливо поникшей, девственно-чистой головкой Маруси Биркиной; надо было забытья, стереть их обоих из памяти.

Он пошел бродить по замку. Разных переходов, коридоров и лестниц в старинном жалосцском замке было так много и переплетались они так часто, что чужому человеку, а тем более такому рассеянному, каким был теперь Михайло, не мудрено было заблудиться. Сам не зная как, он очутился в подземном жилье, где помещалась княжеская прислуга. Посреди длинного, полутемного коридора, куда выходили отдельные каморки слуг, столпилась кучка ребятишек вокруг ливрейного толстяка лакея.

— Мне, батьку! А мне-то что же? — перекрикивали они друг друга, насильно вырывая один у другого из рук всевозможные сласти с панского стола пряники марципанные, вин-

ные ягоды, орехи грецкие и волошские, изюм да миндаль, которые батяко их выгружал из туго набитых карманов.

Увидев гайдука царевича, запасливый родитель во весь рот усмехнулся.

— Вот принес Бог гостя нежданного да желанного! — сказал он и растолкал ребят. — Ну вас совсем, бисовы дети! Добро пожаловать, дорогой гость! Заедки, вишь, ребяткам припас, не одним же панам банкетовать. Да ровно знал, что ты тоже заглянешь в нашу берлогу: нарочно «золотую» фляжину прихватил. Знатное, друже, винцо! Я чай, не откажешься пригубить?

Из заднего кармана его появилась заморская фляга за золотою печатью.

Михайло поблагодарил за «уваженье», но отговорился тем, что торопится-де по поручению царевича, да, вишь, ненароком забрел сюда, и просил дать ему с собой «мальца», который вывел бы его на вольный воздух. Новый ливрейный знакомец не без видимого сожаления отпустил редкого гостя, но обещался приберечь «золотую фляжину» до другого раза, посулив раздобыть тогда для него и меду

игристово, и браги похмельной.

Выбравшись из лабиринта замка на заднее крыльцо, Михайло сошел в парк. Первое лицо, попавшееся ему тут, была Маруся. Ускоренным шагом вела она под уздцы золоторого козлика, запряженного в нарядную детскую тележку. В самой тележке сидели двое детей князя Адама Вишневецкого. Увидев гайдука царевича, Маруся покраснелась и, понукая козлика, поспешила мимо. Михайло, посторонившись, чтобы дать им дорогу, невольно опять загляделся вслед девушке.

Глава пятнадцатая

НА СЦЕНУ ВЫСТУПАЮТ ИЕЗУИТЫ

С полчасика уже лежал Михайло в траве, позади небольшой беседки, под тенистым кустом жимолости. За густою зеленью беседки и куста никому и в голову не могло бы прийти подозревать его присутствие. Лежал он с закрытыми глазами и хотел забыться; но все пережитое им с утра пестрым калейдоскопом мелькало перед его внутренним зрением.

Тут до слуха его донеслись два мужские го-

лоса, говорившие по-польски.

«Никак это два патера? — подумал Михайло. — Гуляют, знать, и сейчас пройдут мимо».

Он старался не шелохнуться, чтобы остаться незамеченным. Но голоса стали совсем явственными и уже не удалялись: патеры вошли в беседку, и по шелесту листьев можно было догадаться, что кто-то раздвигает ветви, чтобы удостовериться, нет ли кого поблизости.

— Никого! — говорил патер Лович. — Это, как вы знаете, *clarissime*, мой излюбленный уголок: здесь ничто не мешает мне после мирских сует предаваться моим духовным медитациям.

— Подобные медитации в нашем звании, несомненно, полезны, — отозвался, патер Сераковский, — чтобы изо дня в день изыскивать способы к прославлению общины Иисуса и к возбуждению в мирянах благоговения перед ее чудесами и всемирной властью.

— Виноват, *clarissime*, — прервал патер Лович, — но ведь мы же с вами тайные члены общины, и явно пропагандировать ее — не значит ли выдать себя головой?

Михайло насторожился: «Как! Они тайные

иезуиты?!» Когда патеры вошли только что в беседку, он был еще в нерешимости: не показаться ли ему из-за куста? Теперь же он решил не шелохнуться, не дохнуть: соблазн был слишком велик подслушать беседу с глазу на глаз двух членов опаснейшего для православия духовного союза.

Патер Сераковский, очевидно, принял на себя в отношении к младшему собрату роль ментора и отвечал ему на вопрос с дружелюбной иронией:

— Как вы юны еще, коллега! Кто же велит вам поднимать сейчас перед всяким непосвященным ваше забрало? Отбивайтесь боковыми ударами.

— Как же так?

— Да так. Вы можете, например, выражать сердечное сокрушение, что вот-де орден иезуитов приобрел такую силу, что даже у язычников самых отдаленных мест Азии, Америки одни только иезуиты имеют безусловный успех; но что, по правде сказать, они-то более всех до самозабвения и преданы своему христианскому долгу: отказываясь сами от всяких благ земных, самоотверженно посвяща-

ют весь век свой на утешение грешных и страждущих, сирых и убогих. С тем же завистливым сожалением вы можете упомянуть тут о небывалых индультах, дарованных иезуитам папами; особенно же упирайте на индульгенции — на право наше за самые тяжкие преступления налагать самые легкие наказания и даже вовсе отпускать грехи, — все, конечно, только во имя любви Христовой.

— Понимаю, — раздумчиво промолвил младший иезуит, начиная, казалось, усваивать себе поучения старшего собрата.

— Всего податливее миряне, разумеется, на исповеди, — продолжал патер Сераковский, — и тут-то, когда они так расположены к откровенности, всего легче также выведать у них их имущественное и семейное положение, их самые сокровенные помыслы и желания. Но у людей простых и ограниченных (а таковы ведь большинство людей!) ловкому диалектику и казуисту есть возможность и во всякое вообще время выпытать всю подноготную не только относительно их самих, но о чем и о ком угодно, особенно под действием винных паров: *in vino Veritas* (в вине правда).

При этом я рекомендовал бы вам, друг мой, не пренебрегать и прислугой: от нее то как раз мне доводилось узнавать такие тайны их господ, такие общественные, даже государственные тайны, что я диву давался, волос у меня дыбом становился!

— И мне тоже случилось еще нынче... —
ввернул с живостью патер Лович и вдруг осекся.

— Что вам случилось, друг мой?

— Нет, нет! У меня невзначай как-то с языка сорвалось... Неблагородно было бы злоупотреблять чужою оплошностью...

— Расскажите наперед в чем дело, а там вместе решим: благородно, нет ли. Тайна эта имеет также не частное, а общее значение?

— Н-да...

— Не религиозное ли?

— И религиозное.

— В таком случае умолчать, сохранить ее про себя было бы с вашей стороны по меньшей мере легкомысленно.

— Но я же узнал ее, повторяю, совершенно негаданно, случайно...

— И благодарите Всевышнего, что Он из-

брал вас именно своим орудием. Вопросы общие, а тем паче религиозные решать единолично вы генералом нашим не уполномочены. Как высший чин общины, я требую теперь от вас, *fater reverende*, полной откровенности! Извольте говорить, в чем дело?

Короткое молчание, последовавшее за этим, свидетельствовало о некоторой внутренней борьбе, происходившей еще в младшем иезуите между долгом совести и формальным долгом. Но сообразив, вероятно, что противиться орденским постановлениям все равно было бы бесполезно, он со вздохом покорился неизбежному.

— Как вам известно, — начал он, — я не без успеха пропагандирую нашу римскую веру между здешними княжескими холопами. Один из новейших моих прозелитов, который не нынче завтра перейдет в лоно нашей церкви, — Юшка, тот самый хлопец, что вечер указал приметы московского царевича.

До сих пор Михайло прислушивался к беседе иезуитов только из любознательности. Теперь же, когда зашла у них речь о какой-то тайне, которую личный враг его, Юшка, вы-

дал меньшому иезуиту, сердце в груди его екнуло, кулаки сжались: он был почти уверен, что услышит сейчас свою собственную тайну.

Но он ошибся. Услышал он нечто другое, от чего, однако, в душе его поднялась не меньшая буря.

— Так что же выдал вам этот Юшка? — спросил патер Сераковский, когда младший собрат его на минуту опять примолк.

— Что... в доме здешнего попа, отца Никандра, нашел будто бы *refugium* (убежище) от преследования властей епископ веноцкий Паисий...

— Паисий? Этот ярый, отъявленный схизматик! И имея в своем распоряжении такую драгоценную весть, которая отдает в наши руки и его, и самого Никандра, а с ним, значит, и все православное в воеводстве, — вы молчите!

— Да ведь все это, *clarissime*, еще одни только слухи, и если бы они даже подтвердились, то можно ли особенно винить отца Никандра, что приютил он у себя бездомного брата церкви? А этот Паисий низложен, в бегах, стало быть — уже безвреден...

— А кто же отвечает вам за то, что он не выступит опять где-нибудь открыто, не станет опять мутить эту безмозглую чернь? Безвреден! А сколько вреда он нанес уже нам до сих пор! Нет, эти ядовитые плевелы Должны быть вырваны с корнем! «Censio Schismam delendam!», — повторял Катон каждодневно в сенате. «Censio Schismam delendam!» — должен быть наш боевой крик. Благо вам, юный друг мой, что все же не утаили от меня вашей тайны; а не то, дайди она до меня стороною, я обязан был бы не медля донести в Рим.

— Но теперь, ведь, не донесете? — тревожно спросил патер Лович. — Будьте великодушны!..

— На сей раз, так и быть, из особого только благоволения к вам, умолчу. Но времени терять нечего. Нам требуются по меньшей мере два мирские сообщника, два очные свидетеля — *testes oculares*, которые вместе с тем служили бы нам надежным щитом. Одним из них мог бы быть пан Тарло: он теперь наш покорнейший раб. Другим разве взять здешнего майор-домуса, пана Бучинского?

— Только не его, *clarissime!*

— Почему же нет?

— Потому что пан Бучинский, хотя тоже верный католик, коренной поляк, но слишком... как бы сказать...

— Слишком совестлив тоже, подобно вам? Да, вы правы. Тут нужно орудие самое послушное, бессловесное. А что, каков ваш Юшка?

Патеру Ловичу не пришлось ответить. С аллеи перед беседкой, где совещались два иезуита, раздались звонкие голоса и легкий шум колес. Михайло за своим густым жимолостным кустом ничего не мог видеть, но он явственно расслышал голос Маруси Биркиной. Она извинялась перед патерами, что в этой самой беседке ей довелось уже как-то сказывать сказки княжеским деткам, и те вот пристали, чтобы здесь же рассказать им новую сказку.

— А вы, дочь моя, такая искусная сказочница? — с благодушною шутливостью спросил старший патер. — Какая жалость, право, что нам нет времени послушать вас! Но в следующий раз, позвольте надеяться, вы не обойдете нас? Идемте, reverendissime!

«К царевичу!» — было первою мыслью Михайлы, когда две темные фигуры иезуитов промелькнули между зеленью вверх по аллее. Он осторожно приподнялся на локоть; но при этом из-за частой листвы беседки на глаза ему попались болтавшиеся ножки усевшегося уже на скамейку маленького княжича. Совсем встать он поопасился, и так же неслышно припал снова за свой куст.

— Садись вот тут, ко мне, Муся, — говорил княжич.

— Нет, ко мне! — ревниво подхватила маленькая княжна.

— К обоим вам, деточки, по самой середке. Ах, вы, мои приветные! — ласково отвечала Маруся, польщенная, видно, такую привязанностью к ней двух княжеских малюток.

Тут княжна внезапно заполошилась.

— Ай! Ай!

— Чего ты вспорхнула, мое серденько? — успокаивала ее Маруся, — ведь это ж не шмель, а жук!

Михайло в самом деле расслышал оттуда басистое гудение жука. Маруся же продолжала:

— Летит жук да шумит: «Убью!» Гусь гогочет: «Кого?» Теленок мычит: «Ме-ня!» А уточка поддакивает: «Так! так! так!»

Дети рассмеялись и стали наперерыв повторять прибаутку.

— А хочешь, Маруся, я тебе загадку загадаю? — спросил княжич.

— Ну?

— «Летела птаха мимо Божья страха, — ах, мое дело на огне сгорело». Что это? Ну-ка, скажи.

— Что бы это могло быть?.. Говорила, как бы соображая, Маруся. — Не пчела ли и церковная свеча?

— Как это ты угадала?

— Какой ты глупишка, Котик! — нетерпеливо прервала его сестрица. — От самой же Муси давеча слышал...

— Так у меня есть еще другая...

— Да ну же! Муся нам ведь сказку сказывать хотела...

— Ах, да, сказку, сказку!

— Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли... — начала Маруся.

Сказка была одна из тех старинных и все

же вечно юных, безыскусственных и в то же время наивно-замысловатых народных сказок, которых главную прелесть составляют их здоровый юмор и образные обороты речи. Хотя Михаилу не покидала еще мысль, что ему надо незаметно встать и идти к царевичу, но словно какая-то неодолимая сила приковала его к земле.

Он заслушался — и не самой даже сказки, давно ему знакомой, а звучного голоса молодой рассказчицы.

Окончить, однако, свою сказку Марусе на этот раз не было суждено, и виновником в том был никто иной, как он же, Михайло. Уткнувшись лицом в густую траву, он нечаянно-негаданно втянул в нос какую-то мелкую букашку — и чихнул громогласно. Легко представить себе, какой это вызвало переполох в беседке. Дети с визгом выскочили вон на дорогу. Менее пугливая Маруся заглянула за беседку, и смешавшись, остолбенела, зарделась кумач-кумачом: перед нею стоял взъерошенный, со смущенной улыбкой, великан-гайдук царевича. Недослушав его путанного извинения, она упорхнула к детям, на-

скоро усадила обоих в тележку и ускоренно погнала запряженного в тележку козлика к замку.

«Ах, как глупо! Боже, как глупо! — говорил сам себе Михайло. — И хоть бы толком по крайней мере объяснил ей; а то на первом же слове, вишь, сбился... Ну, да теперь не до нее. К царевичу!»

Царевич отдыхал у себя, но при входе гайдука открыл глаза. Тот доложил ему сущность подслушанной им знаменательной беседы двух патеров-иезуитов.

— Умно и красно, — задумчиво промолвил Димитрий. — Что оба они иезуиты — ни я, ни ты никому, конечно, не выдадим.

— Почему же нет? Кабы сведал только князь здешний...

— Ничего б из того, поверь, не вышло. Торопок ты больно. С иезуитами, братец, тягаться не рука. От них же, я так чаю, будет мне однажды в Кракове большая помога.

— Но это же, государь, осиное гнездо...

— Вот то-то ж: ворошить его нам не задача. От их укола ничем себя не оправистишь; с ними надо держаться сторожко.

— Твоя воля, государь. Не возьми во гнев, негоже мне, может, выговаривать; но достохвально ли тебе, царскому сыну, мирволить этим пакостникам, предавать в их нечистые руки нашего православного святителя?

— Зачем предавать? Может, он и без меня стороной как-нибудь про все прознает.

— Стороной?

— Да, повещен кем будет... может, нынче даже, до вечера. Я тебе ведь давеча поминал, что до подвечерка ты мне не нужен. Ступай же куда тебе твоя совесть велит. Куда ты пойдешь, что у тебя на уме — я не знаю и знать не хочу. Никто тебя не нудит, никто никуда не шлет: слышишь? Но и к ответу никто требовать не станет. Ни наказа тебе нет, ни запрета. Зато коли раз что неладное учинится — ты один во всем в ответе. Уразумел ли?

— Не сразу уразумел, государь, прости. Этак-то оно, точно, поваднее будет. Благослови тебя Господь!

На дворе Михайло остановил первого встречного прислужника, чтобы справиться о ближайшей дороге в Диево.

— В Диево? — переспросил тот. — Да сей-

час вот только панночка эта приезжая, Марья Гордеевна, прошла туда; к больным да убогим своим, знать, опять собралась.

— К больным да убогим?

— Да, друже; сердцем-то она, вишь, больно добрая, жалостливая. Как выйдешь за ворота на подъемный мост, заверни налево в поле — еще, может, нагонишь.

И точно, как только гайдук выбрался через подъемный мост в чистое поле и зашагал между сжатыми полосами жита, в отдалении перед собою он завидел Марусю. С корзиной через руку, она стройная, воздушная, казалось, не шла, а неслась веред, не касаясь стопой земли, а сама весело распевала песню, не чуя, конечно, что кто-нибудь ее слышит.

«Ага! по-русски поет. Не совсем, стало, еще ополячилась. Аль нагнать, поклон от дяди передать? Да нет! Не помыслила бы неравно...»

Маруся тем временем шла вперед да вперед. На ходу она наклонилась, сорвала придорожный пунцовый мак и вплела себе в толстую русую косу.

Вот кончились поля; пошел темный дубовый бор. То-то чудно в нем в экой летний

зной, то-то прохладно, укромно! А вот и бору конец. У самого бора — кузня: из трубы черный дым валит, а перед пылающим горном кузнец стоит, мехи раздувает.

Михайло, подавив вздох, остановился на опушке и выждал, пока Маруся, обменявшись с кузнецом приветствием, скрылась за низкой дверью хаты. Тогда он большими шагами продолжал путь по лежавшей впереди его аллее к видневшейся в отдалении на холме Церкви.

Глава шестнадцатая

ОТЕЦ НИКАНДР И ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ПАИСИЙ

Аллея, по которой шел Михайло, была, вероятно, насажена еще отцом, а может стать и дедом князя Константина Вишневецкого. Могучие, раскидистые вязы и грабы чередовались с уходившими в небеса пирамидальными тополями и распространяли в жгучий полдень прохладную тень. Там и сям между деревьями, а также далее в поле попадались так называемые «фигуры» — высокие

кресты, окрашенные в разные цвета. Михайло знал, что означал тот или другой цвет «фигур»: синие и зеленые были поставлены по какому-нибудь обету, красные и черные — в память кого-нибудь убитого на том месте.

В былое время большой православный храм, живописно расположенный в конце роскошной аллеи на вершине холма, производил на всех благочестивых мирян, без сомнения, подобающее внушительное впечатление. В данное время возвышенное местоположение еще разительнее обличало его запущенность и убогость. Церковь была деревянная, древнейшей архитектуры — с «басанью» или «опасаньем», то есть с опоясывавшими все здание, низенькими, крытыми галерейками для защиты не попавших в церковь прихожан от дождя. И стены, и басань давно уже требовали капитальной починки и окраски. Деревянный же, некогда окрашенный в зеленый цвет купол кое-где лишь носил еще следы краски и весь потрескался, оброс по трещинам травой и мохом. Стоявшая обок с храмом колокольня, на вид еще более ветхая, совсем покосилась и грозила падением. С пере-

ходом Константина Вишневецкого в латинство, местное православие лишилось, конечно, главного своего радетеля.

Перед храмом, по всему скату, раскинулось деревенское кладбище, где между крестами обыкновенной величины возвышались подобные «фигурам» громадные кресты, составляющие до сих пор особенность Западного края. Под скатом, по одну сторону, белели мазанки села Диева; по другую сторону, в густой зелени фруктового сада, ютился домик священника.

Подходя к этому домику, Михайло невольно поднял голову к окаймлявшим дорогу деревьям. В вышине, сажени на две от земли, между очищенными от мелких сучьев ветвями помещались стоймя какие-то большие, темные колоды. Недоумение его скоро рассеялось; долетавшее к нему сверху жужжание пчел выдало ему, что это — пчелиные ульи. Когда же он вслед затем добрался до плетня, отделявшего священнический домик от дороги, то увидел и самого пчеловода — высокого, сторбленного, иссушенного годами старца в подтыканном за кожаный пояс, сильно потас-

канном подряснике. Отец Никандр возился около улья в устроенной им в своем садике пасеке. Заслышав шаги Михайлы, старик приподнял голову.

— Ты ко мне, сын мой?

На утвердительный ответ, отец Никандр предложил гайдуку обойти кругом плетня к крыльцу; а сам, оправив полы подрясника, направился к калитке, выходявшей к тому же крыльцу или, вернее, крылечку.

Домик священника оказался сколком с простых крестьянских белых мазанок и был крыт, как они, немятой, посеревшей от дождя соломой. На «пиддаше» — двухаршинном выступе крыши — сушились точно также пучки дубового листа, служащего, как известно, для подстилки хлебам при сажании в печь. Около крылечка была обязательная «призьба» — завалинка, где пастырь-пчеловод и садовод, вероятно, отдыхал под вечер своего трудового дня.

— Я — гайдук царевича Димитрия, и к тебе, честный отче, по спешному потайному делу, — напрямик объявил Михайло, подходя под благословение отца Никандра.

— Коли так, то пожалуй в дом.

Внутри священническое жилье также мало чем отличалось от деревенских хат. Пол в светлице (гостиная и приемная), правда, был не земляной, а дощатый, но потолок был так низок, что великан-гайдук наш не мог выпрямиться во весь рост; окна были не больше крестьянских, а по стенам горницы тянулись простые деревенские нары. Чуть не пол горницы занимала огромная «варистая» печь. В красном углу была «божница» — полка с образами, разукрашенная шитыми ширинками — «божниками», глиняными херувимчиками, венками из колосьев — «дарниками», священными вербами и пучками разных пахучих засушенных трав: барвинка, базилики, свитлухи, чернобривцев и проч. Под божницею стоял накрытый скатертью стол, на котором, по обычаю, лежала краюха хлеба при кружке с водою, чтобы яства и питье никогда не изводились в доме. Единственное заметное отступление от крестьянской обстановки заключалось в том, что на стене против окон, вместо «мисника» — полок с посудой, «мискарами», — были полки с книгами печатными и

рукописными. «Мисник», надо было думать, был удален в более подходящее ему место — в пекарню (кухню).

Положив перед «божницей» уставные поклоны, Михайло осведомился сперва, не может ли кто их подслушать. Успокоенный на этот счет, он уже без обиняков сообщил старику-попу о замысле двух иезуитов накрыть у него в доме беглого епископа, присовокупив (как того требовал царевич), что никому, впрочем, даже самому господину его, пока об этом ничего еще неведомо.

Бронзовое от загара, сухое, ветхозаветно-строгое лицо отца Никандра, обрамленное редкими космами белых как лунь волос и реденькой же серебристой бородкой, побледнело; в благочестивом взоре его засветился огонь негодования.

— О, неслыханной дерзости бесовской! — воскликнул он. — Образом будто и ученики Христовы, а делом предатели. Благодарение Богу, однако, возлюбленный брат мой о Христе, архипастырь веноцкий, укрыт в ином убежище, — поторопился прибавить он, как бы спохватясь, что сказал уже лишнее.

— Ты, батюшка, может, мне не доверяешь? — спросил Михайло. — Так клянусь тебе спасением души моей (он осенил себя крестом): я — истинный православный, и церкви своей, служителей ее вовек не предам!

Отец Никандр благосклонно глядел в прямодушное лицо молодого человека, задетого, видно, за живое его недоверием.

— Вижу, ты — юноша добросердый и светлых обычаев навывший, — промолвил он. — Не стану же таить от тебя: преосвященный Паисий, точно, призрен мною; где и как — о том речь впереди. Будь он и под сею самою кровлей — не тронуться ему теперь с одра своего.

— Что ж он, недомогает больно?

— А тебе, сын мой, неведомо, видно, каким он бедам и напастям от прелестников латинских подвергся.

И словно обрадовавшись случаю излить перед кем-нибудь свою наболевшую душу, велеречивый отец Никандр прочел тут своему молодому гостю целую проповедь о «житии» преосвященного. Оказалось, что «сродники не по плоти, а по духу», оба они, отец Ни-

кандр и епископ Паисий, с ранней юности дружили и были однокашниками в острожской бурсе, где, годы рядом сидючи, не одну скамью протерли. Но и в те поры преосвященный был уже начальством перед всеми бурсаками отличен, как «юноша совершенный, тихий, жития строгого, к убогим милостивый и в преданиях церковных столь крепкий, в деле душевного спасения, в книжном разуме православных догмат столь искусный, что все священные писания во устах имел». По заслугам был возведен он в сан протоиерейский, а там и в епископский. Когда же пошли «зло-хитрости и гонения иезуитские» на восточную церковь, тогда «паче всех восстал он, владыко веноцкий, как хорунжий войска Христова, как пророк Господний: не токмо целил недужных, очищал прокаженных — прокаженных не плотью, а духом, но и возвращал заблужденных из сетей диявольских». Тут те «книжники и фарисеи, сиречь иезуиты, тайными махинациями взвели на преподобного мужа небывалые провинности, а власти бесстудные привели его пред себя, в священные одежды облаченного, поставили

лжеклеветателей и засудачили его, несказанные ему обиды творили: сорвали с него одежды святительские, катам-мучителям в руки его предали, и повлекли те его из храма, посадили на вола, бичевали нещадно тело, многими годами удрученное от поста, и водили его так по позорищам... Он же, боритель храбрый и всетерпеливый, хвалами и песнями лишь Бога славословил, и толпу бессчетную, плакавшую горько и рыдавшую вокруг него, благословлял десницею».

Слушая возмутительные подробности об истязаниях священнослужителя, Михайло не мог воздержаться от выражения своего глубокого негодования.

— А ты, милый, мыслишь, что на том злоба дьявольская уходилась? — подхватил, все более воспламеняясь, отец Никандр. — Кабы все лютоści их на ряду написать, могла бы повесть целая быть, либо книжица. Поведаю тебе еще токмо о прегорчайшей и жалостнейшей трагедии (трагедия — сиречь игра плачевная, — пояснил он в скобках, — что многими бедами и скорбями кончается). Преклони же уши и слушай! Не насытились гонители

крови священномученика: с вола его совлекши, до обумертвия истязали — о, окаянные! Подошвы ног ему на бересте палили, гвозди под ноги подбивали: и по сей час-то от язв тяжких ногами не владеет! Когда ж, за всем тем, он от веры истинной не отрекся, а молил лишь Господа за врагов своих — по рукам они его, по ногам и чреслам веригами железными сковали и бросили в темницу мужа смученного, престаревшего, в трудах многих удрученного и немощного тела. Потом медведя лютого к нему, голодом заморенного, туда ж пустили, замкнули с ним тремя замками... А христиане тоже нарекаются! На утро же отомкнули темницу, уповая, что съеденлады-ко зверем. Но, о чудо! Нашли его цела и невредима, стоящего на молитве; в углу же темничном — зверя, преложившегося в кро-тость овчую...

— Перст Божий! — сказал Михайло, с благоговейным ужасом слушавший страдальческую повесть. — И изверги ужели тем еще не тронулись, не образумились?

— Когда пожрет синица орла, когда камень всплывет на воде, когда свинья на бел-

ку залает, тогда безумный уму научится! Положили до веку его в заточении держать.

— Но тут, знать, нашлись все же добрые христиане, что тайно из темницы его вызволили?

— Нашлись, точно... Вызволили, но — увы!

Отец Никандр глубоко вздохнул и прибавил пониженным голосом, косясь на соседнюю дверь:

— Испытаниями тяжкими не токмо тело — и дух ему сломило: куда девалася и мощь орлиная!

Михайло уже не мог сомневаться, что спасенный архипастырь должен быть тут же рядом, за дверью. Догадка его вслед затем оправдалась.

С того места, где они сидели вдвоем с отцом Никандром, открывался вид на всю аллею до опушки бора. И вот, меж яркою зеленью аллеи мелькнула теперь в отдалении темная фигура бернардинца-иезуита.

— Патер Сераковский! — вскричал Михайло. — Он верно, к тебе, отче.

— Зачем ему ко мне? — возразил отец Никандр; но по звуку его голоса было слышно,

что сам он далеко не спокоен. — Допрежь его николи ко мне глаз не ка-зал.

— Так верно ж не даром! — волнуясь, продолжал Михайло. — Ему надо разведать, не ховаешь ли у себя владыку. И разведает чутьем своим собачьим!

— Да коли тут никого нету?

— Так ли, батюшка? Предо мною тебе, право, грех таить, а время дорого.

Из-за тонкой переборки, отделявшей «свитлицу» от соседнего покоя, послышался теперь жалобный, старчески-надтреснутый голос самого преосвященного:

— Брат Никандр! Прекрати! Помысли о спасении своем и братнином!

Отец Никандр скорбно махнул рукой и засуетился.

— Да и тебя-то, сын мой, куда мне деть? Застанет тебя здесь оглашенный — дуже, поди, домекнется.

— Нет ли у тебя, отче, другого выхода?

— Нема. Разве что из заднего окошка?.. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Он и воистину ведь сюда завернул... Утекай, милый, спасайся!

— Мне-то от него чего утекать? — сказал Михайло, — сам же я тебе тут, может, еще пригожуся. Не лучше ль мне пообождать малость?

— Ну, с Богом же! Иди сюда...

Бедного отца Никандра совсем отороπή взяла. Он провел Михайлу за переборку. Горенка оказалась довольно тесная, об одном оконце в сад. Служила она спальнею обоим пастырям, как можно было судить по двум кроватям, на одной из которых полулежал теперь, с открытым фолиантом на коленях, преосвященный. Он был в подряснике; большие ноги его не были обуты, а каждая многократно тряпьем обмотана.

Давно уже наслышан был Михайло о владыке веноцком как о проповеднике, производившем, особливо на простой народ, неотразимое обаяние своим смелым, вдохновенным словом, а того более еще, быть может, своею внушительною сановитостью и старческою красотою. Но тяжелые телесные страдания и нравственные потрясения надорвали, разбили этот крепкий, цветущий организм: недавно еще, как видно, Полные щеки и двойной

подбородок обвисли, сморщились в бесчисленных складках, приняли мертвенно-желтый оттенок; величавый, дородный стан как-то совсем обрыхлел, расслаб и бессильно вдавился в подложенные за спину подушки. Это была только тень, развалина прежнего епископа венецкого.

— Брат Никандр! — так жалобно воззвал он, что нельзя было сомневаться в обуявшем его страхе. — Не ропщи только, Бога ради, перед нечестивцем, не препирайся с ним попустому! Сам Господь наш Христос, лицебием, заушаем, оплеваем, смирил себя и рек: «Любите враги ваша...»

Михайло хотел было подойти под благословение архипастыря, но тот приложил перст к устам и настоятельно закивал на дверь: «Не отходи, мол, не впускай!» Михайло повиновался и налег на дверь плечом, а сам с глубокою скорбью подумал: «Что значат испытания тяжкие!»

Глава семнадцатая

ВОЛК В ОВЧАРНЕ

Приложившись ухом к двери, Михайло не пропустил ничего из того, что происходило рядом, в «свитлице». Он слышал, как патер Сераковский, усаживаясь там с хозяином, обычным своим медовым тоном заявил, что, прибыв в эти края, почел священным долгом явиться с братским приветом к собрату по алтарю, ибо оба они идут, хотя и разною стезею, к единой цели — к прославлению имени Божия, оба учат одной великой книге — святому писанию.

— Книга-то хороша, да начетчики плохи, — прошептал за спиной Михайлы старик-епископ.

Отец же Никандр отвечал гостю словами Спасителя:

— Где два или три собраны о имени Моем, там есмь Аз посреди их. Воссиявает же Господь наш лучи солнечные как на лукавых, так и на благих, в гонении и утеснении пребывающих.

Иезуит нашел нужным придать словам хозяина такой смысл, будто тот жалобится на свое собственное «утесненное» положение, и выразил некоторое удивление и «непритворное» соболезнование, что «собрат» его живет столь скудно, что даже референда (ряса) на нем не доброприлична: князю Вишневецкому, «сему мужу нарочито цесарскому», зазорно де, что ни говори, держать в черном теле его, стража Божия, хотя бы и чуждого закона.

Отец Никандр был по-прежнему настороже и отозвался с тою же кротостью, что он благ земных не тщится, ибо и жену, и двух деток давно схоронил; не в гору-де ему живется, а под гору: что ему, маломощному старцу, нужно? Хлебца да водицы — и жив, пока Бог грехам терпит.

Гость согласился, что «мы прах и тень» («pulvis et umbra sumus»), но все же не мог не выразить прискорбия по поводу того, что у досточтимого хозяина не только не имеется, как он слышал, «викария», наместника, на случай его болезни, отлучки и т. п., но по смерти последнего дьячка, последнего пономаря, не дано ему новых, и сам он, отец Ни-

кандр, вынужден по воскресным дням с колокольни трезвонить.

Этот удар попал ближе к цели. В голосе отца Никандра звучало уже легкое раздражение, когда он отозвался, что готов смиренно нести свой жребий, выполнять свой священнослужительский долг, доколе слабых сил его хватит; но что одно ему, точно, больно и горько: что князь-то его, коего своеручно он полвека назад вынул из купели, ныне веры истинной отступился и обычаев и дел добрых праотцев своих удалил.

Патер Сераковский выразил полное сочувствие его сетованию, но вместе с тем и благодарность случаю, давшему ему встретиться со столь ревностным поборником восточной церкви, с коим «подиспутировать» он себе в особенное удовольствие поставит. Допуская со своей стороны, что лучшие времена православия в крае миновали, иезуит просил «собрата» оглянуться, однако, на историю церкви. Что являет она? Нудил ли кто литовцев и западных, и южных креститься в римскую веру? Когда Ягайло, князь литовский, два с лишком века назад, женился на королевне поль-

ской Ядвига и обрел с нею польскую корону, не добровольно ли принял он латынство, не добровольно ли, купно с ним, и высшие вельможи литовские признали римского папу, хотя король Ягайло торжественно обещал им — ни веры их, ни обычаев и обрядов стародавних не трогать, лишь бы признали над собою главенство папы.

— Лишь бы признали! Лишь бы отреклись, стало, от своей исконной веры! — видимо все более волнуясь, подхватил отец Никандр. — А кто-де не признает папы — тому все пути навек заказаны? Ну, и признавали малодушные, кто славы ради мимотекущей, кто сребролюбия, кто сладостей мира сего ради. Но благодарение Всевышнему, здешний простой народ, темные миряне, непопорченные иноземною кровию потомки Несторовских древлян, за малыми изъятиями, остались в законе истинном веками непоколебимы, и доньше о папе римском слышать не желают.

Патер Сераковский, нимало сам не возвышая голоса, просил собеседника оставить пока в покое вопрос о происхождении местного населения, в жилах которого течет, пожалуй,

также кровь древних дреговичей, а то и поляков; равно не касаться главенства папы — вопроса спорного еще и у западных теологов. В одном пункте, говорил он, — у них все-таки едва ли может быть разноречие: касательно зловерных отщепенцев из немечины — «кальвинов и евангеликов, согласников лютеранского раскола». Эти — общий их, смертельный враг, от коего латынцы, пожалуй, потерпели пуще даже православных: по всей Литве костелы их обращены были в кирхи, монастыри католические позакрыты, ксендзы разогнаны, либо переженены, так что в Жмуди, например, из 700 приходов латынских всего навсего 6 осталось, а в иных местах и того менее. В поддержание-то коренной веры Христовой противу сей новой злокачественной ереси королем Сигизмундом-Августом и учинена была великая Люблинская уния, коей с поляками уравниены и литовцы, и украинцы во всех правах их — и в свободном исповедовании отцовского закона.

— А равно напущена на Литву и Украину эта саранча залетная... — с горечью досказал отец Никандр и вдруг, как бы спохватись, за-

МОЛК.

— Саранча? — переспросил иезуит. — Вы, брат любезный, кого под сим эпитетом разумеете? Панов и ксендзов польских, которых дотоле здесь почти не бывало? Или же, может статья, вызванных нарочно польской короной с Запада иезуитов?

— Не будем говорить об этом, — уклонился от прямого ответа отец Никандр.

— Отчего же? Сам я, как член ордена святого Бернарда, отнюдь не стою за членов общины Иисуса; но не могу не отдать им честь: они многим монашествующим могут служить примером: умучают и покоряют плоть свою в порабощении и в послушании духу, а ближним своим творят немало-таки добра.

— Упаси нас Боже от даров Данайцев! — вздохнул отец Никандр.

— *Timeo Danaos et dona ferentes?* Вы, коллега, несправедливы. По правде молвить, нигде иезуиты не оказали учению Христову таких услуг, как именно на Литве: не они ли были главными миротворцами между латынцами и приверженцами восточной церкви? Не чрез них ли и церковная уния на соборе Брест-

ском?

— Вот то-то ж и есть! — воскликнул отец Никандр, на которого слово «уния» упало воспламеняющей искрой. — Не от унии ли, сей прелести пагубной, всем твердым еще в старом православии не стало ныне ни ходу, ни выходу? Ремесла и торг им заказаны; в судах показаниям их нет уже силы; отцам возвращают своей властью дочерей замуж отдавать, а замужних, являющих права свои на наследие, насильно в римские монастыри заточают! Ослушников же, челобитную приносящих, последнего живота решают, в темницы заключают, всяческой пыткой терзают. А на церковь восточную, на нас, служителей оной, такое гонение воздвиглося, какого и в древние времена у поганских царей не слыхано. Братства наши церковные позакрываны, местности церковные поотобраны, храмы многие униатам порозданы, другие ж — жидам на откуп...

Затаив дыхание, Михайло не проронил ни слова из духовного словопрения двух служителей церкви разного толка, и теперь только, услышав за собою глубокий вздох, вспомнил

о преосвященном. Он оглянулся. Старец епископ, судорожно ломая свои изможденные руки, с отчаянием в поднятом кверху взоре, беззвучно шевелил своими иссохшими, бескровными губами, — очевидно, моля Всевышнего обуздать, образумить его брата во Христе, дабы не накликать на них обоих еще вящей невзгоды.

Голос патера Сераковского за дверью заставил Михайлу снова отдать все внимание собеседующим.

— Един Бог без греха... — кротко заметил иезуит и пояснил, что сам он, конечно, душевно скорбит о тех исключительных случаях, где сопротивление, оказанное людьми православными распоряжениям латинских властей, побудило эти власти к иным, чересчур, быть может, крутым мерам. Так, например, добавил патер, — он отнюдь не может одобрить тех жестокостей, коим, как слышно, подвергся «баннированный» из «епископии» своей православный «прелат» веноцкий... как бишь его? Феодосий или Паисий? И что всякого истинного христианина, какого бы толку он ни был, должно радовать, что сему прела-

ту благостию Божию удалось, наконец, найти выход из места заточения. И где-то он, бедный, пребывает ныне!..

Отец Никандр успел, видно, опять опомниться и отвечал гораздо сдержаннее прежнего:

— Пребывает он в прегорчайшей пустыне, Богом хранимый, нося на теле своем раны мученические.

Гость выведал от хозяина, по-видимому, все, что ему надо было, и стал прощаться. На ходу, однако, он обратился вдруг к хозяину с просьбой дозволить ему обозреть его обитель, чтобы ему легче было поспособствовать улучшению стесненного положения любезного собрата.

Долготерпение отца Никандра было, должно быть, истощено. Он сухо, наотрез отказал иезуиту в просьбе, говоря, что в заступничестве его не нуждается.

Между тем патер Сераковский, будто по рассеянности, вместо выходной двери, шагнул к двери пастырской спальни.

— Куда! Это... моленная моя! — растерянно всполохнулся отец Никандр, хотя и мог ду-

мать, что с той стороны Михайло напирал на дверь плечом.

Тот, впрочем, и не коснулся даже скобки двери: между «варистой» печью и деревянной переборкой, чтобы последняя как-нибудь не затлелась, была оставлена небольшая щель, сквозь которую, приложив глаз, можно было обозреть добрую половину спальни. Пастер Сераковский, само собою разумеется, не прикладывал глаза к щели, однако, мимоходом, вероятно все же углядел в нее столько, сколько ему требовалось, потому что с невозмутимой вежливостью извинился перед хозяином в невольной ошибке и повторил обещание все-таки воззвать к милосердию «светлейшего».

За этим брякнул замок наружной двери: волк окончательно удалился из овчарни. Михайло вздохнул с облегчением и обернулся к епископу:

— Благодарение и хвала Создателю: пронесло над тобой тучу, отче владыко! Но надолго ли? Недомекнулся ли он все же, что ты тут за переборкой...

— Да будет над нами святая воля Господ-

ня! — с полною уже покорностью отвечал старец и обратился к входящему отцу Никандру с дружеским укором за отповедь его против унии и иезуитов.

— Правда груба, да Богу любя! — с сердцем возразил тот. — Света во тьму предлагать не тщусь, а сладкое горьким, горькое сладким не называю!

— Но патер этот, по образу и речам своим, был благожелателен и ласков.

— А по делам — вскуе шаташася! «Лучше лоза или жезл неприятеля, — глаголет боговидец Исаия-пророк, — нежели ласкательные целования вражьи».

Как прав был отец Никандр в недоверии своем к «ласкательным целованиям» иезуита — в том убедился вслед затем и сам преосвященный.

Глава восемнадцатая ПО СВЕЖЕМУ СЛЕДУ

Пока дружески пререкались между собою два пастыря, Михайло вышел в «свитлицу» проследить оттуда из окошка за иезуитом, который, как подозревал он, принял уже необходимые меры, чтобы беглый епископ, буде тот действительно оказался бы у своего школьного однокашника не ускользнул опять из рук. Опасение его вполне оправдилось.

У перекрестка, где расходились дороги к селу и бору, патер остановился как бы для того, чтобы перевести дух, не спеша достал из кармана красный фуляр и встряхнул им по воздуху. Это был, без сомнения, условный знак, потому что в тот же миг от лесной опушки по аллее, меж стволами деревьев, показался всадник, сопровождаемый стремянным.

— Пан Тарло и Юшка! — вскричал Михайло. — Сейчас они будут здесь, отче: патер махнул им платком.

Отец Никандр также подбежал к окошку: по аллее быстро приближалось облако пыли.

— Они ли это, полно?

— Они, они! Вон встретились с Сераковским. Отец Никандр наскоро закрыл на железный крюк единственную входную дверь.

— Пана Тарло этим долго не удержишь, — заметил Михайло, — волей не впустим — силой вломится. Отстоять вас обоих на первый случай я, правда, мог бы, да что толку в том? Все знать уже будут, что ты, батюшка, дал отцу-владыке приют у себя.

— И пойдет на тебя через меня лютейшее еще гонение! — подхватил из своей горницы преосвященный. — И по что ты, брат милый, укрыл меня у себя!

— Вместе взросли, вместе и погибнем! — с глухим ожесточением воскликнул отец Никандр.

— Зачем погибать? — вмешался Михайло. — Надо поискать лазу.

— Да где его взять-то? Выход всего один и весь на виду!

— А окна на что?

Гайдук быстро вошел в спальню. Един-

ственное оконце было открыто настежь и за-
слонено снаружи густыми ветвями раскиди-
стой черешни.

— Куда выходит сад-то? — отнесся он к ар-
хипастырю, который сидел с полузакрытыми
веками, набожно сложив руки.

— На балку, — отвечал тот.

— А балка куда ведет?

— Балка выходит прямо к тому вон бору,
что сам ты миновал сейчас.

Вспомнилось тут Михайле, что, проходя
аллеей от лесной опушки, он в самом деле за-
метил в отдалении сплошную стену древес-
ных верхушек, тянувшихся широким полу-
кругом в обход полей и нив от священниче-
ского дома вплоть до бора: там, без сомнения,
пролегла глубокая лесная балка.

— Коли так, — сказал он, — то ты спасен: я
донесу тебя до бора; в глухом бору схоронить-
ся уже не мудрость. Батюшка, подсоби-ка ты
малость мне!

Выбора не оставалось: с улицы доносился
уже конский топот. Старец-епископ был бе-
режно поднят обоими с ложа и перенесен к
окошку. Не без труда протискался широко-

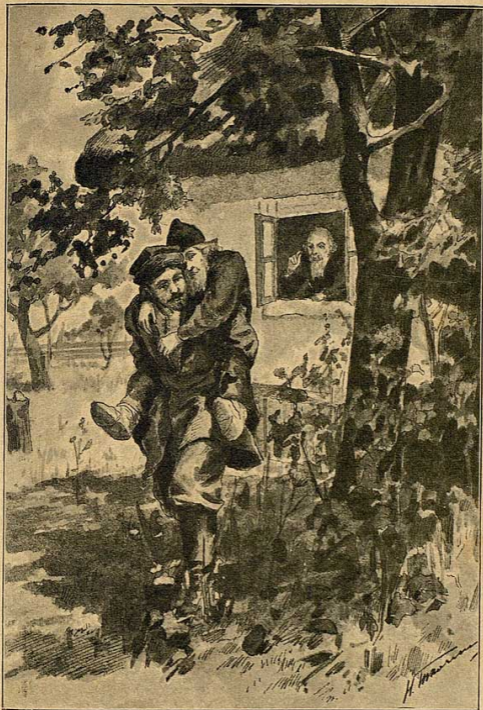
плечий, рослый гайдук сквозь тесную оконницу в сад, откуда принял на спину беспомощного старика. Если бы он имел возможность взглянуть в лицо владыки, то увидел бы, что тот судорожно сжал губы, весь побледнел, сморщился от боли; но ни одним вздохом не выдал страдалец испытываемых им телесных мучений.

Между тем конский топот замолк уже у самого крылечка, и наружная дверь затрещала под чьими-то нетерпеливыми ударами.

— Кто там? Чего нужно? — с храбростью отчаяния крикнул отец Никандр, бросаясь к входной двери.

Несмотря на железный крюк, ветхая дверь уступила сильному напору, и отец Никандр очутился лицом к лицу с паном Тарло, за плечами которого выглядывал Юшка. С остатком рыцарской вежливости пан Тарло вполголоса попросил у батюшки извинения за причиненное беспокойство, но оправдывал себя тем, что они хотят уберечь его священную особу от разбойника и душегубца, забравшегося, как есть полный повод думать, в его дом.

Отец Никандр начал было возражать, что



Гайдукъ принялъ на спину безпомощнаго старца.

у него, убогого служителя алтаря, злым людям поживиться нечем; но непрошенный защитник не дал ему договорить, без околичностей отстранил его рукою и, придерживая саблю, чтобы не гремела, ворвался прямо в священническую спальню. Измятая постель, скатившийся на пол фолиант и открытое настежь окно разом выдали ему, что он опоздал.

— Тысячу дьяблов! Улетел сокол! — вне себя от досады вскричал он и топнул ногой. — Юшка, в погоню за ним!

— Не уйдет от нас! — отвечал ловкий малый и, проскользнув мимо хозяина к окошку, махнул в сад.

Пока отец Никандр изощрял все свое красноречие, чтобы доказать пану Тарло всю бесполезность его поисков, а тот, не слушая его обегал весь дом, шарил саблей во всех углах, во всех шкафах и ларях, — в это самое время юркий пособник пана настигал уже наших беглецов. Сквозь частый лесок, низом балки, он бежал во всю прыть.

«А ну, как прогляжу его?» — хватился он вдруг и побежал на крутой склон балки, чтобы оттуда, с вышины, лучше обозреть мест-

ность. И точно, над верхушками орешника вынырнула старческая голова с длинными космами белых волос.

— Стой, отче! Все равно не уйдешь! — гаркнул Юшка и, сломя голову, бросился вслед.

Не мог он знать, конечно, что тот спасается не один, и был потому немало озадачен, когда увидел вдруг перед собою, вместо слабо-сильного старца, своего давнишнего недруга, молодого атлета-полецука, а на плечах уже у последнего — самого старца.

— Это ты, Юшка? — сказал Михайло. — Чего тебе?

— Как чего? За батюшкой. Подай-ка его сюда. Нечего растабарывать! А будешь еще упираться, братец, так шутить я тоже ведь не стану.

В руках малого блеснул нож. Михайло был безоружен; обе же руки его были заняты. Скрепя сердце, как к крайнему средству, он прибегнул к хитрости.

— Вижу я, что ничего уже не поделать, — со вздохом сказал он. — Прости меня, отче владыко! Что мог, то сделал для тебя. Но ты, дружище, меня не выдашь? — озабоченно об-

ратился он к Юшке.

Тот был приятно изумлен такою сговорчивостью гайдука, ослабил до ушей и приятельски хлопнул его по плечу.

— Так и быть уж, по старой дружбе, ни словечком о тебе не помяну: рука руку моет.

— Но чем связать нам его?

— Небось, найдется.

Запасливый малый полез за пазуху и вытащил оттуда целую связку толстых веревок.

— И чудесно, — сказал Михайло. — Теперь пособи-ка мне, голубчик, сбить его с плеч.

— А ты, отче, поди, так ему и поверил, что не выдаст? — нагло глумился Юшка.

Преосвященный Паисий в самом деле готов был также верить в измену своего избавителя, и стал тихо творить молитву.

— Молись, отче, молись! Набрался, небось, страха иудейска? — говорил Юшка, вместе с Михайлой спуская старца наземь. — Ты только, знай, не противься — волоска не помнем.

Но торжеству глумотворца настал уже конец. Нож разом вылетел у него из рук в ближний куст: а в следующий миг сам он лежал уже навзничь на земле под коленком Михай-

лы и хрипел.

— Да ты его задушишь, сын мой! — подал тут голос безмолствовавший до сих пор старец-владыко.

— Рад бы задушить, да совесть не позволяет. Лежи смирно, что ли, вражий сын! — сурово буркнул Михайло на барахтавшегося под ним Юшку и, выдернув из земли изрядный пучок травы, заткнул им глотку неугомонному. После этого собственной же веревкой малого он накрепко перевязал его по рукам, по ногам, и за ноги, как теленка, стащил всторону под густой раkitовый куст. — Тут и лежи, недохни, доколе сам я не вызволю тебя. Буде же, паче чаяния, кто набрел бы на тебя — обо мне, чур, сболтнуть не смей, коли жизнь тебе еще мила.

Немного погодя, Михайло, с архипастырем за спиною, забрался вверх по лесистому склону балки в самый бор, который пока должен был служить преследуемому святителю убежищем. Теперь, однако, приходилось толком пораскинуть умом: где затем-то приютить его? Самому Михайле надо было уже думать о возвращении своем в замок, к царевичу; бро-

ситъ же немощнаго старца тут, в бору, на произвол судьбы значило предать его в руки его недругов, потому что очень скоро, конечно, — нынче же еще быть может, — начнутся самые тщательные розыски за ним по всем окрестностям. Он передал сомнения свои епископу Паисию, присовокупив, что сам он, Михайло, на беду, здесь человек новый, ни души в околотке не знает. Оказалось, что и владыка, скрывавшийся доселе от людских взоров, никого не знает; слышал только как-то от друга своего, отца Никандра, что меж прихожан есть и верные люди, хотя бы кузнец Бурное, что живет особняком у опушки бора.

— А к нему и пробраться способней, и хорониться у него вернее: живет особняком, — подхватил Михайло. — Аль пойти мне, что ли, повыпытать его? Только тебя-то, отче владыко, одного оставить боязно...

— Иди с миром, сын мой! Обо мне не пе-
кись: как-нибудь пообмогусь.

В глубине чащи уложив терпеливого страдальца на мягкое ложе из пушистого мха, Михайло с напутственным пожеланием старца отправился на разведку. С оглядкой выбрался

он до дороги у опушки бора и стал как вкопанный: вдали, от села, показалась опять знакомая ему девичья фигура Маруси Биркиной.

Проходя мимо кузницы Бурноса, девушка приветливо кивнула головкой: верно, в окошке кого углядела, и продолжала путь. «Спросить ее разве о кузнеце?»

Михайло двинулся уже к ней из своей засадки, как вдруг остановился и сердито топнул ногой: от дома священника во всю прыть мчался на аргамаче своем пан Тарло.

Глава девятнадцатая

ПАНУ ТАРЛО РЕШИТЕЛЬНО НЕ ВЕЗЕТ

Беззаботно вполголоса напевая про себя песенку, возвращалась Маруся Биркина лесом с обыденной прогулки от своих «убогеньких». На душе у нее было так ясно, легко: кому она лекарством, кому вещью, кому деньгой пособила, кого ласковым словом ободрила. И сдавалось ей, что солнышко приветливее еще светит, смолистый лесной дух кругом стал крепче и слаще.

«Чуден мир Божий, — думалось ей, — и где место в нем людской зависти и злобе?»

Вдруг позади нее раздался бешеный конский топот. Она оглянулась, и веселая песня замерла на губах ее: в лихом всаднике она узнала пана Тарло. Лесная дорога была довольно тесна, и молодая девушка с середины ее поторопилась отойти под самые деревья, чтобы пропустить всадника. Но она ошиблась в расчете. Доскакав до нее, пан Тарло разом сдержал коня, с обычной ловкостью спешился и отменно любезно, с самым легким оттенком снисходительной фамильярности, приветствовал «прекрасную пани».

— Гулять изволите? — спросил он.

— Да, — был ему сухой ответ.

— И не боитесь одни?

Маруся отрицательно покачала головой и шмыгнула вперед. Но отделаться от непрощенного спутника было не так-то просто. Сорвав на ходу дубовую ветку и то отгоняя ею неотвязных оводов и слепней от своего аргамака, которого он вел за повод, то сам обмахиваясь зеленой веткой, как веером, пан Тарло своею молодцеватою, эластичною посту-

пью продолжал по-прежнему шагать рядом с девушкой.

— Что это вы, пани, нынче такая тихонькая? По Московии своей стосковались? Даже ответа не дождешься! А знаете ли, ежели вы и уедете туда — ждите меня к себе. Что? Опять головкой мотаете? Не верите? С первым же посольством нашим нарочно прибуду! И скажу вам еще, как вы примете меня. Вы будете тогда, разумеется, уже замужем... По русскому обычаю муж выведет вас ко мне навстречу. Вы нальете чару меду сладкого, сами сперва пригубите, а потом мне поднесете...

Маруся молча еще более ускорила шаги.

— Куда же вы так торопитесь? — продолжал непрошенный любезник и бесцеремонно схватил ее за руку.

Не привыкшая, однако, к ухваткам польских панов, молодая москалька выдернула у него свою руку и сгоряча, о, позор! проехала ладонью довольно звонко по его благородной щеке.

— Молодца, сударушка, ай, молодца! — раздался поблизости посторонний женский голос.

Теперь только заметила Маруся в нескольких шагах от себя, в чаще, кивающую ей с мховой кочки лохматую старуху-цыганку. На коленях у последней был распушен дырявый платок с объедками хлеба и лука: занятая своей нищенской трапезой, она, полузакрытая кустарником, сделалась, очевидно, невольной свидетельницей описанной сцены.

Пристыженный пан Тарло буркнул проклятье по адресу цыганки, а затем, схватись за саблю, обратился опять к Марусе:

— Благодарите Бога, что вы не мужчина!

— Мужчина тоже найдется! — раздался новый голос.

Молодой рыцарь круто обернулся, чтобы узнать дерзкого, посмевшего вступить за безумную москальку: перед ним словно из земли вырос москаль же, великан-гайдук царевича.

— Коли пану драться так в охоту, — говорил Михайло, — так я не прочь! Но посмейте еще раз ее тронуть — и вам аминь!

Такой афронт со стороны какого-то хлопца вывел надменного щеголя окончательно из себя. Он выхватил из ножен саблю и сплеча

рубанул безоружного по голове. Маруся вскрикнула. Но испуг ее был преждевременен.

Гайдук успел увернуться: лезвие слегка лишь скользнуло по его виску и причинило ему только небольшую царапину. Уклоняясь же от удара, Михайло поймал уже на воздухе руку противника и свернул ее так, что тот должен был выпустить оружие. Овладев саблей, он переломил ее пополам и осколки, как щепки, бросил к ногам рыцаря.

Пистолеты пана Тарло остались в седле; другого оружия при нем уже не было. А рассвирепевший увалень-великан, того гляди, ринется на него. Чуть ли не впервые в жизни беззаветно храбрый пан Тарло помертвел и судорожно, как утопающий за соломинку, схватился за висевшие у него на перевязи ножны.

Михайло в самом деле вошел в азарт. Уловив глазами последнее движение молодого рыцаря, он перехватил уже у него ножны и, хотя переломить не переломил их, потому что ножны были железные, не стальные, но без видимого усилия изогнул их наподобие латинской литеры «S».

— Так, сударь, я и вас исковеркаю, ежели вы станете еще поперек дороги мне... или ей!

Марусе даже жалко стало бедного рыцаря: он менялся в лице, шевелил побелевшими губами, но в горле у него будто что осеклось: он не мог выговорить ни слова. Тут потупленный в землю, блуждающий взор его усмотрел, видно, в примятой придорожной траве под ногами брошенную, лишенную клинка, сабельную рукоятку. Будучи позолочена и украшена цветными каменьями, она все еще представляла некоторую ценность. Пан Тарло наклонился за нею. Вдруг рука его приняла другое направление и поспешно припрятала что-то в карман. Затем уже он поднял с земли рукоятку. На растерянном, сумрачном лице его блеснул луч злорадства.

«Что это с ним? — недоумевала Маруся. — Чему он так обрадовался?»

С высоко вскинутой головою молодой воин подошел к своему аргамаку, преспокойно пощипывающему в сторонке сочную листву молодых лесных побегов, и вскочил в седло. Рука его машинально ощупала было под седлом пистоли; но само обладание настолько

вернулось к нему, что он отказался уже от простого смертоубийства — хотя бы и холопа. Вонзив в бока коню своему шпоры, он без оглядки поскакал по дороге к жалосцскому замку, побрякивая болтавшимися на боку его инвалидными сабельными ножнами.

Глава двадцатая ГАДАЛКА

— Скатертью дорога! — крикнула вслед рыцарю старуха-цыганка и с умильно ослабленным, беззубым ртом приблизилась к оставшимся. — Повадка-то рыцарская, а на поверку — первый озорник. Ну, панночка милая, полно тебе злобиться на него: право ж не стоит! Лучше покажь-ка мне, позолоти рученьку: погадаю тебе про суженого-ряженого.

Маруся, едва успев немного оправиться, опять смутилась, опять зарделась и украдкой покосилась на стоящего еще тут же гайдука царевича. Михайло понял ее взгляд как молчаливый вопрос и отвечал:

— Что ж, пускай погадает.

— А ты... то есть вы...

Она запнулась. Он помог ей.

— Мы, Марья Гордеевна, слава Богу, оба — русские, а русские доселе по простому говорят еще друг другу «ты». И царевичу своему говорю я не иначе.

— Так... ты себе после тоже погадать дашь? — проговорила молодая девушка уже несколько смелее.

— Пожалуй; хотя по правде сказать, сам я не очень-то верю в науку этих гадалок.

— Эко слово молвил. Не моги говорить так, сударик, — обидчиво вмешалась задетая за живое цыганка и стала божиться, что наука ее редко когда в обман введет; на вопрос же Михайлы: откуда у нее ее наука? — ворожея объяснила, что то не ее слабого ума Дело, а переняла она науку свою — хиромантию — от покойной бабки своей, которая ее до тонкости произошла; что по чертам-де ладони человеческой, по ходу и свету светил ночных можно почти без ошибки Истолковать и настоящее, и прошедшее, и будущее, ибо судьба человеческая вперед уже определена и начертана на всякой ладони и в звездах небесных. От себя она ни словечка-де не прибавляет, а

говорит только то, что очами видит; предвещания же ее почитай что завсегда сбываются, и сама она уже в них уверовала.

— Коли вру — не видать мне царствия небесного! — заключила убежденно старуха.

Молодые люди переглянулись. Даже Михайло уже не улыбался, а Маруся нерешительно протянула гадалке руку. Но вдруг она ахнула и принялась вертеть во все стороны и разглядывать свои пальцы, усеянные дорожными кольцами; потом наклонилась к земле, ища там что-то.

— Бог ты мой! Вот беда-то!

— Что такое, сударушка моя! Аль перстень потеряла? — спросила цыганка.

— Перстень, да, и лучший мой, заветный!.. От матушки покойной.

— Голубушка ты моя! Да ты его, полно, не ищи: все равно не разыщешь.

— Что так?

— Унесен, маточка моя, прикарманен.

— Унесен? Кем же?

— Да тем самым паном, кого даве ты так лихо проучила.

— Паном Тарло!

— Вот, вот. Перстенок, верно, велик тебе был?

— Велик, точно.

— Ну, так. Как ручку свою отдернула, так с пальца, зная, его и обронила. Ну а пан-то этот, сама я видела, с земли что-то в карман положил.

— И то ведь правда! Мне самой так показалось.

— Да и зло еще он так усмехнулся! — подхватил Михайло. — Никто, как он! Но мы этого ему так не спустим.

— Ах, нет, ради Бога оставь его в покое! — всполошилась Маруся.

— Но с виду-то перстень каков был?

— Золотой ободочек с бирюзой в горошину крупную, да кругом весь алмазной змейкой обвит...

— Стало, драгоценный! — воскликнула цыганка, и черные глаза ее жадно разгорелись.

Маруся подавила вздох.

— Не в цене дело, — сказала она, — дорог он мне тем, что от матушки родимой! Умирая, сама мне на палец надела: «Смотри, мол, Маруся, не теряй, никому не отдавай, окро-

ме... кроме...»

— Кроме суженого своего? — с лукавой улыбкой досказала сметливая гадалка. — Чего краснеешь, что маков цвет? От меня ничего не скроешь: все знаю, все визнаю, маточка моя! А ладошку покажешь, так я по ней и судьбу твою, как по писанному, необлыжно доложу. Давай-ка сюда, солнышко мое красное, давай! Небось, не замараю. Ишь, белая какая!

Маруся опомниться не успела, как костлявые бронзовые пальцы цыганки овладели уже ее рукою и повернули ладонью вверх. Потом, не отводя с этой загадочной для других рукописи своих ярко тлеющих, как два горящие угля, глаз, гадалка заунывно затянула стародавнюю шабашную песню ведьм, кивая под такт своею косматою, седою головой.

День был ясный, светлый: золотые солнечные лучи там и сям пробивались сквозь густые верхушки дубового бора и резво скользили, прыгали, играли по окружающей зелени и земле. Но суеверный страх овладел Марусей. Ей сдавалось, что из руки колдуньи в ее собственную руку переливается какая-то



Костлявые, бронзовые пальцы цыганки овладѣли уже ея рукою.

жгучая, таинственная сила, и что отдернуть руки своей она уже не может, что она и плотью и духом отдалась во власть старой ведьмы.

— Вижу, вижу... ай, ай! — участливо провещала тут старуха, водя когтистым указательным перстом по жилкам белой ладони девичьей, — рученька-то маленькая, а жилочки — во какие кудреватые... Разумом девица острая, сердцем жалостливая: много за нее Господа молят; довольством девица презобильна... Но три неладные черточки замешались; три молодца — прямо, справа да слева — к девице подбираются... Правый, вишь, сразу обрывается: рукой, стало, махнул. Левый вьюном вьется, подбирается с речами затейными, прямому дорожку перебегает: без боя-кровопролития, стало, не обойдется. А прямой-то ни валко, ни шатко, ни на сторону — все, знай, вперед да вперед: сухоту навел на сердце девичье. Только баба вон сторонняя какая-то путь молодцу загородила, не пускает... Да нет, пробился! Дай Бог вам любовь да совет!

Ворожея с умильной ухмылкой заглянула

снизу в опущенные очи девушки и повторила:

— Любовь да совет! Удоволена ли, сударушка?

— Но скажи мне, бабушка... — заговорила шепотом Маруся и опасливо оглянулась на Михайлу, стоявшего поодаль в каком-то раздумьи.

Цыганка замахала рукой гайдуку.

— Отойди, отойди, сударик! Не смущай девицы. Михайло отошел еще далее.

— Что же, маточка моя? Аль не выразишь толком? Аль не любо? Сказывай, спрашивай: коли можно, без ответа не оставлю.

— А когда ж то будет, бабушка?

— Когда свадьбу сыграешь? Ну, уж не прогневайся: заверное прознать мне это не дано. Но ежели смелости, храбрости в тебе хватит, соберись, красавица моя, в полночь на погост, да к церковным дверям — не услышишь ли пения венчального: услышишь, так через год тебе, значит, быть под венцом.

— Да ведь подслушивать этак под церковным замком, бабушка, можно, кажись, только о святках.

— О святках, вестимо, еще вернее; но и новолуние — время для чар всяких способное. Как нету луны-то, в темень непроглядную, под самую полночь, все чаровницы — по-вашему, ведьмы — на Лысую гору улетают и к свету только домой ворочаются. Вот тут-то и ворожи, гадай, сколько душеньке угодно.

Маруся узнала, должно быть, все, что ей нужно было: она торопство достала кошелек и не глядя сунула старухе несколько мелких монет.

— На вот; тут и за него, — тихо сказала она, кивая на гайдука. — Погадай и ему.

— Ну, соколик, пожалуй-ка теперь и свою ручку, — обратилась гадалка к Михайле.

Михайло грустно улыбнулся и покачал головой.

— Для чего? От судьбы не уйдешь.

— Нужды нет: а знать-то, небось, все же занятно, что на роду написано радость иль горе?

— Про себя я и без того уже знаю.

— Эвона! Что же ты, касатик, знаешь?

— Что радости мне не видать, а горя не избыть.

— Неладны твои речи. От себя никак этого не узнаешь. А коли, точно, правда, то я тебе тоже так напрямик скажу, не скрою: ты — молодец, слава Богу, не красная девица, пугаться тебе не след.

— Да и денег у меня с собой не взято, — продолжал отговариваться Михайло.

— И не нужно, сударик! Все заплачено. Не отвертывайся, светик мой, давай, что ли, руку.

Маруся молчала; но, украдкой взглянув на нее, молодой человек по глазам ее понял, что ей куда как хочется послушать, что предскажет ему гадалка.

— Только сделай милость, без этой чертовщины, — сказал он, нехотя протягивая руку старухе.

Та бросила на него исподлобья недоброжелательный взгляд, но перечить не смела.

— Твоя воля, соколик... Ох, ох, ох! Прогневил, знать, молодец Господа! — зловеще затянула она. — Горе ему, горе! В огне гореть неугасимом, в крови тонуть неутолимой; а все бабы да бабы: вон одна, вон другая — схватились, переплелись... Не двоежен ли уж ты

окаянный?

Михайло живо отдернул руку.

— Из ума ты никак, старая ведьма, выжила! — сурово оборвал он ее предсказание и неестественно рассмеялся. — Я в жизнь себя женитьбой не закабалу...

— Эх, парень милый! Для че чураться? Заговорит ретивое — станешь сохнуть да сокрушаться, окрутят голубчика — и оглянуться не успеешь.

— Городи безделицу! — прервал он ее снова. — Не до того теперь. Не обессудь, бабушка, за горячее слово. Не со злобы — с горя молвилось. Ты, Марья Гордеевна, дозвожь спросить: домой ведь собралась?

— Домой, — отвечала Маруся.

— До ворот замковых на всяк случай я тебя провожу. Не след мне, может, не пригоже, холопу, навязываться, но надо, вишь, во чтоб то ни стало перемолвиться еще с тобою.

Девушка полуудивленно, полужастенчиво воззрилась на него, но ничего не возразила.

— Прощай, бабушка! — сказала она цыганке и быстро пошла вперед.

— Первым делом, Марья Гордеевна, по-

клон тебе от дядюшки твоего, — услышала она около себя голос Михайлы, нагнавшего уже ее.

— От дяди? От которого?

— От Степана Маркыча.

Маруся вся всполохнулась и вскинулась на говорящего звездистыми очами.

— Да где он? Где ты повстречался с ним?

— Повстречался на этих днях в корчме жи-довской, на перепутье. Считал он тебя в Самборе и ехал напрямиком на Самбор. Но про-сти, — продолжал Михайло, видя, что пле-мянница Степана Марковича готова засыпать его вопросами, — есть у меня до тебя дело ку-да спешнее и важнее... Напало на меня, вишь, сомненье, а ты, своя же, русская, православ-ная, меня не выдашь.

Наскоро сообщил он ей «за великую тай-ну» о кознях иезуитов противу отца Никандра и преосвященного Паисия, и о том, как ему покамест удалось спасти последнего.

— Но куда мне теперь с ним? — заключил он. — Нельзя ли укрыть его хоть у этого куз-неца Бурноса? Надежный ли то человек?

— Совсем надежный, — уверила Маруся,

слушавшая гайдука с затаенным дыханьем, и стала торопить его скорее вернуться к больному владыке, пока Юшка как-нибудь не высвободился и не напал опять на его след.

Молодые люди вышли в это время из гущины леса в открытое поле перед замком, и так как здесь, на виду у всех, Маруся могла считать себя уже совершенно безопасной от дальнейших любезностей пана Тарло, то Михайло оставил ее, и она продолжала путь одна.

Шла она не спеша, потупившись. Вдруг она остановилась, приложила руку к волнующейся груди, и как бы ослепленная ярким блеском солнца, зажмурилась; голова ее затуманилась, в очах пошли круги. И было от чего: в какие-нибудь полчаса времени она пережила, переиспытала более, чем прежде в течение целых годов: сцена с паном Тарло, вмешательство Михайлы, предсказания гадалки, наконец преследование и бегство православного епископа, который, по ее же совету, должен был найти теперь временный приют у кузнеца Бурноса, — все это вихрем кружилось в ее голове. И над всем этим носилось, преоб-

ладало одно смутное еще, но неотразимое чувство, что между нею и гайдуком царевича установилось уже нечто общее, связывавшее их как бы родственными узами.

«Ну, да! У нас с ним общая тайна... Мне нет покою только — что-то случилось с преосвященным? Как бы разведать скорее...»

Узнала она о том от Михайлы же за подвечерком в столовой. Как всегда, он стоял опять за сиденьем своего царственного господина и, казалось, ждал только, когда девушка обернется в его сторону. Уловив ее взгляд, он сделал ей успокоительный знак головой; Маруся поняла, что все улажено и архипастырь в безопасности.

Юшка оказался в числе княжеской прислуги тут же за столом и имел какой-то виноватый, понурый вид: стало быть, Михайло, пустив его на волю, не на шутку пригрозил ему держать язык за зубами, и хлопцу за такое упрямое молчание его, верно, порядком-таки уже досталось от пана Тарло, а, может стать, и от самого светлейшего.

Что Вишневецкий, а раньше его еще, конечно, оба иезуита знали уже от пана Тарло

о неудачном обыске последнего в доме отца Никандра, Маруся догадывалась по нервному настроению князя Константина и по тем выразительным взглядам, которыми тот по временам обменивался с обоими патерами. Окончательно же утвердилась она в своей догадке, когда вошедший прислужник доложил князю, что отец Никандр пожаловал-де по его приказу, чтобы явиться пред его пресветлые очи.

— Добре! — буркнул князь Константин, и глаза его из-под хмурых бровей зловеще за сверкали. — Проведи его на мою половину...

Сердце в груди у Маруси сжалось. Кабы хоть в щелочку заглянуть, одним ушком подслушать у дверей князя! Но об этом и помыслить нельзя было. Там торчали всегда двое: дежурный маршалок и дежурный гайдук. Но из кабинета княжеского был прямой выход на небольшое крылечко во двор; а одна боковая горенка выходила окном как раз на это крылечко. Здесь можно было по крайней мере увидеть отца Никандра тотчас после объяснений его с князем. Едва только Вишневецкий, по окончании трапезы, удалился на свою

половину, как Маруся поспешила в намеченную горенку, растворила окошко и присела за занавеской.

Окна княжеского кабинета, к сожалению, были закрыты, и до слуха Маруси доносился только смутный гул спорящих голосов. Отец Никандр, очевидно, дал чересчур увлечь себя своим духовным рвением, потому что его старчески дребезжащий фальцет пронзительно то и дело прерывал густой бас князя Константина. Вдруг дверь на крылечко шумно распахнулась, и, словно силой вышвырнутый оттуда, выскочил на крылечко, а с него, спотыкаясь по ступеням, сбежал во двор отец Никандр. Редкие серебристые пряди волос в беспорядке рассыпались по его плечам; сухое, строгое лицо его было необычайно разгорячено, возбуждено. Эта-то возбужденность и была, очевидно, тою силой, которая вытолкала его из дому. Сделав несколько шагов, он пошатнулся и, балансируя в воздухе руками, едва удержался на ногах.

Оборотясь назад, он угрожающе потряс высоко поднятой десницей и пробормотал что-то. Он был жалок, и все же в нем было что-то

мученически величественное.

На крылечке показалась изящная фигурка молодого княжеского секретаря.

— На одно слово, батюшка!

Он был уже около пастыря, взял его под руку и, участливо заглядывая ему снизу в лицо, стал ему что-то настоятельно нашептывать.

— Не может раб работать двум господам: единого возлюбит, а другого возненавидит! — возразил отец Никандр словами священного писания; но по смягченному тону его Маруся поняла, что старик начинает сдаваться.

— Отчего же обоих не любить? — подхватил пан Бучинский. — Ласковый теленок двух маток сосет. И не сам ли Спаситель наш Иисус Христос велел нам любить врагов наших, как самих себя, и отпускать им прегрешения?

— Истина твоя, добрый человек, и победил ты меня сим своим словом. Скажи своему князю, чтобы и меня, старца, простил, буде лишнее с языка сорвалось: возгордился я своей твердой верой. Но сатана возгордился — с неба свалился; фараон возгордился — в море

утопился; а мы возгордимся — куда погодимся?

Глава двадцать первая ДЕВУШКИ «ПОДСЛУШИВАЮТ», НО НЕ ТО, ЧТО ОЖИДАЛИ

— **Ч**то это ты, Муся, какая странная нынче? — говорила панна Марина Марусе, разоблачаясь перед большим «венацким» зеркалом в своей опочивальне. Другую фрейлину свою, панну Гижигинскую, и двух своих прислужниц она выслала уже вон, чтобы поболтать перед сном наедине со своей любимой наперсницей.

Маруся в ответ тихо вздохнула. Панна Марина быстро обернулась.

— Это еще что за новости? Ты, детка моя, вздыхаешь?

— Я сведалась нынче от... (Маруся на минутку запнулась) от одного слуги царевича, что дядя мой в дороге сюда, и завтрашний день, может, будет уже здесь. Его воля, вы знаете, теперь надо мною.

— И тебе жаль расстаться с твоей панноч-

кой? — с живостью подхватила панна Марина. Она крепко несколько раз чмокнула по-другу в обе щеки и в губы. — Ах ты, милочка моя! Нет, я не отпущу, ни за что не отпущу тебя так скоро! И не думай.

Маруся безмолвно и как бы безучастно принимала ее ласки. Панна Марина за плечи отодвинула ее от себя и зорко заглянула ей снизу под опущенные ресницы.

— Нет, голубонька, по глазам вижу: тут не в дяде дело. Сказывай, признавайся: ну, что у тебя на душе?

Маруся покраснела и принужденно рассмеялась.

— Да пустяки! Цыганка эта...

— Цыганка? Что такое? Проговорилась, так изволь и договаривать. Я все равно не дам уже покою.

Марусе ничего уже не оставалось, как откровенно рассказать, по крайней мере, о встрече своей в лесу с ворожеей-цыганкой и о предсказании последней. О Михайле, да и о пане Тарло, от которого освободил ее Михайло, она, конечно, умолчала: язык у нее не повернулся произнести имя молодого гайдука.

Когда она, наконец, упомянула о совете гадалки — послушать в полночь под замком церковных дверей, панна Марина радостно ударила в ладоши.

— Это чудесно! Какая жалость, право, что меня с тобою не было! Я спросила бы и о себе... Непременно прикажу завтра же разыскать мне эту цыганку! А подслушивать у церковных дверей пойдем вместе.

— Да я и сама-то, панночка, не совсем еще решилась...

— Вот на! Ты всегда такая бесстрашная... Или черта вдруг испугалась? — подтрунивая, добавила панна Марина. — Его же в ту пору не будет дома: он в пол-Ночь с бабкой своей тоже на Лысой горе.

— Кто его ведает? — задумчиво отвечала суеверная Маруся. — В полночь (на Украине у нас бают) черт с бисом у погоста на кулачках дерутся.

— Ну, и подсмотрела б! — рассмеялась неугомонная. — Бабка их, точно, всякого перемудрит; ну, а с ними, мужчинами, еще мы сладим. Сам-то черт, говорят, хоть и черный, да бис рябенький: не выдаст черному братцу.

— Ах, панночка милая! Нешто можно на ночь говорить об этой нечисти! — вполголоса укорила Маруся, оглядываясь на темные окна. — Коли вам самим не боязно, так что же вы сейчас не пойдете одна-то?

— А что ты думаешь: не пойду я? Долго ль завернуться в капеняк (плащ без рукавов), накинуть кап-тур (капюшон)?

— Да ведь гляньте же: ночь глухая! И вам ли, воеводской дочери, идти темным бором на кладбище...

— Тебе, деточка, знать, самой тоже идти загорелось?

— Да уж вернее, вестимо, вместе идти...

— Ну, разумеется! И веселее. Я, так и быть, дам тебе даже первой послушать. Не опоздать бы только...

— Нет, еще рано: до полуночи больше часу времени.

— Так обождем.

Всякие дальнейшие возражения наперсницы оказались бесполезны: своенравная дочка сендомирского воеводы, ухватившись раз за мысль послушать в полночь у церковных дверей, не дала уже выбить у себя этой затеи из

упрямой головки и своеручно еще закутала верную наперсницу в собственный свой черный квеф (газовое головное покрывало), чтобы ее ненароком как-нибудь тоже не узнали.

Ночь, как уже сказано, была безлунная; изредка только сквозь непроглядный мрак вспыхивала из-за парка зарница. При мгновенном блеске ее, незадолго до полуночи, можно было различить две легкие женские тени, скользнувшие со ступеней выходившей в парк замковой террасы под сень вековых буков и грабов. Но некому было заметить их, потому что все обитатели замка, казалось, почивали уже мирным сном.

— Ни зги, однако, не видать: как раз шишку на лбу себе настукаешь, — говорила шепотом Маруся.

— Дай же сюда руку: я тут каждый уголок знаю, — отвечала точно так же панна Марина. — Лишь бы мимо караульного у ворот на дорогу выбраться.

Минуту спустя они обогнули боковую башенку замка к воротам. За темнотою, караульного в сторожке не было видно; но доносившийся оттуда густой храп свидетельство-

вал, что с этой стороны им нечего пока опасаться. Затейницы наши тихонько шмыгнули мимо сторожки, в калитку, к подъемному мосту, выводившему через ров на большую дорогу. Тут зарница на миг один озарила снова всю окрестность. В некотором отдалении, по ту сторону моста, выделились как бы две темные человеческие фигуры. Панна Марина, не выпуская все время руки Маруси, скатилась по дернистому скату в глубокий, но сухой ров, увлекая туда с собою и свою спутницу.

— Да ведь это никак патеры? — прошептала Маруся. — Ну, как они нас заприметили?

— Навряд: мы были еще за кустами.

— Но чего им так поздно разгуливать-то?

— Чш-ш-ш! Молчи. Стало, надо. Дай пройти им.

Обе притаились, как убитые. Недолго погодя слышались шаги по деревянной настилке подъемного моста, а потом над самыми головами девушек и голос старшего патера:

— Ваша совесть, *reverendissime*, доходит иногда *ad absurdum*; вы вечно забываете основной закон наш: что цель оправдывает

ет средства.

— Но закон, *clarissime*, как хотите, не в меру жестокий и несправедливый, — возражал младший патер.

— *Dura, lex, sed lex* (закон жестокий, но закон). Не будет храма — не будет и проповедника. Или у вас для этого есть другое средство?

— Средств у меня нет; но боюсь я, как бы не попутал нас дьявол...

— Коли без дьявола не обойтись, то мы и дьявола возьмем за рога...

Шаги и голоса удалились, все кругом опять стихло.

— Вот и черт с бисом: один черный, другой рябенький! — с возвратившеюся смелостью заговорила Маруся, выбираясь с панной Мариной изо рва на дорогу. — Но что они, греховодники, затевают? Самого дьявола ведь за рога взять норовят...

— Не наше с тобою женское дело, Муся! — оборвала ее панна Марина, — о патерах же наших, сделай милость, не изволь так отзывать. Идем-ка скорее; как раз еще полночь упустим.

Как ни храбрились две девушки одна перед другою, но, вступив в лесную чащу, которую приходилось миновать им, обе крепче переплелись пальцами рук, плотнее прижались плечами друг к дружке и не шли вперед, а бежали. Густой дубовый бор кругом глухо гудел и шумел, словно со всех сторон сошлись здесь, столпились лесные духи, чтобы творить суд и расправу над дерзкими нарушительницами полуночной тайны. Хоть кому жутко станет...

Уф! Слава тебе, Господи! Благополучно выбрались-таки на ту сторону бора. Экая темень какая! Хоть глаз, право, выколи. Даже кузница Бурноса у опушки не видать, а про церковь в отдалении и толковать нечего. Но страшного этого говора лесного по крайней мере уже не слышать, а в траве придорожной, вместо того, весело таково звенят кузнечики, в сторонке где-то, в поле, поскрипывают, перекликаясь, дергачи.

Ободрившись, две подруги куда уже храбрее продолжали путь. Вот они и у подошвы холма, на котором высится старый православный храм.

— Да ведь вы же, панночка, не православная? — хватилась тут Маруся. — Может, вам и слушать здесь негоже?

— Не православная, а все такая ж христианка! — с обидчивою гордостью возразила панна Марина.

— Простите, голубушка: опаски ради слово молвилось...

— Черту я, милая, слава Богу, как и ты, не поклоняюсь!

— Не поминайте его здесь, дорогая, врага Божьего! Ведь мы же среди мертвых на погосте... Да куда же вы?

— А тут ближе.

Подсмеиваясь над своей чересчур уже суеверной подругой, панна Марина, впереди ее, перелезла через низкую ограду и смело стала подниматься в гору, между могильными насыпями и покосившимися крестами.

— Смотри-ка, Стожары (созвездие Большой Медведицы) как горят-то! — говорила она, — все кругом видно.

Видать всего кругом, конечно, не было, но ночное небо, действительно, сплошь вызвездило, замерцало бесчисленными алмазными

точками, и мерцанье это настолько озаряло пологий скат холма, что позволяло без большого затруднения пробираться вперед к мрачной громаде храма, черным силуэтом выделявшейся теперь на звездном небе.

Маруся нагнала свою панночку только у паперти.

— Смотри! — шепнула та, нервно хватая ее за руку, — ведь церковь-то не закрыта... кто-то есть там...

Двери храма точно были слегка только приотворены, и в щель виднелась бледная полоска света.

— Не тати ли грабители? — сказала Маруся, в которой мысль о совершающемся здесь, может быть, святотатстве поборола разом суеверный страх. — Побежим на село сзовем народ...

Но в это самое время свет в храме уже потух и послышались приближающиеся шаги. Бежать на село было уже поздно: когда-то еще было добудиться спящих крестьян! И, совершенно безотчетно, Маруся бросилась с паперти и схоронилась за выдающийся угол церкви вместе с панной Мариной, ни на минуту

не выпускавшей ее руки. Ночные посетители храма вышли на паперть, тщательно замкнули двери и, тихо беседуя, стали спускаться под гору. Не имея возможности за темнотою разглядеть их, Маруся, тем не менее, тотчас узнала их по голосам.

— Там-то его ведь, я чай, никто уже искать и взять не посмеет? — говорил кузнец Бурное.

— Не должен бы, — отвечал отец Никандр, — ибо вход во Святая Святых неверцам строжайше заказан. Да и не попустит всемилоостивейший Господь наш заклятия верного слуги своего, агнца неповинного...

Дальнейших слов обоих Маруся уже не расслышала; но одно ей было ясно: что последнее убежище свое преосвященный Паисий нашел в святилище храма, и что панна Марина, вместе с нею, слышала разговор удаляющихся. Но поняла ли их панночка так же, как поняла она? Ведь о кознях патеров ей вряд ли что ведомо? Надо было притвориться, отвести глаза.

— Ах, какие же мы с вами трусихи! — рассмеялась Маруся. — Батюшку чуть не за грабителя приняли...

— Н-да... — как-то нерешительно отозвалась панна Марина.

— У меня и из ума-то вон, что дары святые вносятся у нас в храм в новолуние... — продолжала болтать Маруся, а сама про себя подумала: «Что я горожу такое! Господи, отпусти мне мое кощунство!» — А что, панночка моя, подслушаем еще у дверей, аль нет?

— Нет, детка моя; всякую охоту отбило.

На возвратном пути Маруся прилагала все старания, чтобы отвлечь мысли своей панночки от того, что слышали они на погосте, и, по-видимому, ей это удалось, потому что панна Марина на шутки ее отшучивалась, правда, довольно рассеянно, о слышанном уже не заикнулась, и сама же взяла с подружки слово отнюдь ни душе не проболтаться о их ночной прогулке, чтобы как-нибудь до ушей царевича не дошло.

«Ну, и слава Богу! Кажись, ни о чем не домекнулась, — соображала про себя Маруся, — сама, небось, боится огласки: стало, промолчит; на утро же дам знать через Бурноса отцу Никандру...»

Исполнить свое намерение, однако, ни по-

утру, ни после ей не было уже суждено.

Глава двадцать вторая

НОРОВ БИРКИНЫХ СКАЗЫВАЕТСЯ

Прибытие в Жалосцы московского царевича было для всего панства червонно-русского воеводства своего рода событием. Дав царевичу сутки с лишком на отдых после дороги, местные магнаты теперь с самого утра стали гурьбой наезжать в замок князя-воеводы поглазеть на царственного гостя, да и себя, кстати, показать. Весь замок наполнился приезжими; а так как в числе их были и пани, и паненки, то панна Марина, естественно, ни на шаг не отпускала от себя своей любимой фрейлины Маруси.

В довершение всего, и к самой Марусе пожаловал ожидаемый уже гость — дядя ее, Степан Маркович Биркин. Приютив его кое-как в надворной пристройке замка вместе с его разбитным вожатым, запорожцем Данилою Дударем, она поспешила опять к своей панночке. Отлучиться, при таких обстоятельствах, на более продолжительное время к куз-

нецу Бурносу, не возбуждая подозрения, — ей пока и думать нельзя было. Она рассчитывала, впрочем, сделать это еще как-нибудь между обедом и подвечерком: ведь раньше-то сумерек выбираться преосвященному Паисию из церкви все равно не пришлось бы. Чтобы панночка ее объяснялась уже с патерами — она не успела заметить но за обедом ей показалось, что иезуиты обменивались между собой, а также с паном Тарло, какими-то загадочными взглядами, — и молодая девушка не могла просто дождаться конца столованья, которое, по случаю множества тостов, затянулось еще более обыкновенного.

Наконец, задвигали стульями и разбрелись по всему замку, чтобы в сладкой дремоте на досуге переварить грузную трапезу до следующей okazji — подвечерка.

Тем временем Биркин Степан Маркович, хмурый и сердитый, большими шагами расхаживал по своей горнице.

— Ай да племянница! Ай да заботница! — говорил он. — Дядя хоть ложись, с голоду околевой, а она и ухом не ведет, ей и горя мало! Сходил бы, Даничко, что ли, проведал: долго

ль они, паны эти, еще бражничать будут?

Не скоро добрался бы до цели своей запорожец, которого в его неказистом дорожном наряде привратник наотрез отказался пропустить в замок, если бы, на счастье свое, он случайно не наткнулся тут же, при входе, на гайдука царевича. Михайло обрадовался ему, как старому знакомому.

— Ты ли это, Данило?

— Он самый, — был ответ, и они трижды обнялись и поцеловались.

— Слышал я, друже, слышал, как ты в люди-то вышел. Ишь ты, на радостях даже виршами говорить стал! — сам себя похвалил Данило.

— От кого ты слышал-то?

— От кого, как не от этой племянницы купчины моего. Ай, девка! (Запорожец от удовольствия, как кот, зажмурился и причмокнул). И как ведь радехонька была твоему, братец, гостинцу...

— Моему гостинцу?

— Ну да, тому туренку-сосуну, что Степан Маркыч намедни от тебя через жида в корчме раздобыл. «Дяденька, миленький, отец

родной!» — присела это наземь к сосуну, и ну его ласкать, миловать. А как проведала еще, что от тебя получен, так ровно ошалела: «Ах, ты, серденько мое, матусенька моя!» Да давай его в морду целовать: ей-Богу, не вру! Индоглядеть было потешно да весело. «Эге — думаю себе, — не даром, знать». Дядю-то она, с панами бенкетуя, совсем-таки, вишь, забыла, а он с голоду злобится, на стену лезет.

— Сейчас велю сказать ей. Ступай себе, Данило. Верно, не заставит себя ждать.

И точно: едва только Марусе присланная к ней Михайлой прислужница напомнила о проголодавшемся дяде, как она опрометью бросилась на княжескую «пекарню» и, вопреки установленному порядку, с бою, так сказать, забрала там для дяди всяких снедей и питий.

— Здравствуйте, чарочки, мои ярочки! Здорово, кружечки, мои душечки! Каково поживали, меня поминали? — говорил Данило Дударь, с видом знатока разбирая расставленные перед ним и его патроном на столе разной величины глечики и фляги, кружки и чарки. — Ну-ка, Степан Маркыч!

Степан Маркович ограничился одной чаркой зелена вина — старой водки, чтобы затем с волчьей алчностью накинуться на съестное.

Маруся так усердно подавала ему одно сытное блюдо за другим, подливала ему то того, то другого хмельного напитка, что когда дело дошло до «заедков»: маковников, медовиков, пампушек, — Биркин, тяжело отдуваясь, решительно отодвинулся с креслом от стола.

— Уф! Не приставай: и так на убой откормила... Как погляжу я, девонька, захлопоталась ты для дяди-то, и хозяйюшка из тебя презрядная вышла. Пора, знать, сожителя выбирать.

Племянница порывисто воззрилась на него.

— Ты что это, дядя? Про что говоришь-то? Запорожец, продолжавший еще трапезовать, с полным ртом обернулся к ней и подмигнул лукаво.

— Заневестилась, брат, пора на торг везти.

— Был бы товар, а покупатель найдется, — досказал Биркин. — Покойный родитель твой тебя, слава Богу, тоже не в одной сорочке

оставил; и собой ты, девонька, грех сказать, не уродом родилась.

— Еще бы! — принужденно рассмеялась Маруся. — Такое сокровище! Нарасхват возьмут!

— Небось, — заметил опять Данило, — у дяди-то твоего и покупатель свой есть уже на примете.

Девушка обомлела; во взоре ее блеснул недобрый огонек.

— Правда это, дядя?

— Чего тут долго в жмурки играть: есть.

— И я его знаю? Уж не Илья ли Савельич?

— А хошь бы и он.

— Нет, дяденька; за него я не пойду! Не пойду!

Высокая, стройная, она стояла посреди горницы, закинув назад головку и вытянув перед собой обе руки, словно отталкивая от себя немилого жениха; отдавшись порыву негодования, она гневно поводила кругом искристыми очами. Запорожец просто загляделся на нее.

— А хороша девчина, Степан Маркыч, ой, хороша!

— Да уж породы Биркиных, одно слово, — сказал Степан Маркович, сам невольно залюбовавшись на племянницу. — И норовиста же, иначе, как Биркина: все делай, мол, по ней, как ей в башку забрело. Только ведь я, голубушка, не забудь, такой же Биркин, и что раз у меня сказано, то свято.

— Илья-то, точно, противу такой крали из себя-то куда неказист, — вступился Данило.

— Кого ей еще: Бову-королевича, что ли! Мужчина, коли немножко показистее черта, так уж и красавец.

— Да коли сам он не люб мне! Не пришли за мной тогда панночка моя колымаги, так меня бы на белом свете уже не было, давно бы утопилася! А что он с покойным-то тятенькой проделал!

— Знамо, спасибо не за что сказать; около дела вашего руки-таки погрел, — должен был согласиться Биркин. — Травленая лиса!

— Ты, дядя, словно его еще одобряешь!

— Одобрять не одобряю, а честь отдать — отдам: ловкач! Стало, плохо лежало. Так кто тут больше-то виноват: он, или родитель твой, не тем будь помянут? Но опутал он нас с

тобой так, что ни тпру, ни ну. А выйдешь за него, так к тебе же твое все разом и вернется. Приручишь его, так станет он у тебя по ни-точке ходить. И будешь жить да поживать, в богатстве, да в холе...

— Не с богатством, дяденька, жить, а с человеком. Смилуйся, не мучь ты меня, не делай меня навек несчастной! Не прихоть это у меня... Не хочу я вовсе замуж — ни за Илью Савельича, ни за кого в мире... Лучше в девках останусь... Миленький, добрый ты мой!..

Голос девушки оборвался. Она с мольбой сложила руки; на ресницах ее блеснули слезы.

Подгулявший казак украдкой сочувственно подмигнул ей опять.

— Хе-хе-хе! «Ни за кого в мире!» — повторил он. — «Лучше в девках останусь!» Сказал бы я словечко, да волк недалечко...

Маруся вспыхнула и смущенно потупилась.

— А? Что такое?! — нахмурясь, возвысил голос Степан Маркович, подхвативший их взгляд. — Коли так, то напрямки уже тебе, милая, отрежу: добро твое — все едино, что доб-

ро мое, что добро всех нас, Биркиных, и я по совести не хочу, да и не могу, из-за девичьей дури твоей, добро это в чужих руках оставлять! Ты выйдешь за Илью Савельича — и вся недолга!

Маруся отерла уже рукавом свои слезы и гордо выпрямилась.

— Так и я же напрямик скажу тебе, дядя: я не выйду за него!

Долготерпение сдержанного вообще Биркина истоцилось. Лунообразное, загорелое, с сизоватым отливом, лицо его приняло багровый оттенок; жилы на висках его налились; он опустил полновесный кулак свой на стол с таким глухим треском, точно то была пудовая гиря.

— О-го-го! Так ты вот как, сударыня! Разговаривать со мной стала, а? Нет, ты, видно, дядю своего, Степана Маркыча, еще не знаешь: коли он в сердце войдет, так ау, брат! Берегись, девонька, берегись, говорю тебе, не раздражай меня...

Душевное волнение после сытной трапезы было тучному купчине не под силу: задыхаясь, он схватился вдруг за грудь и закатил

глаза — с ним сделалось дурно. Племяннице и запорожцу стоило немалого труда привести его снова в чувство. Но обморок его, по крайней мере, оборвал семейный раздор и не дал биркинскому норову выйти из крайних пределов: щекотливая тема пока не возобновлялась, и между дядей и племянницей наступило временное затишье.

Глава двадцать третья В ОГНЕ И В ПОЛЬШЕ

Тяжелые оконные занавеси в опочивальне царевича Димитрия были уже опущены; сам царевич укладывался в свою пышную, поистине царскую постель и беседовал опять с прислуживавшим ему при этом молодым гайдуком.

— Так он, стало быть, надежно укрыт? — говорил Димитрий. — Очень рад! Где он укрыт — мне знать не нужно; это ты держи про себя.

— Надежно-то, надежно, государь, — начал Михайло, — но ежели бы ты ведал...

— Повторяю тебе, братец, что ничего более

я знать не желаю! — властно перебил его царевич. — Имея дело с князем Константином, с иезуитами, я, чего доброго, еще выдал бы себя; а так, по малости, моя совесть перед ними спокойна и чиста.

В это время из-за окон, со двора раздались гулкие удары набата, донеслись звуки смешанных голосов.

— Что это? Уж не пожар ли? — сказал, прислушиваясь, царевич. — Погляди-ка в окошко.

Михайло бросился к окну и откинул занавес. Все небо в сторону села Диева было залито алым заревом; широкий княжеский двор внизу, за полчаса назад еще погруженный в полный мрак, был озарен ярким отблеском неба и кишел княжескою челядью.

— Пожар! — отвечал гайдук. — И никак в Диеве... Уж не иезуиты ли опять.

— Ну вот!

— Нет, государь; тебе за разговором, вестимо, не до них было; я же хорошо подметил, как они за ужином шушукались меж собой, да с паном Тарло то и дело переглядывались. Что-то тут, верь мне, неладно. Сердце мое словно чует, что не село даже, а дом отца Ни-

кандра, либо сама церковь его горит. Дозволь мне, государь, бежать туда!

— Беги; но чур, не забывай, что ты — гайдук мой. На дворе от зарева было светлее сумерек. Сквозь бестолково суетившуюся там толпу Михайло протолкался к выходным воротам. На подъемном мосту налетел на него всадник, в котором он, к немалому удивлению своему, узнал пана Тарло. Завидев бежавших навстречу ему людей, тот, не желая обращать на себя внимание, соскочил наземь и, не заботясь уже о своем коне, скрылся за деревьями парка. Один дворовый схватил было уже панского аргамака под уздцы; но Михайло вырвал у него повод, сам вскочил в седло, повернул коня и гикнул. Конь был в мыле, но, не остыв еще от быстрого бега и почуяв на себе снова лихого наездника, помчался во всю свою конскую прыть.

Подозрение Михайлы, что пан Тарло сообщал с иезуитами, затеял опять что-нибудь на пагубу последних двух поборников восточной церкви в крае, обратилось в нем почти в уверенность. Но много размышлять об этом теперь не приходилось: надо было спасать!

При изгибе дороги в лесной чащине он увидел в некотором отдалении перед собою скачущего в том же направлении другого всадника. По небольшой стройной фигуре он тотчас признал в нем пана Бучинского. Ну, понятное дело, этот вездесущий, расторопный человечек и тут должен был быть первым!

Между зеленью редящего бора прорывались уже зловещие, ослепительные огненные блики. Наконец, чаща разом расступилась... Так и есть ведь! Возвышавшийся на холме древний православный храм и рядом с ним колокольня стояли в огне! Сухой, годами нево-зобновлявшийся древесный материал их служил огню самой благодарной пищей. Колокольня от основания до крыши представляла уже сплошной пылающий костер; церковь с одного конца также занялась, а по куполу бежали огненные языки.

Когда Михайло на аргамаке своем взлетел через низкую церковную ограду к самому храму, он застал там в сборе все мужское и значительную часть женского населения Дивеа. Кто из поселян захватил с собой, как ока-

залось, топор, кто багор, кто ведро с водой; но никто в эту минуту не думал о спасении храма Божия: все сбились в кучу и галдели, перебывая друг друга, около сидевшего еще на своем коне княжеского секретаря.

— Згвалтуете ведь, убьете, говорю я вам! — звучал повелительнее обыкновенного мягкий голос пана Бучинского, — сами за то головой ответите.

— Кормилец! Отец родной! На вас вся надежда! Не выдавайте меня им, собакам-кровопийцам! — жалобно орал другой, также как бы знакомый Михайле голос.

Михайло спешился и протискался вперед. В руках нескольких поселян барахтался никто иной, как Юшка. Но как его, беднягу, истрепали! Платье на нем было положительно в лохмотьях, волосы на голове всклочены, искаженное от боли и страха лицо вздуто и окровавлено.

— Да ведь он же, лайдак, никто как он, мосьпане, запалач (поджигатель)! — горлачил один.

— Вон из этого самого окошка при нас выпрыгнул, гаспид! — кричал другой.

— И ризы с икон, и крест на престольный, и утварь-то всю церковную пограбил: чашу, дарохранильницу, дискос! — подхватил третий.

— Лгут, пане, брешут, бездельники! — огрызнулся обвиняемый.

— Что?! Брешем, москаль проклятый?! Уступите его нам, добродию, уступите, любый пане...

Несколько кулаков угрожающе занеслось снова над головой Юшки.

— Не уступайте, голубе мой! Ой, не уступайте! Совсем змордуют (замучат)!

Он так стремительно рванулся к единственному своему защитнику, так судорожно ухватился за его стремя, что горячий арабский конь под маленьким седоком взвился на дыбы и шарахнулся в сторону. Толпа с испугом отхлынула.

— Коли и в поджоге он, точно, виновен, то от суда, верьте моему слову, не уйдет, — объявил пан Бучинский. — Покамест же, братове, будет нам балакать, есть дело для вас поважнее: искры-то ветром вон куда несет — пряменько на село ваше: того гляди, что солома

на крышах займется; тогда ни единой хате вашей не устоять.

Последнее указание разом охладило, отрезвило бушевавшую громаду, возбудило общий переполох. Бабы с криками метались под гору к своим жилищам. Некоторые из крестьян последовали за ними. Подозвав к себе сельского войта, пан Бучинский отдал ему несколько определенных приказаний, как отстоять село; затем внушил трем коренастым парубкам, державшим по-прежнему за руки и за шиворот поджигателя, под страхом строжайшей ответственности, отнюдь не отпускать его.

Тут на месте действия появилось новое лицо, отец Никандр. В подряснике, с развевающимися прядями редких седых волос, взбегал он впопыхах со стороны дома своего к горящей церкви, и махая руками, вопил в полном отчаянии:

— Детушки, братове, спасите мне его!

Некоторые из прихожан, недоумевая, о ком он говорит, двинулись навстречу своему пастырю; Михайло впереди всех.

— Кого, пан-отец, спасти-то?

— Да отца владыку... Наслал на меня, знать, враг человеческий такой глубокий сон, что сейчас только в себя пришел...

Старец-пастырь задохнулся и, вместо слов, закончил речь безмолвным умоляющим жестом в сторону горящей церкви.

— Преосвященный в церкви? — догадался Михайло.

— Да, да... Вынесите его, православные!.. Рассудительные, осмотрительные малороссы только переглянулись и не тронулись с места.

— Ишь ты, ловок, пан батьку! Других-то шлешь в пекло, а сам, небось, не полезешь.

Пламя, в самом деле, все более охватывало храм, шипя и свистя ползло вверх по стенам, по окнам и вдоль «басани», так что в некотором даже расстоянии жар становился уже нестерпимым. Один только угол церкви, тот самый, где было окно с разбитой рамой, через которое выскочил с награбленной святыней Юшка, был еще пощажен огнем.

— А где он, в каком месте схоронен у тебя? — спросил священника Михайло.

— В алтаре, голубчик ты мой, за воротами царскими...

— В уме ли ты, Михаль! — вмешался подъехавший к ним пан Бучинский. — Его тебе уже не спасти; самого себя только погубишь.

— Бог милостив, пане. Нет ли, братцы, воды? Окатить бы меня на всякий случай.

Полное ведро воды, на счастье, оказалось тут же к услугам. Облитый из него с головы до ног, молодой богатырь наш встряхнул только промокшими кудрями, принял благословение отца Никандра и с разбегу взобрался на «басань», а оттуда скрылся в выломанном окне.

— Бесшабашный! Не сдобровать ему... погиб ни за что, бидолаха! Упокой Господь его грешную душу! — говорили оставшиеся, глядя ему вслед и набожно осеняясь крестным знаменем.

Отец Никандр, опустясь на колени, ударял себя в грудь и творил усердную молитву:

— Господи Христе Вседержителю! Кровь брата моего вопиет на меня, как Авелева на Каина!

В это время на басань около того окна, откуда должен был вылезать Михайло, рухнула с пылающей крыши горящая головня. Сухая

басань вспыхнула как порох.

— Рушь басань! — крикнул пан Бучинский.

Трое-четверо крестьян с топорами бросились исполнять приказ. Мигом ветхая басань под угловым окном была срублена и горящие обломки отброшены в сторону. Но пламя успело уже перейти на окружающую стену и подбиралось к самому окну. Тут в окне показался Михайло с бездыханным на вид человеком на руках.

— Принимай, братове! — донесся его зычный голос. Несколько паробков, несмотря на палящий жар, приняли с рук на руки преосвященного владыку, лишившегося, как оказалось, чувств. Для Михайлы же выход из церкви был уже загражден: окно стояло в полном огне, и самого Михайлы не стало видно, — откинулся, должно быть, назад, в церковь.

Отец Никандр и прихожане были настолько заняты приведением в чувство епископа Паисия, что на время как будто даже забыли про нашего героя. Один только пан Бучинский, сообразив тотчас, что гибель любимого гайдука царевича в умышленно, очевидно,

подожженном храме легко может отозваться неблагоприятно на отношениях царевича к князю Константину, открытому гонителю православия, вонзил шпоры в бока своего коня и обскакал кругом церковь, чтобы удостовериться — нет ли оттуда гайдуку другого выхода. Но церковь, подобно колокольне, пылала уже со всех концов: молодая жизнь, без сомнения, прекратилась там, в полыме, среди ужаснейших мучений... Губы пана Бучинского побелели, болезненно сжались.

Много размышлять о погибшем ему, впрочем, не пришлось. Прискакавший во весь опор верховой возвестил скорое прибытие самого светлейшего; а пять минут спустя пожаловали, действительно, на пожарище как оба брата Вишневецкие, так и царевич Димитрий, а с ними патер Лович и многочисленная придворная свита. О прекращении пожара не могло быть уже и речи; вновь прибывшим оставалось только, сложа руки, наблюдать за окончательным истреблением огнем последнего в воеводстве храма и слушать рапорт маленького княжеского секретаря. Сжато, но чрезвычайно ясно и толково доложил пан Бу-

чинский о поимке подозреваемого «запалыча», о чудесном спасении беглеца-епископа, о гибели гайдука «его царского величества» и о принятых им самим мерах к локализации пожара.

Заметно опечален был, казалось, один только царевич: потеря единственного, быть может, вполне преданного ему душой и телом человека была для него, без сомнения, чувствительна.

— Я надеюсь, князь, — сказал он, — что вы нарядите над поджигателем строгий суд.

— Поджигатель ли он, государь, покажет следствие, — отвечал князь Константин, — но я считаю долгом предварить ваше величество, что, по установленному порядку, должен буду направить все дело о поджоге, по принадлежности, в коронный гродский суд, ведающий уголовные дела...

— Однако, мне сказывали, помнится, — возразил Димитрий, — что здесь, в Малой, как и в Большой Польше, всякие преступления челяди и смердов, даже шляхтичей и духовных лиц, состоящих на службе того или другого пана, может судить сам пан их своим

доминиальным судом при участии всего двух-трех соседей, хотя бы вопрос шел о животе и смерти. Так или нет, любезный князь?

— Так-то так, конечно...

— А этот Юшка, которого одного ведь только пока подозревают в поджоге, не простой ли ваш челядинец? Почему же вам самим не учинить над ним суда и расправы? Покойный же гайдук мой, скажу прямо, служил мне хоть и недолго, но стал мне уже так дорог, что убийце его не должно быть пощады.

— Да я же не убивал его, надежа-государь! Помилуй, я ни в чем неповинен! Сам он, дурак, в огонь без спросу полез! — слезно завопил тут стоявший поблизости между двумя стражами своими Юшка и бухнул в ноги царевичу. — Да и не стоит он ничего, государь: он обманщик, и тать, и душегуб!

— Как смеешь ты, подлый смерд, взводить напраслину богомерзкую на слугу моего верного? — вспылил Димитрий, и глаза его гневно засверкали.

— Вот те Христос, не напраслина! Ведь он кем сказался тебе? Полещуком, небось, крестьянским сыном, Михайлой Безродным?

— Да.

— А он такой же, почитай, крестьянский сын, как вон светлейший наш пан воевода: он — князь Михайло Андреич Курбский.

Шепот недоверчивого изумления пробежал по всему присутствовавшему панству.

— Мне самому сдавалось, что он благородного корени отрасль, — сказал царевич.

— Да ведаешь ли ты, надежа-государь, что бежал он из дому родительского в лес дремучий; к татям-разбойникам пристал...

— А ты-то, малый, от кого все это сведал? — перебил доносчика Димитрий. — Не сам ли тоже в разбойниках перебивал? Не от них ли доведалься? Ну, чего молчишь? Умел грешить, умей и каяться!

Юшка изменился в лице, оторопел. Но сбить его природную наглость было не так-то просто.

— Не в чем мне каяться, — отрекся он, — от товарища его одного, что летось в оковах в Вильне провозили, все сведал, с места не сойти. Да и душегубцем-то он заправским, слышь, быть не умел, трус естественный: никого-то на веку своем толком не прирезал, не

пристрелил. За то и из артели-то разбойничьей в шею вытолкали...

— Не по своей, знать, охоте попал туда, — решил царевич. — А что не трус он — это он сейчас только на деле показал: для ближнего своего голову сложил. Ты же, малый, я вижу, не только что душегубец, но и злой клеветник. Бедный гайдук мой мне теперь еще вдвое милее; а тебе, злодей, головы своей на плечах не сносить!

На защиту Юшки выступил теперь княжеский капеллан, патер Лович.

— Не смею предрешать кары, которой предлежал бы такой тяжкий кримен (преступление) по мирским законам, обратился он к старшему князю Вишневецкому, — будет ли то пренгир (позорный столб) или даже *роена colli* (смертная казнь); но почитаю своим пастырским долгом быть прелокутором (защитником) инкульпата (обвиняемого) и донести вашей светлости о выраженном им мне искреннем желании из лона схизмы перейти в латынство.

— Хошь завтра, хошь сейчас, батюшка-князь, готово креститься! — подхватил

Юшка и униженно пополз на коленях к своему светлейшему господину.

— Это, конечно, несколько меняет дело, — благосклонно сказал тот.

Младший брат Вишневецкий, князь Адам, не позволявший себе вообще, как заметил Дмитрий, возражать старшему брату, не утерпел, однако, на сей раз вставить свое слово.

— Чем же постыдное ренегатство может смягчить еще более постыдное преступление? — сказал он.

Брови князя Константина сдвинулись; но присутствие царевича заставило его сдерживать себя.

— Что для тебя, брат Адам, ренегатство, то для всякого доброго католика — обращение к единой истинной вере Христовой!

Царевич прекратил препирательство двух братьев.

— Но я все же надеюсь, — сказал он, — что будут выслушаны свидетели, которые могли бы показать что о поджоге?

— Для вас, ваше царское величество, — извольте, только для вас, — отвечал князь Константин, — но, само собою разумеется, интер-

пелляции (вызову для объяснения) не подлежат женщины, дети и вообще малоумные.

— Нет, князь, я прошу вас открыть двери суда равно для лиц обоего пола, от мала до велика, от первого шляхтича до последнего смерда, кто только пожелает подать голос.

— Но если показание кого не заслуживает доверия...

— Да какой же то суд, любезный князь, что не сможет отличить показание верное от неверного?

Никому до этого времени не было дела до двух православных пастырей. Благодаря стараниям отца Никандра и некоторых услужливых крестьян, преосвященный Паисий, наконец, открыл глаза и пришел в себя. Теперь только, казалось, отец Никандр заметил присутствие ясновельможного панства, и из последних слов Димитрия заключив, что в немто они, пастыри, найдут себе наиболее прочную опору, он громко призвал на главу царевича благословение Божие; затем с достоинством, почти с гордостью обратился к князю Константину, не то прося, не то требуя — в прегрешениях вольных и невольных его, от-

ца Никандра, простить и не оставить его совместно с преосвященным владыкой, «что мученическими подвигами себя преукрасил и облаголепил, без суда праведного и нелицеприятного».

— Брат Никандр, смирися! — слабым голосом воззвал к другу своему больной архипастырь, распростертый еще на земле, — что Господь нам судил, то и благо: да будет над нами Его святая воля!

Князь Константин не счел нужным тратить с ними лишних слов. По знаку его, были «убраны» как оба пастыря, так и Юшка. Прошло еще с четверть часа — и храм, и колокольня представляли груды пылающих развалин. Село Диево было пощажено огнем. Вызвав своему секретарю за распорядительность его полное одобрение, князь Константин повернул коня, а за ним сделали то же и брат его, и царевич, и вся их свита.

Глава двадцать четвертая

МАРУСЯ «СБРЕНДИЛА»

Панна Марина, как и все вообще обитательницы жалосцкого замка, осталась одна. Но она не ложилась, точно также не давала лечь и своим двум фрейлинам. Панна Бронислава, по ее приказу, то и дело выбегала из комнаты справляться — нет ли каких-либо вестей с пожараща и принесла одну очень важную весть: что горит православная церковь; Маруся же должна была развлекать свою панночку, которая была как в лихорадке.

— Как я счастлива, Муся, что у меня есть такая верная подруга, как ты! — говорила панна Марина, когда панна Бронислава только что снова выпорхнула вон. — Ни я тебя, ни ты меня никогда не выдашь. О нашей вчерашней прогулке мы обе, конечно, никому ни слова?

— Конечно... — замялась Маруся. — Но знаете, панночка: у меня из ума не выходит то, что нам вечер с вами довелось под мостом

услышать.

— Что мы с тобой слышали? Ничего не слышали! — запальчиво перебила ее панночка. — Лучше об этом и не думай.

— Да как же не думать-то? Помните, как старший патер говорил: «Не будет храма — не будет и проповедника». А потом обещался еще взять черта за рога...

— Какой же ты ребенок, Муся, ах, какой ребенок! Всякое слово по-своему перетолковываешь...

— А что, панночка, коли это поджог?

— Уж не патеры ли подожгли? Ты совсем, детка моя, кажется, рехнулась! Пикни-ка только при других...

— Ну, не сами хоть подожгли, подбили кого...

— Послушай, Муся, не мудри: тебе же только хуже будет. Отчего бы ни загорелась эта церковь, — коли она загорелась, стало быть, Провидению так угодно было. Противу Промысла Божия нам с тобой не идти.

— Но Промысл Божий с тем, может статья, и дал нам подслушать тот разговор, чтобы мы уличили поджигателей?

Тут в горницу вихрем влетела панна Гижигинская и в неопisanном волнении всплеснула руками.

— Нет! Кому бы это могло в голову прийти!

— Что такое? — в один голос спросили обе другие девушки.

— Ведь гайдук-то царевича — не простого рода, а родовитый русский князь Курбский!

— Я это чуяла! — вырвалось у Маруси, и все лицо ее так и залило румянцем.

— Но его уже нет!

— Как нет?

— В живых нет: он сторел только что...

Маруся так же мгновенно побледнела, помертвела. Панна Бронислава принадлежала к тем нередким, к сожалению, особам своего пола, которым нет высшего удовольствия, как разносить по свету животрепещущие новости, особенно же о чужой беде. Эпизод погребения молодого русского красавца-князя под пылающими обломками церкви в ее красноречивых устах вышел, разумеется, несравненно живописнее, чем сумели мы передать его в нашем простом повествовании.

— Нет... нет... Этого быть не может! — вне-

запно зазвеневшим голосом вскричала Маруся.

Теперь только панна Марина обернулась к ней: молодая наперсница ее стояла, как каменное изваяние, ни жива, ни мертва, прильнясь к высокой, резной спинке стула; только глаза ее, дико и испуганно расширенные, блуждали кругом.

— Что с тобою, деточка? — встревожилась панна Марина. — Чего не может быть?

— Чтобы он погиб... Он жив, он должен был спастись!

— Да ведь ты же слышишь, что вся церковь была уж в огне, что ему выхода из нее не было?

— А все-таки... О, Господи! Да как же после этого верить? — лепетала вне себя Маруся, и крупные слезы катились по ее щекам.

Панна Бронислава таинственно наклонилась к уху своей госпожи. Та кивнула головой.

— Да! Пожалуй, что так... Ну, голубочко, серденько мое, что же делать, что делать! — пыталась она утешить плачущую. — Ведь коли он, точно, был княжеского рода, то тебе,

купеческой дочери, он все равно не был бы уже парой. Бронислава, расскажи-ка ей еще раз, как было дело: чтобы не надеялась еще попусту.

Панна Гижигинская недала повторять себе приказания, и рассказ ее на этот раз вышел еще, может быть, картиннее, закругленнее. Миловидное по-прежнему, но страдальческое и бледное теперь как полотно личико Маруси опускалось все ниже.

— А коли так, — воскликнула она, и во взоре ее сверкнула отчаянная решимость, — коли так, то мне молчать уже никто не запретит! Пусть весь свет знает, кто замыслил поджог, пусть они же, убийцы его, казнятся, отвечают за него головами!

— Ты, Муся, в самом деле с ума сошла! — резко уже и повелительно заметила панна Марина. — Ты будешь молчать...

— Не буду я молчать!

— Что?! Я тебя к себе приблизила; но чуть только ты слово скажешь, как все между нами с тобой навсегда кончено!

— И пускай! — с не меньшим уже задором отозвалась Маруся. — Ежели вы, пани, заодно

с поджигателями и убийцами, ежели они вам дороже меня, то вы для меня совсем уже чужая, и я вас знать не хочу! Завтра же ноги моей здесь не будет; но допрежь того я все, все выложу начистоту, и молчать не буду, не буду, не буду!

Биркинское упрямство сказалось с такою силой, что порвало неразрывную, по-видимому, девичью дружбу разом и бесповоротно. Упрямство Маруси, однако, на сей раз ни к чему ей не послужило. Едва только удалилась она в свою комнатку, чтобы собрать свои пожитки, как следовавшая за нею по пятам панночка ее замкнула там на ключ, после чего отрядила панну Брониславу к патеру Сераковскому. Тот, узнав в чем дело, не преминул в свою очередь послать за расторопным княжеским секретарем и возложил на него довольно щекотливую миссию — не медля, среди ночи еще, под благовидным предлогом выпроводить из Жалосц обоих Биркиных: дядю и племянницу, чтобы к утру их и духу не было.

Начало вызванной пожаром кутерьмы Степан Маркович Биркин и верный телохра-

нитель его Данило Дударь проспали сном праведных. Только когда с возвращением панов возобновился на дворе прежний гам и шум, Биркин пробудился, растолкал запорожца и велел ему узнать о причине суматохи. Дворовая челядь очень охотно, во всей подробности и с надлежащими комментариями, удовлетворила их любопытство; так что, когда пан Бучинский вошел к Биркину, тот прямо встретил входящего вопросом:

— Ужели же это правда, господин честной? Верить не хочется! Этот бравый молодец, красавец писаный, Михайло, или князь Курбский, что ли, каким он теперича объявился, так-таки и сторел, и праху его не осталось?

— И сам бы не поверил, кабы своими очами не видел, — с соболезнающим видом отозвался княжеский секретарь. — Но то-то и горе, что беда редко одна идет...

— Уж не без того-с, сударь, — подтвердил Степан Маркович, — едет беда на беде, беду бедой погоняет. А что же еще такое, смею спросить, приключилось.

Пан Бучинский тихо вздохнул.

— Покамест еще не приключилось, но лег-

ко может статья. Ведь эта фрейлина Сендомирской панночки, панна Мария Биркина, вам, почтеннейший, никак племянницей доводится?

— Племянницей. А что с нею?

— Да извольте видеть... пожара этого, что ли, она так испугалась, или же... Не хотелось бы мне, признаться, выговаривать...

Пан Бучинский сострадательно потупил глаза и замолк.

— Договаривайте, сударь! — в серьезном уже беспокойстве приступил к нему дядя Марусин. — Ради Бога, что с нею?

— Вы сами требуете. Этот покойный князь Курбский (царство ему небесное!) как будто вкрался вдо-верие и в самое сердце панны Марии... Как узнала она тут про его внезапную кончину, бедняжку как молотом в голову ударило; ибо теперь (не смею скрыть уже от вас) она бредит, беснуется как полоумная...

— Господи помилуй!

Степан Маркович набожно осенил себя крестом.

— Представилось ей вдруг, что чуть ли не все тут в замке в тайном заговоре противу

нее, — продолжал прежним грустно-сочувственным тоном пан Бучинский, — представилося, будто сама она день-два назад, в полночь, ходила на кладбище и по пути, спрятавшись под мостиком, подслушала разговор поджигателей церкви...

— Ну, это и точно на умопомешательство похоже! Совсем сбрендила девка! — воскликнул Биркини в волнении и зашагал по горнице.

— И добро бы еще о себе одной бы говорила; а то, сами посудите, ведь и ясновельможную панночку свою к делу припутала: уверяет, будто и та ходила с нею вместе на погост...

Биркин на ходу остановился.

— Вот что! А та что же?

— Панна Марина, конечно, говорит только то, что на самом деле было: что обе они никогда ночью и думать не думали отлучаться из замка. Но примите, почтеннейший, в рассуждение: каково-то положение нашей дорогой гостыи, дочери воеводы Мнишка и родной сестры княгини Вишневецкой Урсулы! Что говору-то про нее будет по всему воеводству! И все ведь из-за чего? Из-за помешательства ва-

шей племянницы. Поэтому вот вам, не во гнев, дружеский совет мой: ни часу не откладывая, теперь же увезти ее восвояси. И для нее-то, и для панночки ее будет куда спокойней.

— Оно точно... Ох, уж с этим бабьем — наказанье Божие! Не было печали... Что же, Данило, ведь, кажись, и впрямь-то нечего нам делать, как поворачивать оглобли?

Особенная ли вдруг заботливость о дальнейшей судьбе православия в крае, или же неохота так скоро «поворотить оглобли» от жирных княжеских харчей было причиною, что более в данном случае хладнокровный запорожец взглянул на дело гораздо прямее и трезвее.

— А почему знать нам с тобой, Степан Маркыч, — возразил он, — так ли, иначе ли было дело? А ну, как племянница твоя и вправду-то знает поджигателей, а мы увезем ее и, стало быть, сами же скроем злодеев?

Степан Маркович еще пуще насупился и почесал в затылке.

— Беда суцая! И то, ведь, на совесть свою этакый грех взять...

— Так позвольте же, почтеннейший, предварить вас еще вот о чем, — заговорил тут уже действительно-деловым тоном пан Бучинский, — разбираться дело будет вероятно завтра же в здешнем доминиальном суде, под руководством самого нашего светлейшего князя-воеводы. Что его светлость будет, как всегда, беспристрастен и терпеливо выслушает вашу племянницу — ни минуты я, конечно, не сомневаюсь. Будут ли показания ее иметь надлежащую силу или нет — другое дело; этого ни вы, ни я вперед не знаем. Но что несомненно — это то, что подозреваемый поджигатель, в случае обвинительного приговора, обжалует решение доминиального суда коронному трибуналу в Люблине; а тогда, вместе с ним, будут вызваны в Люблин все свидетели, в том числе, разумеется, и племянница ваша...

— Вот на! А без этого не обойтись?

— Отнюдь. Без конфронтования (очная ставка) какой же суд? Судебные же разбирательства в нашем коронном трибунале, надо вам знать, производятся обстоятельно, но потому самому тянутся иной раз месяцы, а то и

годы. Вестимо, что пока разбирательство не кончено, панну Марию из Люблина уже не выпустят... А случись так, что коронный суд признает поджог недоказанным, и кверелу (жалобу) панны Марии недобросовестною, так ей самой, пожалуй, «куны» не миновать.

— «Куны?» Это что же такое?

— «Куна» — столб с железным обручем, который надевается на шею инкульпата.

— Всенародно?!

— А-то как же? Столб на помосте перед самым костелом...

Заключительный аргумент княжеского секретаря разом прекратил колебание осторожного коммерсанта.

— Это уж последнее дело! — в ужасе воскликнул он. — Пойти, в самом деле, потолковать сейчас с Машей... Авось, опомнится, утихомирится...

— И толковать вам с нею, право же, не к чему. Разве от молодой девицы, да еще обуянной горем и страстью, можно ожидать толку? Забрать ее без дальних разговоров — и все тут!

— Забрать — и все тут! — согласился Бир-

кин. — Спасибо вам, господин честной, на добром совете! А ты, Данилко, ступай-ка живо да коней обряди.

Было уже за полночь, и из целого ряда окон жалосцского замка в одном единственном только окошке брезжил еще запоздалый свет. То было окошко княжеского секретаря, пана Бучинского, заносившего в памятную книжку текущие заметки.

Вдруг до слуха его долетел какой-то необычайный в ночную пору шум из соседнего коридора. Пан Бучинский накинул на себя чамарку (сюртук в персидском вкусе, застегивавшийся под шеей и носившийся под жупаном), схватил со стола светильник и вышел в коридор.

— Сам Бог посылает мне вас, пане! — воззвала к нему в слезах Маруся, насильно увлекаемая за руки своим дядей и двумя сажеными гайдуками. — Разбудите царевича!

— Рад бы всей душой, пани, — отвечал со всегдашнею своею готовностью любезный княжеский секретарь. — Но мое подначальное положение...

— Ну, сделайте мне такую Божескую ми-

лость! У меня есть до него просьба, которую он один только может исполнить!

— Простите, но будить его ночью я своей властью не смею. Не могу ли я сам для вас что-нибудь сделать?

— Ах, да, вы такой добрый ведь человек... Вы были тоже на этом пожаре, где сгорел будто бы...

— Гайдук царевича, или, вернее сказать, молодой князь русский? Сгорел, увы! В этом не может быть сомнения.

— Вы и все говорят, что он сгорел, — прервала снова Маруся, — но он жив, он должен быть жив! Обещаетесь ли вы мне разыскать его — разыскать хоть под золою на пожарище?

— Ежели бы я и разыскал его там, то как же ему еще живу быть?

— Живым ли, мертвым ли разыщите — отпишите мне о том тотчас в Лубны. Обещаетесь?

— Все, что в моих силах, я сделаю, милая пани.

— Я верю вам... Благослови вас Бог, добрый пане!

«Как есть сбрендила девка!» — мысленно повторял про себя Степан Маркович, уразумевший общий смысл их полупольского, полумалорусского разговора, и был очень рад, когда усадил наконец племянницу в свою фуру и вывез ее за ворота княжеского замка, за которыми не угрожала уже ей позорная «куна».

Глава двадцать пятая

СУД СТРОГИЙ И НЕУМЫТНЫЙ

Княжеский «доминиальный» суд над поджигателем должен был состояться на следующее же утро после пожара, благо в Жалосцах ночевали двое из ближайших соседей Вишневецких, явившиеся на поклон к царевичу: теперь, в качестве ассистентов, они должны были участвовать в заседании домашнего уголовного суда. Но уже в восемь часов утра по замку разнеслась весть, что инкульпат, заключенный в нижнем жилье одной из «веж», бежал — бежал вместе с представленными к нему стражами.

Князь Константин объявил было, что к ро-

зыску скрывшихся будут немедленно приняты надлежащие меры, впредь же до их поимки судебное производство будет приостановлено. Но князь Адам решительно восстал против такой проволочки суда и настаивал на том, чтобы возмутительное преступление против дорогой ему восточной церкви было самым тщательным образом расследовано теперь же, пока обстоятельства дела еще свежи в памяти у каждого. Царевич Димитрий, все еще не примирившийся с мыслью о потере своего гайдука, довольно сочувственно поддерживал требование князя Адама.

Тут князь Константин заявил, что сам он, как католик, не находит достаточного повода преследовать поджигателя (буде был таковой): а так как обвинителем в доминиальном суде может являться только потерпевший, то обвинение падает само собою. Тогда потерпевшим, вместе со всеми православными в Малой Польше от поругания родной святыни, речником (адвокатом) оной и обвинителем святотатства выступил уже князь Адам, требуя осуждения виновного заочно: по польскому уголовному кодексу, в случае неизвестно-

сти местопребывания преступника, заочные решения допускались. Князю Константину, чтобы показать себя беспристрастным, ничего не оставалось, как нарядить заочный суд. Ровно в десять часов утра открылось заседание суда.

Хотя судебная зала в Жалосцах была предназначена исключительно для доминиального суда, но князь Константин устроил судилище свое по точному образцу, только в уменьшенном виде, такой же залы Люблинского трибунала. Против входных дверей, между высоких готических окон с цветными стеклами в оловянной оправе, висел, в богатой золотой раме, портрет, масляными красками, царствующего короля польского Сигизмунда III во весь рост. Под портретом, на амвоне в три ступени, стоял полукругом покрытый красным сукном стол. По ту сторону стола было поставлено несколько высоких кресел, крытых пунцовым аксамитом (бархат) с золотыми бурдалонами (позументами) и кистями. Против срединного кресла президента-воеводы виднелись большое серебряное распятие, экземпляр Статуса польского и воеводский

жезл. С левого краю к самому амвону был приставлен небольшой пюпитр для докладчика-секретаря: на пюпитре возвышался крест с надписью: «Judicia vestra judicabo». С правой стороны, несколько подалее от амвона, была скамья подсудимых. Часть залы, предназначенная для суда, была отгорожена деревянной решеткой, около которой было еще несколько скамеек для свидетелей. Вне решетки по стенам были поставлены для «благородной» публики мягкие диваны, обитые красной материей.

Царевичу, как особенно почетному гостю, князь-президент, уже из приличия, предложил место в числе судей. По-видимому, он рассчитывал, что тот, не будучи близко знаком с порядком местного судопроизводства, откажется от предложенной чести; но царевич ее принял. Тогда в виде противовеса, Вишневецкий пригласил еще второго почетного ассистента — патера Сераковского. Таким образом, в состав суда вошли пять лиц: князь-президент, два постоянные члена и два почетные.

Князь Адам, взявший на себя роль «речни-

ка», поместился около судейского стола и отказался даже от услужливо придвинутого ему возным (судейский пристав) кресла. Молодцевато опершись на свою могучую турецкую саблю, он стоял с необычным для него мрачным видом и нервно подергивал и покусывал свои, длиною в добрых поллоктя, усы.

Скамья подсудимых оставалась пустою. Зато диваны по стенам были сплошь заняты привилегированными зрителями: придворными и приживальщиками обоих братьев Вишневецких. «Черной» публики не было ни души.

После краткой молитвы капеллана, выслушанной всеми стоя, пан Бучинский, исполнявший обязанности докладчика-секретаря, бесстрастным, неизменно-приятным голосом прочел протокол о том, как инкульпат, Юрий Петровский, aliter Юшка, был схвачен несколькими из диевских поселян на месте пожара и заподозрен ими в поджоге церкви. Акт был снабжен всеми судейскими выкрутасами и латинскими терминами, считавшимися необходимою прикрасой тогдашнего судопроизводства. Для непосвященного в тонко-

сти судебного языка такое изложение значительно затрудняло самое понимание дела. Но надо отдать справедливость молодому княжескому секретарю, что, при всем том, изложение его было вполне удобопонятно, а в то же время и крайне осмотрительно, сдержанно: ни слова неуместного или лишнего. Все присутствующие с затаенным вниманием выслушали протокол до конца.

— Пане возный, — отнесся князь-президент к судебному приставу, — введите свидетелей.

Свидетелями оказались двое православных пастырей: епископ Паисий и отец Никандр; и три диевские парубка, схватившие Юшку на пожаре.

Преосвященный был внесен на носилках; голова его была перевязана; в лице его не было ни кровинки, но взор был спокоен и светел; каким-то святым смирением веяло от его страдальчески изможденного лица.

Совершенную противоположность ему представлял отец Никандр. Всю ночь, должно быть, проволновавшись и не сомкнув глаз, он был в сильном нервном возбуждении и с ка-

ким-то диким ожесточением, почти с озлоблением водил кругом воспаленным взором.

Парубки переминались с ноги на ногу и поглядывали на судей исподлобья, с запуганными лицами.

— Свидетелям предстояло бы теперь *juramentum* (присяга), — заговорил князь Константин, — трем смердам — *juramentum corporale* (присяга телесная, то есть с коленопреклонением), двум священнослужителям — *juramentum pectorale* (с приложением руки к груди); но все они — православного закона; а священников этого закона, неприкосновенных к делу, в крае нет. Поэтому обойдемся без присяги. Но предваряю вас, свидетели, что вы должны показывать все по чистой совести.

— Слышите ли, дети мои: по чистой совести! — с одушевлением подхватил отец Никандр, выступая вперед к трем диевским свидетелям. — «А ще кто отвержется Мене пред человеки, — глаголет сам Господь наш Иисус Христос, — отвержуся и Аз его пред Отцом моим небесным». А дабы вы тверже памятовали сии слова Спасителя, целуйте на том святой

крест Его.

Он обернулся к епископу Паисию, который стал снимать висевший на груди у него тяжелый золотой крест. Но князь-президент повелительным мановением руки остановил обоих и наотрез объявил, что ввиду подсудности самого епископа, принадлежащий ему крест не может уже иметь на суде законной силы; буде же свидетели желают быть допущены к крестному целованию, то могут приложиться к «пекторалю» (католический наперсный крест) ксендза-капеллана. Этому, однако, воспротивились в свою очередь как отец Никандр, так и младший Вишневецкий.

Председатель приступил к допросу. Вызвав вперед трех парубков, он предложил им по очереди рассказать все, что им знамо и ведомо о поджоге.

— Ничего как есть не знаем, ваша княжеская милость, ничего не ведаем! — единодушно загалдели все трое, земно кланяясь своему светлейшему господину.

— Так зачем же вы схватили на пожаре Юрия Петровского?

— Виноваты, князь-государь, помилуй нас!

— Аль пьяны были?

— Пьяны, батьку, пьянехоньки!

— До беспамятства?

— До беспамятства, батьку! Сами не ведаем, что творили. Не вели казнить, вели милловать!

— А много ль вам, христопродавцы окаянные, за лжесвидетельства ваше посулили, или чем вам пригрозили? — неожиданно подал вдруг голос князь Адам.

Старший Вишневецкий вспыхнул и сделал забывшемуся брату строгое внушение; затем отдал приказание отвести трех пьяниц на конюшню и «отсыпать им по полусотне».

— Спасибо тебе, князь-государь, на милостивом слове! — в один голос опять закричали те, видимо довольные, что так дешево отделались, и поспешили выбраться за двери.

Теперь настала очередь двух пастырей. Отец Никандр, как прирожденный оратор, был многословен и велеречив. Но он горячился и повторялся; а так как притом же на пожар он прибыл уже после поимки Юшки, то собственно от себя не прибавил ничего существенного к тому, что и без того было извест-

но о пожаре из протокола. Председателю не раз приходилось останавливать расходившегося старца.

Речь епископа Паисия была гораздо короче, толковее и содержательнее. По словам его, укрытый в алтаре храма, он ночью был разбужен необычным треском, — как оказалось, от загоревшихся церковных стропил. Сквозь царские врата к нему падал уже яркий свет от быстро распространявшегося пламени. Он понял, что храм обречен огню и что самому ему грозит в нем неминуемая гибель. Ступни ног его, однако, были еще в таких язвах, что он и помыслить не смел ступить на них. И вот он пополз на руках, волоча за собою изъязвленные ноги, к вратам царским. Но тут врата разом растворились: перед ним стоял какой-то чернявый малый с дарохранительницей в руках. Увидев на полу перед собой человека, живого очевидца содеянного святотатства, поджигатель в страхе было отпрянул; но затем решил в помраченном своем разуме смертоубийством отделаться от свидетеля и занес на беспомощного старца руку. Что дальше было — преосвященный не помнил: нане-

сенный ему Юшкой в голову дарохранительницей удар лишил его памяти. Кто его вынес из пламени — он не ведал; слышал он только от других, что спас его добрый молодец, который сам тотчас поплатился за то жизнью. Очнулся он, владыка, только на воздухе, когда поджигатель был уже задержан.

— Записали, пане секретарь? — спросил князь Константин, когда епископ Паисий на этом закончил свои показания.

— Записал.

— Согласно выраженному его царским величеством желанию, — возгласил президент, — к даче показаний призваны были паном возным все желающие. Таковых, однако, кроме выслушанных, никого не явилось. Объявляю судебное следствие конченным. Слово за паном речником.

«Пан речник», младший Вишневецкий, выступил вперед и, вскинув на судей вызывающий взгляд, заговорил:

— Милостивые панове судьи! Человек я ратный; место мне в ратном поле и разводить долгие речи не мое дело. Был храм Божий; нету храма. Что же случилось с ним? Он сто-

рел — сторел не от искры небесной: грозы не было в помине; не от шальной искры: некому было заходить туда в ночь глухую. Стало быть, храм подожжен преступною рукою. Все вы, панове судьи, были на пожарище; все, конечно, слышали, что говорилось там народом. Глас народа — глас Божий: из окна церковного, на виду у всех, выпрыгнул человек с награбленным церковным добром; а преосвященный владыка веноцкий видел человека этого и в самом храме. Кому ж, как не ему, было и подпалить храм? Здесь, на суде, правда, мы слышали сейчас другое: те самые люди, что задержали святотатца на месте преступления, теперь от всего отреклись. Почему отреклись? Не станем разбирать. Бог им да будет на том свете судиею! Но коли совесть инкульпата была бы чиста — зачем бы ему было бежать из-под стражи? Убоялся, знать, не снести головы буйной на плечах. Но вы, панове судьи, не попустите такого наглого надругания над народной святыней, вы признаете злодея виновным в злостном поджоге и изречете над ним заочно, без всякой пощады, смертную казнь; бессовестных же стражей

его, утекших вместе с ним, осудите к вечной инфамии (заочное изгнание из края, с лишением всех гражданских прав).

Небольшая, бесхитростная, но вразумительная речь светлейшего «речника» произвела на присутствующую публику заметное впечатление. Значительное большинство, правда, исповедывало римскую веру и втайне не только не было возмущено поджогом православного храма, а скорее даже сочувствовало поджигателю. Тем не менее факт поджога был, по-видимому, доказан; в личности поджигателя нельзя было, казалось, сомневаться, и поджог все-таки оставался поджогом, уголовным преступлением. Как-то отнесутся к делу судьи, из числа которых один только русский царевич Димитрий открыто признает схизму?..

Пять судей за красным столом тихонько совещались между собою. Не сводя с них взора, многочисленные зрители также без умолку перешептывались с ближайшими соседями, стараясь предугадать приговор суда.

— Оправдают! Ну, понятное дело, оправдают! Кому, кроме разве этого царевича, охота

осуждать человека за такую вину, которую скорее можно поставить ему в заслугу? Да и кто же, наконец, видел, как он поджигал?

— Нет, нет, глядите-ка: не один царевич князю возражает — возражает вон и патер Сераковский, да как еще убежденно, как горячо! Что это с ним, право?

Ожидание публики было напряжено до крайней степени: между судьями, очевидно, произошел серьезный раскол. Но вот, красноречие иезуита, должно быть, одерживает верх: остальные судьи внимательно слушают его, кивают уже головою, и князь-президент, с нахмуренным челом, макает в чернильницу большое лебяжье перо, чтобы начертать резолюцию суда.

Кругом воцарилось гробовое молчание. Один скрип председательского пера прерывал мертвую тишину. Дописав резолюцию, князь Константин тихонько прочитал ее еще раз своим сочленам, после чего, вместе с ними, приподнялся с сиденья. Все присутствующие шумно сорвались также со своих мест и стоя выслушали приговор, начинавшийся словами:

«Году 1603, месяца июля 22 дня. Я, князь Константин Вишневецкий, воевода русский, а при мне его царская милость царевич московский Дмитрий Иоаннович, патер ордена бернардинов Николай Сераковский, пан Флориан Рымша и пан Ярош Станишевский, смотрели дело о холопе моем Юрие Петровском, aliter Юшка, заочно обвиняемом в подпале церкви христианской закона стародавнего греческого в Диеве, жалосцского пове-та».

После краткого изложения обстоятельств дела, следовала резолюция суда:

«Ино мы, выслухавши тех очевидцев и речника, за злонамеренный подпал оной церкви, холопа Юрия Петровского, aliter Юшку, на вечную инфамию заочно присудили, ознаймуя всем вообще и каждому в особину, чтобы того запалача и вора, под винами, в праве посполитом описанными, в домах своих ховать не важилися; утекших же купно с ним холопей: Панька Верещакка и Марка Корыта, за самовольный побег, на гнев и милость полномочного

пана их, князя Константина Вишневецкого, предали. Что все для памяти до книг головных жалосцского домициального суда есть записано».

Большинство публики, уверенное в оправдательном приговоре, было положительно озадачено, разочаровано. Но заметив давеча, что самым ярким оппонентом председательствующего был представитель римского духовенства, патер Сераковский, и догадываясь поэтому, что обвинение последовало именно по особенному настоянию последнего, никто не решился заявить вслух своего неудовольствия. Сам князь Адам преклонил голову перед судьями и отдал им справедливость.

— Суд был милостивее, — сказал он, — чем был бы он, может статься, при поджоге латинского костела; но для суда иноверческого, надо признать, то был суд строгий и неумытный.

— А что же храм-то мой? — слышался растерянный голос отца Никандра, стоявшего по-прежнему около распростертого на носилках епископа Паисия.

— И то правда, — подхватил младший

Вишневецкий, обращаясь к брату, — сгоревший храм будет, конечно, опять восстановлен?

Тот переглянулся с иезуитом, обвел окружающих властным взглядом и холодно, внятно отчеканил:

— Храм будет восстановлен; но храм уже не восточной церкви, а униатский. Господь попустил сгореть последнему в крае православному храму: не явный ли то перст Божий, что восточная церковь у нас Всевышнему уже неужодна?

— *Vivat Iesus, vivat Maria!* — воскликнул пater Сераковский, и ликования всех присутствующих приверженцев латинства слились с его восторженным возгласом. Толпа придворных хлынула через открытую возным решетку к амвону и с льстивыми поздравлениями окружила сходявшего князя-президента.

Князь Адам протискался вперед и готов был еще протестовать; но на плечо ему легла дружеская рука, у самого уха его раздался тихий, успокоительный голос.

— Полноте, любезный князь: и то ведь мы с вами можем быть благодарны.

Он нервно обернулся и увидел около себя царевича.

— Благодарны, ваше величество? Кому? За что?

— Между нами сказать, патеру Сераковскому, — еще тише отвечал царевич, отводя князя в сторону. — А за что? За то, что без него, могу вам прямо засвидетельствовать, поджигатель, наверное, не был бы осужден; без него же храм был бы восстановлен не униатский, а католический.

Князь Адам с горечью сомнительно усмехнулся.

— А ваше величество думаете, что он сделал то и другое не из тонкого расчета?

— Какой же ему мог быть расчет?

— Оправдай вы святотатца, здешние смерды и челядь православного закона, чего доброго, возроптали бы, возмутились бы против своего князя; а того негодяя Юшку чего им обоим особенно жалеть-то? Что же до храма, то построй брат мой сразу католический костел, ни один из людей его, пожалуй, не пошел бы туда. А так этот патер добьется-таки своего, по пословице: тише едешь — дальше

будешь. Вон, смотрите-ка, смотрите: к врагам же своим подошел первый, чтобы явить свое истинно христианское смирение и благочестие.

Патер Сераковский, точно, приблизился к двум православным пастырям и медовым голосом своим старался примирить их с мыслью о постройке, вместо православного, униатского храма, объясняя, что «всякая пташка по-своему Бога хвалит, и униатские иереи такие же пастухи, как и православные, в винограднике Божиим».

— Пастухи, да! Но такие ль? — запальчиво подхватил отец Никандр, до глубины души, как видно, возмущенный предполагаемым упразднением его православного прихода и не считавший уже нужным взвешивать свои слова. — Сам Господь наш глаголет: «Мнози пастухи погубиша виноградник мой». Пастухи — книжники, а виноград — вера; сколько же в вере погибают лихими пастухами, особенно же вашею братнею — красноглагольниками, человекоугодниками, волками в шкуре овечьей!

Столь предусмотрительный всегда патер

раскаивался уже вероятно в том, что в тонкой тактике своей зашел слишком далеко, протянув руку погубленному им «коллеге», который не умел оценить такой чести. Лицо иезуита на миг побледнело, губы сжались, глаза прищурились и приняла, может быть против его воли, презрительное, почти враждебное выражение. Но он, как всегда, сдержался и, не ответив обидчику своему ни словом, с достоинством отвернулся.

Зато светлейший князь-воевода, выходявший в это время за решетку и услышавший мимоходом последние слова раззадоренного попа, не дал в обиду своего краковского гостя. Попросив у последнего извинения за причиненное ему под кровлей его оскорбление, он обратился сурово к отцу Никандру со словами:

— Кто волк, кто овца тут, честный отче, — судить не нам: рассудят это в Кракове!

— О, я-то ему от всей души прощаю, — великодушно объявил патер Сераковский с ласковым видом. — Меня, ваша светлость, оставьте в стороне...

— Будь так. Но за укрывательство беглого

епископа он подлежит строжайшему суду, и оба они, беглец и укрыватель, ныне же будут отправлены к королю в Краков.

Вечером того же дня в жалосцском замке был устроен роскошный банкет, а затем и танцы. Никому из пирующих не было уже дела до одинокой закрытой фуры, которая во время банкета под усиленным конвоем выехала за ворота замка и повернула на Краков.

Глаза двадцать шестая **ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА**

Предчувствие не обмануло Маруси Биркиной: гайдук царевича не погиб в горячей церкви. Когда он сдал только что в окошко бесчувственного епископа Паисия на руки подбежавшим парубкам, и вслед затем обрушившиеся сверху пылающие балки загородили самому ему выход, он соскочил с подставленного к окошку аналоя назад в церковь. Благодаря только тому, что он дал окатить себя перед тем водою, волосы и платье на нем еще не загорелись, хотя и дымились. Весь храм кругом был уже охвачен пламенем, и

жар стоял такой палящий, что дух захватывало, голова кружилась. Смерть казалась решительно неизбежной.

Вдруг под ступней молодого человека подалась каменная плита. То была одна из надгробных плит, которыми была выложена середина церковного пола. Михайло — или, вернее сказать теперь, Курбский — вспомнил, что здесь, в церкви же, как слышал он как-то за княжеским столом, были похоронены предки князей Вишневецких. Стало быть, тут, под полом, был фамильный склеп их.

Выбора не было. Мигом, со всем напряжением своих молодых богатырских сил, он приподнял тяжеловесную плиту и соскользнул в зиявшую под нею темную яму. Плита, как гробовая доска, захлопнулась над ним, а сам он, ударившись довольно чувствительно коленом и локтем о крышку стоявшего внизу гроба, отделался только ушибами. Вокруг царствовал непроглядный мрак, и после одуряющей, жгущей духоты вверху, Курбский с жадностью впивал в себя прохладную, хотя и затхлую сырость подземелья.

Надо было поискать лазу: не было ли воз-

возможности выбраться на свободу? Подземные ходы были нередкостью в таких старинных зданиях.

Курбский ощупью стал пробираться в темноте от гроба к гробу. Вот и конец — каменная стена. Вдоль стены он обошел кругом все подземелье: везде один и тот же плотный камень; фамильный склеп отовсюду крепко замуравлен.

Что делать? Коли Господь судил ему быть заживо погребенным — на то Его святая воля! Меньше жить — меньше грешить... А там, в вышине, ненасытное адское пламя глухо грохочет...

Минуты тянулись Курбскому часами, часы — днями. Сколько часов, сколько, может быть, дней и ночей провел он живым мертвецом — он даже приблизительно не мог бы сказать. Что передумал он за это время, что почувствовал — об этом он еще менее мог бы дать себе определенный отчет. Впоследствии он помнил только, что сначала крепился, не хотел сам себе сознаться в том, что надежды на избавление у него очень мало. Чувство голода отрезвило его от самообольще-

ния: если бы даже каменные плиты над головой его выдержали тяжесть обломков храма, то ему все же предстояла здесь медленная голодная смерть. На него напало тупое отчаяние. Забившись в крайний угол подземелья, он со стиснутыми зубами, с сжатыми кулаками выносил мучения все усиливавшегося голода и ждал неизбежного конца.

По подземелью стал распространяться также едкий запах гари. А что, если часть церкви уже обрушилась и можно выбраться из нее? А то все равно ведь один конец — так или иначе погибнуть...

С обновленной энергией вскочил он на ноги, взобрался на тот самый гроб, над которым была плита, послужившая ему подъемной дверью в склеп, и попытался поднять плиту.

Но плита находилась так высоко над ним, что он едва-едва мог достать до нее рукою; да сверху на нее навалила, конечно, еще гряда обломков... Несмотря на все его усилия, плита не шевельнулась.

Молодой человек не сошел, а скатился с гроба наземь. Безумная ярость отуманила вдруг его мозг, и, как дикий тур, очутившийся

неожиданно в неволе, он намеренно ударился головой о стену, точно рассчитывая пробить каменную стену насквозь. Ударился он с размаха так сильно, что свет у него, как говорится, из очей выкатился.

Для него так, пожалуй, было и лучше: вполне он не приходил уже в себя. Как сквозь сон ощущал он только по временам глухую головную боль; чувствовал все сильнее запах гари; потом снова впал в полное забытие...

В старинных семейных склепах для постоянного притока свежего воздуха имелись, как известно, небольшие отдушины, проходившие через фундамент здания наружу. Такою же отдушиной был снабжен и склеп Вишневецких. Хотя она была отчасти засорена, но все же, благодаря ей, Курбский не задохнулся окончательно в душном подземелье.

Вдруг лицо его обвеяло ветром и прохладой. Он вздохнул полной грудью и открыл глаза.

Лежал он на спине под открытым небом на скате холма, где так недавно еще стояла сторевшая теперь церковь, а над ним самим участливо наклонилось знакомое лицо моло-

дого княжеского секретаря, раздался его голос:

— Пробудился! Хвала Богу и Пречистой Деве! Курбский сделал усилие, чтобы приподняться, но голова его закружилась, и он должен был опуститься на землю.

— Лежите, князь, лежите! — говорил пан Бучинский, суетясь около него. — Эй, хлопцы, вина сюда!

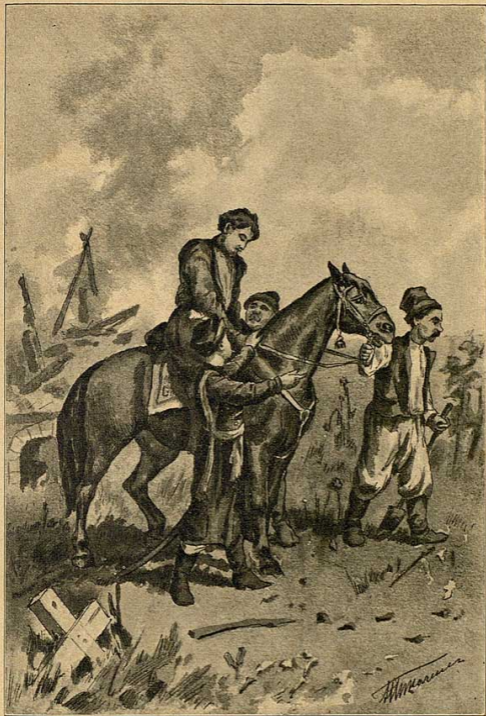
Глоток-другой старого вина произвел чудотворное действие. Пять минут спустя Курбский мог уже, хотя и при чужой помощи, сесть на подведенного ему коня. Пан Бучинский ехал с ним рядом и, держа руку на холке его лошади, дружелюбно поглядывал на него.

— Как я счастлив, князь, что мне суждено было возвратить вас к жизни! — говорил он.

— Почему вы, ясновельможный пане, называете меня все князем? — заметил Курбский, тщетно стараясь скрыть свое смущение. — Я — простой гайдук...

— Да, вы были гайдуком, но, как феникс из пепла, восстали теперь князем Курбским.

— Вы ошибаетесь, уверяю вас... Кто сказал вам?.. Верно, этот Юшка?



Курбский могъ уже, хотя и при чужой помощи, сѣсть на коня.

— Да, он.

— Так это неправда, это ложь.

— Ложь? Но и сам царевич ваш считает вас теперь князем.

— Мне очень жаль, право, что этот Юшка ввел в обман и царевича, и всех вас, пане, но прошу вас считать меня тем, чем я был доселе...

— Гайдуком? — недоверчиво промолвил пан Бучинский. — Впрочем, увидим, что скажет его царское величество. Покамест же позвольте от всей души поздравить вас с воскресением из мертвых! Ведь, знаете ли, что вы пролежали в земле мертвец мертвецом ни более, ни менее как трое суток, и без некоей панны Биркиной никогда бы не увидали уже света Божьего.

Бледные щеки молодого князя заалелись.

— Как так?

— А вот послушайте.

С обычною сжатостью и толковостью княжеский секретарь передал все главное, что было после пожара. Горькая участь двух православных пастырей настолько поразила Курбского, что весть об отъезде Маруси Бир-

киной вызвала у него только подавленный вздох.

— Сейчас же как прибудем в замок, сажусь за стол и пишу к ней, — заключил свое повествование рассказчик.

— Это зачем? — всполошился Курбский.

— Как зачем! Она слово с меня взяла тотчас отписать ей, если отыщу вас живым или мертвым.

— Хорошо; так напишите ей, что вы нашли одни мои кости.

— Но ведь вы же, слава Богу, живы?

— Жив, но не для нее: для нее я умер.

— Ничего, право, в толк не возьму!

— Больше ничего не могу сказать вам. Оставьте панну Биркину, пожалуйста, в покое! Вам же, пане, еще раз скажу самое теплое спасибо; и для меня, поверьте, не будет большего удовольствия, как точно также спасти когда-либо и вас от такой опасности.

— А мне — доставить вам к тому случай, — был любезный ответ.

Глава двадцать седьмая

ИСПОВЕДЬ КУРБСКОГО

Царевич принял своего восставшего из мертвых гайдука буквально с распростертыми объятиями он прижал его к сердцу и троекратно поцеловал.

— Прежнего верного гайдука у меня, правда, уже нет, — сказал он, — но зато я обрел нового друга и товарища, столь же верного и дорогого, который не отступится от меня ни в счастье, ни в невзгоде... Так ведь?

— Отступиться не отступлюсь, как всякий верный слуга. Но ужели, государь, и ты дал тоже веру этому лгуну Юшке, будто я княжеского рода?..

— А будто нет? Гляди-ка мне прямо в очи. Царевич повернул его за плечи лицом к свету.

Курбский должен был опустить взор.

— Перед тобою, государь, не стану уже напрасно отпираться, — заговорил он и глубоко вздохнул, — поведаю тебе всю правду-истину. Но сам ты, чаю, согласишься тогда, что лучше

не поминать мне моего роду-племени, лучше оставаться простым гайдуком.

— Говори, друг, говори. Но ты еле, вижу, на ногах стоишь. Садись тут; вот так. А я сяду рядом. Ну, что же? Я слушаю.

— Что родитель мой, точно, был никто иной, как князь Андрей Михайлович Курбский, первый военачальник и любимец, а потом первый заклятый недруг твоего, государь, родителя, царя Ивана Васильевича — этого скрывать мне уже нечего. Из-за чего у них разлад вышел, за кем больше правоты либо вины было — не нам с тобой, детям их, судить: оба они предстали уже пред Верховным Судьей своим. Но покойный родитель мой при жизни своей еще понес жестокую расплату за свою якобы «измену» царю и отчизне: король польский Стефан Баторий чинил ему, чужеземцу, всякие напраслины и обиды, и тем горше скорбел душой отец по своему русскому царю, который, бывало, отличал его так перед прочими царедворцами; тем пуще тосковал он по своей родной матушке Руси, что не смел вернуться восвояси. А в отцовской вере, в православном законе он оставал-

ся непоколебим и тверд до последнего издыхания.

— Но женат он был, сколько мне ведомо, на католичке-полячке? — заметил Димитрий.

— Женат он был дважды и оба раза на полячках: первой женой его была Марья Юрьевна Голшанская, второй — Александра Петровна Семашко. От первой он не имел детей; от второй нас родилось трое: дочь и два сына. Скорбно мне, государь, говорить против собственной матери своей, противу брата! Уволь же от многих слов... Был у отца один родственник, слуга и друг верный, впоследствии времени городничий луцкий, Кирилл Зубцовский. Завещал ему отец на смертном одре своем пещись о его малолетках-детях; завещал наблюдать, чтобы выросли в отцовской вере, в любви к отчизне предков — к Руси. Потщился Зубцовский выполнить завет господина и друга по мере сил своих; но... не все то в наших силах, чего тщимся! Настолько родитель мой был строг в правилах восточной церкви, настолько он был русский душою, настолько же матушка моя была строгая католичка и полячка. Старшие и любимые дети

ее: дочь Марина и сын Димитрий...

— Как? Как ты назвал их: Марина и Димитрий? — перебил царевич.

— Да, государь.

— Дивное дело: точно как мы с дочерью пана воеводы Мнишка!.. Но говори дальше, что было с твоими сестрой да братом?

— Были они оба выращены нашей матушкой по-своему, а по смерти отца перекрещены в папскую веру; брат Димитрий отказался тут даже от имени, в первом крещении ему данного: зовется теперь Николаем. На меня же, оставшегося православным, все они смотрели как на чужака; а я был нравом упрям, горд, как отец. Один только дядя Кирилл (как звал я Зубцовского) был ко мне всегда равно ласков и добр; одного его поэтому любил я всем сердцем, одному ему верил. Часто и много сказывал он мне про покойного родителя, и стал мне этот покойник понемногу дороже живых сестры и брата, дороже матери. Напрасно приставила ко мне матушка воспитателя римского патера, напрасно пыталась «исправить» меня всякими крутыми мерами. Когда же мне минуло 15 лет, я напрямик объ-

явил ей, что пусть делают со мной что хотят, но я останусь-таки русским, каким был мой отец, никогда не буду изменником отцовской вере. Тогда матушка повезла меня в Вильну, в тамошнюю иезуитскую коллегию: отцы-иезуиты должны были сделать из меня верующего католика, а затем надеть на меня и монашескую рясу: так, по крайней мере, и брат мой не должен был бы делиться со мной в отцовском наследии. Помощи ни отколе мне не чаялось. На счастье мое, на ту пору прибыло в Вильну из Москвы посольство боярина Салтыкова. При Салтыкове состоял молодой сын боярский Михнов. Случилось мне тут, как раз накануне сдачи моей в коллегию, свидеться с этим Михновым в одном вельможном доме, и — накипело у меня, знать, больно уже на сердце — поведал я ему за великую тайну все мое горе. Тронула его моя лютая участь. «Хочешь ли убегом бежать к нам на Москву и на веки-вечные отречься от родни своей?» — спросил он меня. — «Какая же они еще родня мне, коли силой из меня иезуита делают?» — отвечал я. «Так изготовься же, — молвил он, — нынче же ночью у тебя будут конь и во-

жатый». И точно: не занялась еще заря на небе, как я был уже далеко за Вильной.

— Но, чтобы добратся тебе до Москвы, коня тебе да вожатого было мало — надо было тебе и вид пропускной выправить, и денег на путь-дорогу малую толику? — вставил царевич.

— Вида мне неоткуда было взять; денег же благодетель мой сунул мне за пазуху кошель полный, как я ни упирался: «будешь-де в чести — вернешь, а не будешь — так Господь мне вернет». Да не надолго мне тех денег хватило! — добавил Курбский и рукой махнул.

— Что так?

— Вожатым-то мне дал он слугу своего, по имени Ретруша. Был же то, государь, никто иной, как известный тебе холоп здешний Юшка.

— Как! Тот самый Юшка, что церковь православную тут спалил да наутек пошел?

— Тот самый.

— И он же, пожалуй, дорогой потом обобрал тебя?

— Криводушный он человек, правда; да как чужие мысли вызнать? Когда, много спу-

стя, снова мы с ним столкнулись, он ото всего отперся.

— Дивлюсь я на тебя, Михайло Андреич! Словно бы щадишь еще негодяя. Угля сажей не замараешь! Разве ты сейчас-то тогда кражи не заметил?

— С дороги-то, государь, шибко, вишь, при томился, соснулося; а как хватился, так Юшки вместе с конем моим и деньгами и след простыл.

— Так как же не он?

— Да ведь опосля всеми угодниками клялся, что неповинен: отошел-де, заблудился, а кто меня во сне обобрал — не ведает. Ну, да Господь с ним! Вывел он меня перед тем уже далеко, за самый рубеж русский, так что я, хоть бы и хотел, не мог бы вернуться: ни коня, ни денег не было; да хоть бы даже как ни есть добрался назад к своим — великий бы мне только стыд и зазор учинился. И отрекся я от всего прошлого, дал себе заклятье никому не сказывать своего роду-племени и идти прямо на Москву: авось-де Бог милостив, не покинет меня, бездомного, безродного. Не далеко, однако, довелось мне так-то пробраться:

без гроша медного в кармане я волей-неволей должен был кормиться под окнами подающим добрых людей; платье же на мне чистое, панское, да и обличье мое тоже, может, выдавали всякому, что я не простого холопского рода. Незадача! Меж Дорогобужем и Мосальском перехватили меня сторожевые люди князя Василья Федорыча Рубца-Мосальского. «Кто-де такой да откуда?» Я им, знамо, не сказался; не сказался потом и самому князю их, когда меня привели пред его очи. Не лих был старик-князь, да крутенок, нравный человек, не спустил бы мне, пожалуй, моего запираательства, кабы не юный сын его, княжич Иван. Был тот мне почти одноплеток и стал просить старика подарить меня ему. «Возьми ж его, да вышколи, смотри, выбей дурь-то!» — с усмешкой молвил князь Василий и предоставил меня баловню сыну в полную власть, словно бы бессловесную тварь какую: коня либо щенка борзого. Уразумел я тут на себе впервой, что за зло такое — холопство.

— И не вынес, бежал из неволи? — спросил Димитрий.

— Бежал... Но не сейчас: выжил я три с

лишком года...

— Стало быть, житье у них было все же не такое уж невыносимое?

— Нет, жаловаться мне на житье-то — Бога гневить: дом — полная чаша, был я в первых слугах... Так у них, может, и век бы скоротал, кабы... кабы только.

— Кабы что? Чего умолк, Михайло Андреевич? Что же, не ужился?

Тяжелые, видно, воспоминания нахлынули на Курбского: в чертах его отпечатлелась глубокая душевная борьба. Он провел рукою по разгоряченному лицу, встряхнул кудрями, как бы отгоняя рой темных дум, и, переведя дух, промолвил:

— Не ужился, да, а почему — не все ли едино? Пусть это останется тайной и для тебя, государь, не погневись на том! Не нуди меня! Была тут, каюсь, и моя тоже вина, а того паче насилье надо мною. Без ножа голову сняли... И не стерпел, тайком ушел... в темный бор...

— К татам-разбойникам?

— Это тебе, государь, также Юшка выдал? Попал я, точно, в шайку — не по своей охоте, нет: окружили меня с кистенями, рогатина-

ми, стал было отбиваться. Но тут, глядь — Юшка подвернулся: «А, — говорит, — старый друг и приятель! Не троньте его, братцы: отвечаю вам за него». Как сам он угодил к ним — не ведаю. Была же то хоть голытьба, людишки последние, да судя по человечеству, все же христиане православные: от лютого голодамора из деревень своих на придорожный промысел пошли. От голода и человек хищным зверем обернется! Но скажу по совести: не были то заправские изверги, кровопийцы: задаром, для потехи одной, никого не губили. А коли сгоряча, в рукопашной, иной раз кого, случалось, и покалечат, то после ни мало не возбраняли мне ходить за ним, поставить на ноги и выпроводить на большую дорогу.

— То-то вот Юшка корил мне тебя в малодушии, — сказал царевич, — «... никого-де толком не пристрелил, не прирезал».

— В этом он не оболгал меня, — подтвердил Курбский, открыто глядя в глаза царевичу, — если я прожил в шайке целые полгода, то лишь за тем, чтобы не дать им попусту кого пристрелить, прирезать. И этого-то Юшка простить мне никак не мог, особенно того,

что я из-под его собственного ножа старика-еврея вызволил. В Вильне, как сведал я тогда от самого него же, от Юшки, надо мною вечную банницию[5] изрекли; ждять от меня ему впереди было нечего, и не скрывал он уже своей злобы на меня, не задумался бы, пожалуй, самого меня ножом пырнуть, кабы не побаивался меня да товарищей. Но тайным наговором своим он успел-таки натравить их на меня: стали они коситься, стали меня боярчонком звать, что не только черной работой их — разбоем гнушаюся, но и дуван дуванить с ними брезгаю. Невмоготу стало мне с ними; поговорил я по душе с атаманом нашим: «Так и так, мол, не житье мне с вами, братцы; отпустите, Бога ради, на все четыре стороны...»

— И отпустили они тебя?

— Отпустили, но взяли зарок со страшным заклятьем — никого не выдавать, да и самому им на Руси отнюдь уже не попадаться. Дал мне атаман еще на прощанье ружьишко немудрящее, дал пороху да свинцу: «Уходи, мол, братец, только подалей, за рубеж, что ли». И ушел я за рубеж, на Волынь; благо,

язык здешний знал; прожил полещуком, почитай, год целый...

— Покамест со мной не повстречался? — подхватил царевич. — Но отныне, с сего же дня, ты будешь для всех тем, чем тебе Господь быть судил, — князем Курбским.

— Твоя воля, государь! Но ты слышал сейчас, что я — баннит, что я уже не Курбский, а просто Михайло Безродный. Дозволь же мне, как особую милость, быть по-прежнему гайдуком при тебе.

— Нет, друг мой, не дело ты говоришь, — решительно сказал царевич, кладя на плечо ему руку. — Был ты баннитом, положим; но для меня король Сигизмунд, увидишь, банницию с тебя снимет. Все же здесь уже знают, что ты Курбский; мне самому нужен тоже близкий человек родовитый: тебя в очах их озаряет мой царский сан; от твоего княжеского сана также точно и сам я ярче свечусь. Ляхам требуется пышность и блеск. С волками жить — по-волчьи выть. Ты — мой богоданный друг...

— Но родня моя, государь...

— Родня твоя будет еще у ног моих, будет

молить признать ее также, как признал я тебя! Ты — князь Курбский для меня, для них, для всех! Ни слова более!

Глава двадцать восьмая НА КРАСНОГО ЗВЕРЯ

Размолвки между двумя братьями Вишневецкими не осталось и следа. Благодушный князь Адам по-прежнему подпал под влияние своего старшего брата, и, чтобы изгладить память о той размолвке и у других, братья сговорились устроить большую травлю на красного зверя в общем их наследственном бору на реке Икве.

Еще накануне дня, назначенного для травли, сверх прежних гостей, в Жалосцы понаехало человек тридцать вельможных и ясно-вельможных панов и пани-чей, рассчитывавших, если не стяжать лавры Немврода, то по меньшей мере воспользоваться сутки-другие широким гостеприимством князя-воеводы. Нечего говорить, что, в чаянии завтрашней потехи, ужин был очень одушевлен; столовая то и дело оглашалась хохотом, виватами, зво-

ном кубков и поцелуями. Не будь надобности подняться спозаранку, чтобы не прозевать охоты, бражники едва ли и к полуночи разошлись бы по своим покоям.

Когда с первым проблеском зари Курбский вместе с царевичем вышел под главный портал замка, глазам его представилась самая оживленная картина. Вишневецкие и большинство гостей были уже налицо. Все разрядились в охотничьи снаряды: кроме оружия огнестрельного и холодного, у всякого висел через плечо охотничий рожок, а за поясом был заткнут арапник. Сообразно своим званиям, участники охоты стояли небольшими кучками, хвастаясь друг перед другом своим вооружением. Князь Константин, известный знаток лошадей, в обществе нескольких магнатов любовался на выводимых конюхами ретивых коней, которые в нетерпении били копытом землю и задорно ржали. Несколько любителей собак столпились около псарей, которые с трудом сдерживали на сворах гончих псов, в радостном ожидании рвавшихся на волю и заливавшихся на разные голоса оглушительным лаем.

Главный ловчий, высокий и мрачный на вид старик с густыми черными бровями и с длиннейшими белыми усами, собрал вокруг себя в одном углу двора доезжачих и одним отдавал какие-то приказания, других заставлял при себе повторять на рожках условленные охотничьи сигналы. Нагруженные посудой и всякими продовольственными припасами фуры были отправлены на место охоты еще с полночи.

При появлении Димитрия, оба Вишневецкие, а за ними и все остальное панство, обратились, разумеется, к нему с пожеланием доброго утра. Бывший гайдук царевича, которого немного дней назад никто из гордых шляхтичей не удостоил бы и взгляда, теперь, когда он оказался вдруг родовитым князем, был точно также приветствован самым изысканным образом. Сам пан Тарло, казалось, простил уже Курбскому вынесенное им так недавно от него оскорбление и с несколько формальной, правда, но приятной улыбкой подал ему руку.

— Ведро обещает, кажется, продержаться, — говорил старший Вишневецкий, указы-

вая царевичу рукою на парившие в недосыгаемой вышине стекловидные, перистые облачка, по краям лишь окрашенные розовым налетом зари, — это самые верные предвестники хорошей погоды. А хорошая погода нам тем более нужна, что нам будут сопутствовать, как изволите видеть, и паненки.

На самом деле, из-за угла выводили в это время двух аргамаков с дамскими седлами.

— А, они едут даже верхами, — сказал Дмитрий, — не невестка ли ваша со своей фрейлиной?

— Кому же больше? Отговаривал было, что далеко отсюда и охота-де в наших понтийских болотах не женское дело. Куда! Упряmica и слышать не хотела: «А кто же, говорит, поднесет победителю охоты заздравный кубок?» На случай, впрочем, что устанут, я приказал запрячь и колымагу.

С первыми лучами солнца под порталом показалась царица охоты — панна Марина, ловко придерживая рукою шлейф своей черной шелковой амазонки и в премило надвинутом на ушко берете с огромным страусовым пером. Главный ловчий затрубил в пере-

кинутый у него через плечо большой серебряный рог, и весь двор, подобно муравейнику, пришел в неописанное движение. Пан Тарло подоспел первый, чтобы посадить молодую дочь Сендомирского воеводы в седло. Курбский случайно очутился так близко от них, что расслышал немногие слова, которыми они обменялись.

— Вы хороши и свежи, как это молодое утро! — вполголоса произнес пан Тарло. — И недаром!

— Что вы хотите этим сказать? — проронила, не глядя на него, панна Марина.

— Да ведь вы же собрались поохотиться тоже на красного зверя?

Молодая панна сделала строгое лицо и ничего не ответила.

«Он точно намекнул на кого-то? Уж не на царевича ли?» — мелькнуло в голове у Курбского. Но задумываться ему было некогда; охота была уже в полном сборе.

Пять минут спустя все были расставлены в строгом порядке, и легким галопом кавалькада тронулась в путь; а когда часа через три добрались до опушки леса, где предстояла

травля, все спешили под тенью векового дуба, где прибывшею ранее прислугою были уже разостланы мягкие персидские ковры.

В стороне расположился продовольственный обоз; вокруг фур пылало несколько костров, над которыми дымились подвешенные на подпорках разной величины котлы, и легкий ветерок доносил оттуда съестные ароматы, необыкновенно приятно щекотавшие обоняние стрелков, проголодавшихся во время многочасовой езды.

Хотя до полудня — обычного времени обеда — было еще довольно далеко, но утренней «легкой закуске» была оказана полная честь. А что было тут шуток и тостов, что было хвастливых анекдотов о небывалых охотничьих приключениях!

Пока подкреплялись охотники, князь Константин подозвал к себе главного ловчего и шепотом отдал ему какое-то приказание. Слов его Курбский не расслышал, но ответ главного ловчего: «Будьте благонадежны, ваша светлость», и брошенный маститым распорядителем охоты на царевича взгляд не оставляли сомнения, что слава заклания на-

меченного к смерти «красного зверя» будет предоставлена царевичу.

Для правильной облавы из ближних селений было согнано сотни три крестьян с дрекольями и рогатинами. Сельские войты, вооруженные арапниками, должны были наблюдать за тем, чтобы кто-нибудь из облавщиков не дал тягу. Отрывисто и повелительно главный ловчий объяснил войтам, откуда обходить полукругом и куда загонять одынца (матерый, одинокий кабан), логовище которого накануне было досконально выслежено. Покорные загонщики, поощряемые хлопаньем бичей своих сельских начальников, рассыпались и затерялись в густой чаще.

Более навывкшие к гону доезжачие, выжлятники и псари выслушали от главного ловчего только короткий наказ, откуда бросать гончих; после чего, подсвистывая собак своей своры, точно также поспешили занять в лесу указанные им посты.

Наконец главный ловчий подошел к панам охотникам, поднявшимся уже со своих ковров. С решительным видом полководца, зрело обдумавшего план действий и не допус-

кающего в нем никаких перемен, он рассортировал вельможных стрелков для внутреннего полукруга неразрывной цепи, в которой должен был найти преждевременный конец осужденный кабан. К царевичу, как к самому почетному гостю, он прикомандировал было двух стремянных, но Димитрий от обоих гордо отказался.

— Какая же честь будет мне, коли я не сумею обойтись без пособников! — сказал он.

Курбский, слыша это, решил про себя ни на минуту не упускать царевича из виду, что, впрочем, было ему и нетрудно, так как место ему было определено в ближайшем соседстве от Димитрия.

— Сам я с братом Адамом и паном Попелем (так звали главного ловчего) отправлюсь в заезд, — объявил со своей стороны князь Константин. — Многие из вас, панове, побывали уже в этом бору и знаете выходы из него. Тех же, что охотятся тут впервой, считаю нелишним предупредить, что хоть здесь еще и не настоящее Полесье, однако, почва довольно-таки болотистая, и встречается точно также невылазная трясина: не дай Бог там за-

вязнуть! Потом, панове, еще условие, — продолжал Вишневецкий, — одынец один, а нас, стрелков, чуть не сотня; поэтому никому не возбраняется бить то, что ему на дуло набезит. Но чур: кто убьет иную какую дичину, будь то хоть лесная пташка, тот должен отказаться от кабана и предоставить его другим.

— Слушаем, князь! Примем к сведению! — хором одобрили стрелки, которые очень хорошо знали, как изобилен этот бор Вишневецких всяким зверьем: медведями, волками, рысями, куницами, дикими козами и всевозможною пернатою дичью.

Как верно предугадал Курбский, стоянка царевича была наиболее выгодная, по самой середине внутреннего полукруга цепи, на небольшой, возвышенной, сухой лужайке.

Год целый провел Курбский полещуком в глуши Полесья и в досталь уже изведаль ценное одними настоящими охотниками дикое, пожалуй, но естественное наслаждение нешуточного боя с большими лесными зверями, угрожающими также жизни своего безжалостного двуногого врага. В большой «панской» охоте, однако, герой наш участвовал в

первый раз, и охотничьи инстинкты пробудились в нем теперь с неожиданной для него самой силой; кровь в жилах у него потекла быстрее, сердце забилося. Весь он обратился в слух и взор.

И вот, безмолвная глухая чаща огласилась отдаленным, протяжным трубным звуком: то главный ловчий, пан Попель, подавал доезжачим и загонщикам сигнал начинать гон.

Глава двадцать девятая

ГОН

Весь дремучий сосновый бор внезапно ожил. Цепь загонщиков охватывала пространство в несколько верст, и поднявшийся разом со всех сторон шум, рев, гам сначала доносился только смутно издали, но потом, по мере сужения цепи, все нарастал и нарастал. Облавщики стучали своими дрекольями по стволам исполинских сосен что было мочи, гикали, орали благим матом, точно желая в угоду двум своим панам-князям перещеголять друг друга, в сущности же с тем, чтобы отогнать подальше от себя опасного зверя. Доез-

жачие наперерыв трубили в рога, били в маленькие барабаны, гремели погремушками, трещали трещотками, чтобы пуще подзадорить гончих; а те, как бешеные, заливались разноголосым лаем и визгом. Все эти нимало не гармонические звуки то приближаясь, то удаляясь в сторону, сливались в один общий, непрерывный гул, в безумно-дикий концерт, которому, тем не менее, нельзя было отказать в какой-то захватывающей, внушительной мощи.

Борзый конь под Курбским зафыркал, взыграл; ездок насильно осадил его, крепче сжал в руке самопал, осмотрел еще раз курок и бросил наблюдающий взгляд в сторону царевича, фигура которого виднелась шагах в тридцати между стволами деревьев. Димитрия, очевидно, забила также охотничья лихорадка: он приподнялся на стременах, вытянулся вперед всем станом, словно прислушиваясь к вызывающей лесной музыке, а рукою нервно похлопывал и поглаживал по волнистой гриве своего беспокойного аргамака.

Прежние слитные звуки облавы стали гулко прерываться резкими новыми: то здесь, то

дальше, то ближе захлопали отдельные ружейные выстрелы. Некоторым стрелкам, видно, стало невтерпез и, чтобы обеспечить себе хоть какую-нибудь дичину, они били без разбору все, что посылал им Господь. А выбор, точно, был богатый: над головой Курбского то и дело шумно пролетали не одни только мелкие лесные птицы, но и целые выводки лесных птиц. Вот захрустел хвост, и быстрее ветра пронеслась легконогая серна. Следом, но, конечно, не в погоне за нею, а ради спасения собственной шкуры, большими скачками промчалась старая, лохматая волчица в сопровождении полудюжины волчат.

— Видел? — крикнул Курбскому царевич, кивая вслед скрывшейся уже за деревьями волчьей семье.

— Видел, — отвечал тот, но тут же прибавил, — Берегись, государь!

Конь Димитрия взвился на дыбы и шарахнулся в сторону так неожиданно, что всадник едва усидел в седле. И было коню чего испугаться: прямо навстречу ему валил через прогалину молодой, но довольно уже крупный медведь. Царевич схватился за пицаль.

— Не тронь его, государь: кабана потеряешь! — предостерег его Курбский и, в тот же миг соскочив наземь, пошел на медведя.

Завидев нового врага, медведь круто повернул к нему фронт и, злобно рыча, поднялся на задние лапы. Курбский наскоро насыпал пороху на полку и с полным присутствием духа стал дожидаться, когда медведь совсем приблизится к нему. Тогда он вдруг поднял ружье, приставил дуло в упор к самому уху зверя и выпалил. Медведь, не издав даже предсмертного хрипенья, грохнулся наземь. Держа наготове на всякий случай нож, стрелок наклонился к зверю: зверь был мертв.

Между тем гон с трубным хором и подвыванием гончих все приближался, выстрелы все учащались, и можно было уже явственнее различить поощрительные окрики доезжачих: «Гоп, гоп! Ату, ату его...»

Кабан, несомненно, был уже поднят из берлоги. Курбский успел только поймать отбежавшего коня и вскочить в седло, как предательский шорох, хруст и треск сучьев в стороне, противоположной от царевича, заставил его оглянуться. Сквозь густой кустарник ло-

мил громадный кабан-одынец. Тяжело пыхтя и с Пеною у рта, он на бегу яростно отбивался от поджарого, но также необычайно крупного и головастого выжлеца, который опередил свою стаю. Гончая, как мельком заметил Курбский, была уже обрызгана кровью, а на ушах и щетинистых боках преследуемого ею зверя сочились кровавые раны. При виде нашего молодого богатыря, кабан только покосился, еще более надал и исчез за кустарником.

— В догон, государь! — крикнул Курбский и, пришпорив коня, сам сломя голову помчался в объезд, чтобы заскакать кабана стороной.

Он настигал уже его, когда из-за соседних деревьев другой всадник перерезал ему дорогу. Всадник этот был пан Тарло.

Курбский мог бы еще, пожалуй, попытаться обскакать внезапного соперника; но в лесной чаще это было дело довольно сомнительное, да кабана к тому же надо было прибегать для царевича, а пан Тарло, конечно, не стал бы дожидаться последнего.

Соображения эти молнией мелькнули в го-

лове Курбского, и, улучив момент, когда самборский щеголь был всего на расстоянии локтя от него, герой наш взял грех на душу — разом навалился на него и мощным ударом богатырского плеча вышиб его из седла.

Когда вслед затем пан Тарло, охая от боли, с проклятием приподнялся с земли, москаля-обидчика его и след уже простыл.

А где же была в это время панна Марина? Удовольствовавшись правом увенчать в заключение охоты победителя, молодая панна, вместе с своей фрейлиной Брониславой, осталась спокойно отдыхать на своем ковре у опушки бора.

Вдруг фрейлина испустила пронзительный визг и, махая руками как крыльями, упорхнула вон. Панна Марина оглянулась к лесу и мигом также вскочила с ковра: в пятнадцати шагах уже от нее был величайший, страшнейший кабан, какого она когда-либо видела; а главное — зверь валил прямо-таки на нее. Спаситься бегством не было уже надежды. А налитые кровью глаза разъяренного животного, торчавшие, как два острые кинжала, из вспененной пасти его клыки, угро-

жающее хрюканье и пыхтенье не допускали никакой пощады.

Тут на помощь молодой панне явилась внезапная сообразительность, нередко выручающая женщин в самые критические минуты жизни. Она схватила лежавший в ногах у нее тяжелый, большой ковер и с удивительною быстротою и ловкостью накинула его на голову чудовища в тот самый миг, когда оно готово было ринуться на нее. Пока неуклюжий зверь, ничего не видя, барахтался под ковром и разрывал его копытами и клыками, панна Марина бросилась к обозу. Не добежала она еще туда, как кабан уже выкарабкался из-под ковра и, еще яростнее хрюкая, воинственно огляделся кругом, где искать врага.

Тут, однако, из лесу подоспел Курбский, а за Курбским и царевич. Чтобы не рисковать своими кровными конями, оба соскочили на землю. Схватив самопал свой за дуло, Курбский смело кинулся на кабана, но, словно остерегаясь причинить ему серьезное повреждение, искусно только отбивался от клыков его прикладом.

— Что же ты, Михайло Андреич? — спро-

сил Димитрий, подбегая к нему и выдерживая из-за пояса широкий, длинный охотничий нож.

— Рази ты его, государь, — был ответ.

Спорить было некогда. Царевич насел на крутой хребет вепря и нанес ему удар ножом между лопаток. Фонтан темно-алой крови брызнул из раны, и насмерть пораженный зверь с диким воем и хрипом покатился на не убранные еще роскошные персидские ковры, обагрив их кровавыми ручьями. Тут подоспели из лесу целой стайей отставшие псы и как пиявицы облепили общего их врага. С последним напряжением сил одынец яростно отбивался еще от нападающих: две гончие, попавшие ему под клыки, отчаянно взвизгнув, разлетелись по сторонам. Но самому кабану это ни к чему не послужило: остальные псы накинулись на него с тем большим остервенением и вместе с жертвой своей уподоблялись огромному живому клубку, который рыча, визжа, твякая, покатывался по коврам и траве то туда, то сюда, оставляя за собою новые потоки крови.

Царевич закрыл глаза рукой и отвернулся.

Курбский взял у него пищаль и тихо спросил его:

— Не соизволишь ли мне прикончить?

На утвердительный знак головой, он нагнулся над лежавшим под гончими вепрем и выстрелом в самое сердце уложил его наповал; потом, отогнав собак, отрубил охотничьим ножом два клыка кабана и подал их своему царственному господину.

Гон был завершен и лесная драма доиграна. К самому эпилогу ее прибыли из глубины бора оба брата Вишневецкие и главный ловчий, чтобы убедиться, что надобности в них уже не предстояло. Пан Попель приложил к губам свой охотничий рог и протрубил сборный сигнал. В несколько минут все участники травли были уже в сборе; почти за каждым из них гикальщики волокли по земле убитую ими дичь: серну, дикую козу, лисицу.

Панна Марина совсем оправилась уже от перепуга и с видом королевы приняла поднесенный ей прислужником на серебряном подносе большой золотой кубок с вином.

— Да здравствует победитель охоты! — торжественно провозгласила она и, сама

сперва пригубив кубок, подала его с оборотительной улыбкой царевичу.

Князь Константин махнул платком охотничьему хору, и грянули трубы и литавры. Димитрий с поклоном отпил половину кубка, а затем передал его Курбскому.

— Вот кто по праву заслужил половину моей сегодняшней славы.

Князь-воевода вторично подал знак — и в честь Курбского также загремел туш.

Глава тридцатая ЗАСОСАЛО!

Один только пан Тарло не прикоснулся губами к своему кубку. Он стоял в стороне от всех и сумрачно исподлобья следил глазами за молодым русским князем. Быть может, под магнетическим действием этого неотступного взора Курбский вдруг заметил своего тайного недруга и, вспомнив, как неблагоприятно несколько минут назад обошелся с ним, дружелюбно подошел к нему.

— Чокнемся, пане Тарло, — сказал он. — Я премного ведь виноват перед вами; но могу

вас заверить...

— Я не буду пить! — отрывисто буркнул пан Тарло и плеснул все вино из своего кубка под ноги Курбскому, а самый кубок швырнул далеко в сторону.

Курбский вспыхнул.

— Что это значит, пане?

— Это значит, князь, что так между нами делу не кончиться. Надеюсь, что у вас найдется теперь, для объяснений со мною, полчаса времени?

Курбский нахмурился и пожал плечами.

— Извольте.

— Так пройдемте в лес.

Оба повернули в лесную чащу.

— Ты куда это, Михайло Андреич? — раздался позади их голос Димитрия.

Непривычный к каким-либо уверткам Курбский замялся. Но тут припомнился ему уложенный им давеча медведь.

— Да вот хочу показать пану Тарло нашего медведя, — отвечал он.

— А мы людей вам дадим, чтобы самим вам с ним не возиться, — подхватил князь Константин и крикнул четверем хлопцам,

чтобы следовали за панами.

Нечего было делать: два противника покорились и в суровом молчании вошли в бор, сопровождаемые непрошеным конвоем. Вскоре они приблизились к тому месту, где должен был лежать убитый медведь. Но что же это такое?

— Кто-то там уже управляется с нашей добычей! — воскликнул Курбский.

На звук его голоса какой-то человек, наклонившись над медведем, разогнул спину и, как только завидел приближающихся, опрометью кинулся в кусты.

— Никак ведь Юшка? — заметил один из хлопцев.

— Юшка и есть, — подтвердил другой. — Ишь, плут естественный, где спасается! Ловить его, что ли, ваша милость?

— Ну его, Господь с ним! — сказал Курбский и направился к убитому медведю.

Оказалось, что особенно лакомые части зверя — лапы — были уже отсечены; но вор, застигнутый врасплох, не успел захватить их с собой.

— Облегчил нам только дело, — промол-

вил Курбский и приказал хлопцам подобрать медведя, прибавив, что сам он с паном Тарло скоро будет также к месту общего привала.

Когда мерные звуки шагов удаляющихся с тяжелою ношей умолкли, он обернулся к своему недругу:

— Что прикажете, пане?

— Рассуждать нам с вами, сударь, я полагаю, не о чем, — был отрывистый ответ. — Ни вы, ни я не выносим друг друга, что оба мы, кажется, достаточно уже доказали на деле. Кому из нас уступить место другому — может решить только меч или пуля.

— Я не отказываюсь, — просто отвечал Курбский. — Но все мы под Богом ходим. Одному из нас, может статься, суждено не встать...

— Не иначе!

— Но, не говоря об угрызениях совести, оставшийся в живых должен же очистить себя перед людьми; а так как, кроме Бога, свидетелей у нас с вами тут никого нет...

— Вы, сударь, я вижу, уже на попятный! — заревел вне себя пан Тарло и, выхватив саблю, ринулся на Курбского. — Защищайтесь,

ежели не хотите, чтобы вас считали подлым трусом!

Курбскому ничего не оставалось как защищаться. Но поединок, на этот раз по крайней мере, не имел кровавой развязки. Едва лишь скрестились их сабли, как за ближними кустами грянул ружейный выстрел, и пуля, свистя, сорвала с Курбского шапку. Оба дуэлиста оглянулись: между лесною зеленью мелькнул и скрылся пригнувшийся к земле человек.

— Юшка! — вскричал Курбский и, забыв уже своего ближайшего врага, пана Тарло, бросился вдогонку за беглецом.

Последний был шагов сто впереди, но Курбский был ростом значительно его выше, и, хотя смертельный страх придавал малодушному убийце крылья, разделявшее их расстояние с каждой секундой сокращалось. Бросив уже ружье, мешавшее ему бежать, Юшка, подобно настигаемому борзыми зайцу, растерянно метался в глухом бору то туда, то сюда, поминутно спотыкаясь о древесные корни и моховые кочки, увязая в болотистой почве. Курбский, напротив, проведя целые месяцы дикарем в глуши Полесья, совершенно ин-

стинктивно избегал эти естественные препятствия и летел вперед как бы по ровной плоскости.

Не более десяти шагов оставалось между ними, когда перед Юшкой открылась низменная, необыкновенно цветущая, ярко-зеленая поляна.

— Стой! Стой! Это трясина! — предостерег его Курбский, хорошо знавший по опыту, как мало можно было доверять заманчивому виду таких полян в во-льшских лесах.

Юшка либо не расслышал толком, либо просто не поверил чистосердечию своего преследователя. С разбегу прыгнул он вниз на поляну — и тут же по щиколотку увяз в мягком грунте.

— Назад, несчастный! Тебя засосет! — кричал Курбский и подбежал к самому краю предательской топи.

На ошалевшего от страха убийцу нашло полное затмение. Ему чудилось, что Курбский хватает его уже за ворот, и он, выдернув сперва одну ногу, потом другую, без оглядки побежал далее. Напрасно Курбский кричал ему вслед. Увязая все глубже: по колено, выше ко-

лена беглец, с помощью уже рук, с невероятными усилиями добрался-таки до середины болотистой поляны. Но тут он погрузился по пояс и не мог тронуться ни взад, ни вперед. Теперь, перед лицом неизбежной смерти, он воззвал, наконец, о помощи к своему врагу.

— Михайлушко! Князь-голубчик! Вызволи, Христа Бога ради! Не дай сгинуть без покаяния...

Злоба в сердце Курбского против убийцы совсем отошла, уступив место человеческой жалости. Но пособить погибающему ни он, ни один смертный уже не мог бы: лезть за ним туда, в бездонную трясиину — значило без всякой пользы погибнуть вместе с ним.

— Зачем ты не слушал меня! — говорил Курбский, — ведь кричал я тебе, что засосет. А теперь аминь!

— Батюшки мои! И то засасывает... так и втягивает... Князь! Родимый ты мой! Не сердчай на меня, грешного, не оставь, спаси только, вовек не забуду!

И бедняга с воплями отчаяния простирал к берегу обе руки; волосы на голове ею стояли от ужаса дыбом, а по бледному зеленоватому

от отражения ярко-зеленой поляны лицу его текли крупные слезы. Глядя на него, сам Курбский невольно прослезился.

— Я-то уж простил тебя и рад бы сейчас подать тебе руку, да, вишь, не достать: отбежал ты больно Далеко. Одно теперь, дружище: молись Богу и кайся!

— Каюсь я, миленький мой, ах, как каюсь! Будь они прокляты, трижды прокляты, искусители окаянные!

А меня, вишь, за них Господь карает... Ой-ой, тону! Совсем тону?..

Над изумрудною поверхностью цветущего болота виднелись только взъерошенная голова и две приподнятые руки. В это время Курбский заметил около себя и пана Тарло, который молча подал ему слетевшую с него от пули Юшки шапку. Тонущий также увидел вновь подошедшего и взмолился к нему, как к последнему якорю спасения:

— О, пан! Ясновельможный пан! Хошь ты-то выручи! Оба же мы равно грешны, оба поджигали...

— Что он брешет такое? — обратился озадаченный Курбский к пану Тарло.

— Лгун бесстыжий! — вспыхнул тот и выхватил из-за пояса пистоль. — Заткнуть тебе лживую глотку...

Курбский, однако, вовремя остановил его руку.

— Не троньте его, пане! Не видите разве, что сам Небесный Судия вершит над ним свой высший суд?

Еще минута — и без умолку вопивший утопленник мгновенно затих: болотная гуща дошла ему до губ; а там не стало видно уже ни головы, ни рук: осталась прежняя ровная, красиво зеленеющая поляна, и только со середины ее обманчивой поверхности доносилось еще бульканье, как бы от пускаемых пузырей.

— Засосало... — прошептал про себя Курбский, набожно обнажил голову и перекрестился. — Упокой Господь его душу!

Пан Тарло был, по-видимому, также потрясен и стоял в безмолвном раздумье.

— Что же, пане? — обратился к нему Курбский. — Теперь, коли угодно, я опять к вашим услугам. Только отойдемте дальше: здесь, воля ваша, не место...



— Не троньте его, пане! Самъ Небесный Судія вершитъ надъ
нимъ свой высшій судъ.

Пан Тарло, как большинство его единоверцев, был суеверен, а потому и фаталист. Он сам же первый миролюбиво, с некоторою разве театральностью, протянул Курбскому руку.

— Божественный Промысл явно хранит вас, любезный князь, сказал он. — Он отвел от головы вашей руку убийцы, а самого убийцу тут же смерти предал. Жизнь ваша, стало быть, еще нужна Ему, и рука моя, конечно, уже не поднимется на вас, если вы только не станете сомневаться в моей храбрости...

— О, нет, пане! — отвечал Курбский, искренне пожимая поданную ему руку. — О храбрости пана Тарло я столько наслышан, что завидовал бы вам, кабы сам ведал, что такое страх. Еще раз, впрочем, приношу вам повинную: погорячился я давеча...

— Ну, и ладно, и будет! — перебил его окончательно примиренный противник; по польскому обычаю обнял его обеими руками за плечи и троекратно приложился надушенными усами к его щекам.

Надо ли прибавлять, что по возвращении к привалу, они осушили по доброму кубку. Для остальных охотников, по-прежнему пи-

ровавших, рассказ пана Тарло о последних минутах Юшки был только как бы эффектной трагической интермедией среди целой серии собственных их комических былей и небылиц из охотничьей жизни.

Часть третья БРАЧНЫЙ ВЕНЕЦ

Глава тридцать первая

ПАННА МАРИНА ТАНЦУЕТ МЕНУЭТ

В начале XVII века Самбор, хотя и сплошь почти деревянный, был несомненно одним из лучших городов прикарпатской Руси. Получив его вместе с окружными деревнями и лесами в 1590 году в дар от польского сейма, король Сигизмунд III в несколько лет успел собрать в своей самборской «экономии» 3 города, 132 деревни и села и 7 солеваренных заводов. Как богата была местность лесами, показывает одно название Самбора: «самые боры». В свою очередь Сигизмунд, на основании закона «*justitia distributiva*» (распределительное правосудие), пожаловал самборское «староство», на ленном праве, воеводе Сендомирскому, Юрию Мнишку. Отец панны Марины немало гордился тем, что «резиденция» его окружена, кроме валов и рвов, еще каменной стеною, что не только собственный замок его,

но и ратуша — каменная, и что в городе есть целых 4 латынских монастыря и 10 ремесленных цехов.

В один сентябрьский вечер 1603 года, несмотря на темноту и накрапывавший холодный осенний дождь, на улицах самборских замечалось необычное движение: слышался стук колес, раздавались оживленные голоса пешеходов. Общий поток этот направлялся к одному центру — к обширному замку воеводы, возвышавшемуся на левом берегу Днестра и ярко сиявшему теперь огнями. Толпившиеся уже тут за оградой горожане глазели, как к украшенному колоннадой главному portalу замка подкатывали кареты, колымаги, рыдваны, и как рослые ливрейные гайдуки высаживали оттуда празднично разряженных панов с их женами и дочерьми. Накануне к пану воеводе пожаловал именитый, небывалый гость — московский царевич Дмитрий; и нынче в честь его давался в замке парадный бал. Неудивительно, что всякий сторал нетерпением хоть бы из-за угла, в окошечко, взглянуть на него. За исключением пана Тарло и панны Гижигинской, случайно

видевших царевича в Жалосцах, не только простые смертные, но никто даже из местных магнатов не удостоился еще узреть его, тем менее быть ему представленным.

Придворный маршал с двумя дежурными маршалками встречал приглашенных внизу под самым порталом и, рассыпаясь в официальных любезностях, провожал их до первой площади, откуда дам под руку проводили в приемную два другие маршалка. Здесь «дорогих гостей» ожидал сам хозяин, с отменным радушием приветствуя их у порога своей «убогой хижины». Приземистый, но плотный и видный из себя старик, пан Юрий Мнишек, в своем темно-зеленом, залитом золотом, бархатном кунтуше над дымчато-серебристым жупаном и в ярко-красных атласных шароварах высматривал все еще молодцом. Давнишняя неприятельница его — подагра, в последние недели, к счастью, оставляла его в покое, и он словно помолодел опять на десять лет.

Огромный, в два света, танцевальный зал, залитый огнем тысячи восковых свечей, быстро наполнялся нарядными людьми. Галерея над боковыми колоннами пестрела также

зрителями из более почетных горожан; в середине же галереи, над огромным щитом, обвитым цветочными гирляндами и изображавшими герб г. Самбора — оленя и орла, виднелись музыканты, настраивавшие свои инструменты.

Вдруг словно вихрь пронесся над залом: шумный говор кругом мгновенно замер; все заколебалось и тихо опять зажужжало, как проснувшийся улей; все взоры устремились к одной двери из внутренних покоев. В сопровождении князя Константина Вишневецкого, вошел невысокий ростом молодой человек в голубом атласном кунтуше, вышитом серебряными звездочками, в пунцовых атласных же шароварах и в красных сапогах с серебряными подковами.

— Неказист, а удалец с виду, — был общий голос Мужчин-самборцев.

Когда тут же подоспевший хозяин стал их одного за другим по чинам подводить к царевичу, одинаково милостивая с каждым приветливость Дмитрия и находчивость его на всякое льстивое слово разом завоевали ему расположение большинства.

— Да ведь это рыцарь, прямой польский рыцарь! — удивленно переходило из уст в уста, и ничего более для себя лестного, конечно, не поляк не мог услышать от коренных шляхтичей.

К какому выводу пришел прекрасный пол — было заключить труднее: пожилые матроны, молодые пани и паненки, закрываясь веерами, неслышно только шушукались между собою. Но вот грянул с хор «польский»; царевич выступил в первой паре под руку с хозяйской дочерью, красавицей панной Мариной, и с разных сторон их неотступно провожали сотни завистливых глаз. Когда же и на следовавшую за польским мазурку царевич пригласил ту же дочь пана воеводы, интерес к нему прочих дам значительно охладел; там и сям можно было уловить косые взгляды, иронические улыбки, колкие замечания:

— Мазурку-то ему еще надо поучиться и поучиться! Не поляк — сейчас видно.

— А она-то, глядите, какую скромницу из себя корчит! В Жалосцах, небось, из-за него же засиделась, а делает вид, будто прежде в

Глаза не видала.

— А вон потихоньку озирается; кому-то это она веером машет...

— Никак Балцеру?

— Что ей нужно от шута?

Придворный шут Сендомирского воеводы, Балцер Зидек, стоял в это время на противоположном от панны Марины конце зала. На жидком, подвижном как змея теле его болтался двухцветный зелено-желтый балахон, из-под которого на спине его рельефно выступал угловатый искусственный горб. Бритую, грушевидную голову его с торчавшими на обе стороны, как у летучей мыши, большими ушами покрывал дурацкий ушатый колпак с блестящими медными погремушками. Под мышкой держал он свой дурацкий жезл с оконечником, изображавшим голову шута. В руках же у него была черепаховая, с серебряной инкрустацией табакерка, из которой он то и дело угощал щепотками свой длинный, крючковатый нос. По данному ему панной Мариной знаку, он сунул табакерку в карман, с ловкостью настоящего акробата перекинулся колесом между танцующими через

весь зал, едва касаясь паркета руками и ногами, и стоял уже перед молодою дочерью своего господина, прелукаво прищурясь на нее одним глазком и обнажив два ряда острых плотоядных зубов.

— Что они говорят такое? — любопытствовали самборские кумушки.

Но они видели только, как Балцер Зидек, выслушав приказ своей панны, сделал балетный пируэт, юркнул за колонну и исчез.

Подобно лисе, пробирающейся задворками в курятник, придворный шут бочком проскользнул позади колонн вокруг всего зала. Мимоходом он закидывал быстрый взгляд во всякую дверь. Но того, кого он искал, нигде, по-видимому, не оказалось. Так добрался он до глубокой ниши углового готического окна зала, закрытой спущенными кисейными занавесями. При приближении его одна из занавесей как будто колыхнулась. Балцер Зидек тихонько приподнял край ее и нырнул в нишу.

— А! Наше почтение пану региментарю!

В нише стоял, прислонясь плечом к стене, со скрещенными на груди руками, пан

Осмольский, как всегда спокойный, но сумрачный и бледный.

— Что вам нужно, Балцер?

— Просто засвидетельствовать пану наше почтение.

— Перестаньте балясничать, Балцер! Пана Марина прислала вас ко мне?

— С чего вы взяли, пане?

— Нет, нет, говорите. Ведь я же видел, как она сейчас подозвала вас.

— Подозвала и спросила, не видал ли я пана региментаря.

— А! И дальше что же?

— Дальше... велела мне оглядеться.

— И только?

— Чего же еще? А что сказать ей теперь — я слышу уже по голосу пана региментаря: такими маленькими ушонками, как эти, согласитесь, не только всякое слово, но и всякую мысль подслушаешь.

Говоря так, балясник с самодовольным видом еще более растопырил руками свои безобразно огромные уши.

— А что же именно вы скажете ей?

— Скажу, что пан региментарь умоляет ее

подарить ему следующий менуэт.

— Нет, этого я вовсе не желаю! Я просил ее уже на польский — она отказала.

— Потому что должна была начать бал с самым почетным гостем — с царевичем.

— Но потом я просил ее и на первую мазурку — опять отказ.

— Потому что царевич точно также предупредил вас. Подойдите в третий раз, по писанию: толцые — и отверзется.

— Нет, любезный Балцер, рыцарская честь моя не вынесла бы нового унижения.

— Так не угодно ли пану региментарю, чтобы я принес ему прямое приглашение?

— Вы, в самом деле, беретесь? Мне непременно надо бы еще раз объяснить с нею. Если бы вам удалось склонить ее уделить мне хоть один танец, я был бы вам, Балцер, так благодарен...

— Чтобы пану-региментарю как-нибудь не забыть, я с удовольствием принял бы эту благодарность хоть теперь же звонкой монетой: после ужина будет, конечно, маленькая игорка; а несчастные игроки находят, что у меня удивительно легкая рука, и я, по человеколю-

бию, не умею отказывать.

Пан Осмольский с презрительной усмешкой достал кошелек и молча отсыпал из него в подставленную человеколюбцем руку несколько золотых.

— Падаю до ног пану! — поблагодарил Балцер; с прежнею юркостью вынырнул из ниши, из-за ближайшей колонны прыгнул в середину зала, в самый водоворот кружащихся пар, одному из рыцарей толкнул его даму прямо в объятия, другому подставил ножку, так что тот чуть-чуть не растянулся на паркете, а в следующий миг сам был уже на другом конце зала за стулом панны Марины.

Пан Осмольский осторожно вышел из ниши и за колоннами, не торопясь, пошел навстречу своему посланцу. На полпути тот повстречался уже с ним и шепнул ему мимоходом:

— Первый менуэт — ваш.

Изящно-степенный национальный французский танец, менуэт, совершенная противоположность разудалого народного танца поляков, мазурки, был занесен в Польшу из Версаля за четверть века перед тем царедворца-

ми жизнерадостного короля польского Генриха Валуа, родного брата французского короля Карла IX. Быстролетным метеором просиял французский королевич на небосклоне Речи Посполитой, вспыхнул и померк; а менуэт по-прежнему царил еще на балах больших и малых польских магнатов.

Под торжественно-медленный ритм этого поистине аристократического танца, дающего возможность придворному человеку выказать всю свою природную и изощренную еще годами грацию, по огромному балу самборского дворца плавно двигались пестрые и блестящие ряды дам и кавалеров, то расходясь, то опять сплетаясь и отдавая после каждого такта своему кавалеру или даме преглубокий, препочтительный поклон.

«Что же он молчит? Хотел ведь сам тоже объясниться со мною! — думала панна Марина, делая церемониальный реверанс своему кавалеру, который судорожно-крепко, как в тисках, держал ее ручку в своей руке, но пока не обмолвился еще ни словом. — Придется начать самой».

— Вы удивляетесь мне, пане?

— Да как не удивляться? — был ответ. — Ваше обращение со мной в последнее время так переменялось...

— А как вы поступили бы на месте молодой девушки, если бы вам предстоял выбор: или честь и слава отчизны, торжество святой римской церкви над многомиллионным народом еретиков или же счастье двоих только людей? Как бы больно этим двоим ни было, скажите сами: есть ли им еще выбор?

— А где порука, что они не будут бесплодной жертвой?

— Порука в уме пана Юрия Мнишка и в осторожности его дочери. Или вам этого мало?

Снова танцующие были разлучены. Как вкрадчиво лились с хоров чарующие звуки! Как искусно сплетались и расплетались одушевленные человеческие гирлянды! Сколько образцовых поклонов и реверансов! Сколько улыбок и взглядов! Свет и блеск!

Старик Мнишек, окруженный свитой таких же сивоусых панов, не без сожаления уступивших бальный паркет новому поколению, стоял во входных дверях в зал и не мог

наглядеться на танцующих: причмокивал, притопывал и звякал шпорами.

— Ай-да молодежь наша! Хоть бы нам старикам подстать.

Так судил сам пан воевода; так думали, конечно, и прочие зрители, любуясь пленительною картиною бала. А между тем под этою невозмутимо-светлою поверхностью молодого веселья, молодой радости, невидимо изнывали от горя вечной разлуки два молодых сердца. Вот и последняя фигура. В последний раз сошлись оба.

— Довольно, пани! Благослови вас Господь Бог и Пречистая Дева!

— Вы в самом деле благословляете меня?

— От всего сердца; а про меня прошу забыть, как про умершего.

— Нет, я не прощаюсь с вами: вы останетесь при мне; без вас у меня не достало бы сил довести дело до конца. Ведь вы не покинете меня?

— Увольте, пани! Не требуйте невозможного.

— Молю вас Богом! Не покидайте меня! Останетесь, да?

Оркестр раскатисто прогремел финальный аккорд. Менуэт был окончен. Кавалеры, благодаря, пожимали в последний раз руки своим дамам. То же сделал и пан Осмольский.

— Так да? — повторила панна Марина.

— Да...

— О, благодарю вас, пане!

Благодарность эта вырвалась у молодой девушки с таким чувством и так громко, что была слышана и стоявшим неподалеку родителем ее.

— Это еще что за новости? — не совсем естественно рассмеялся пан воевода. — С каких это пор не пан благодарит паненку, а паненка пана? Новые люди — новые нравы!

Глава тридцать вторая

МАРУСИН ПЕРСТЕНЬ

Обычая ради протанцевав также польский и одну мазурку, Курбский не участвовал более в танцах и, скучая, слонялся из угла в угол по блестящей анфиладе комнат воеводского замка.

Время ужина еще не наступило, а ряды танцующих в зале заметно уже поредели: пропал первый танцор — пан Тарло; скрылись, подобно ему, десяток лучших других танцоров; хозяина и прочих пожилых зрителей тоже не стало что-то видно.

— Скажите, Балцер, — спросил Курбский у проходившего мимо шута, — где все паны? Верно, бражничают?

Шут с лукавой усмешкой кивнул утвердительно головой:

— И телом, и духом!

— Как так?

— А вот пожалуйста за мною.

Тою же анфиладой комнат, которую в начале вечера миновал Курбский, они углуби-

лись в отдаленный флигель дворца. В одном проходном покое они наткнулись на небольшую сценку: в стороне, около окошка, три сына Израиля в своих характеристичных ветхозаветных лапсердаках и ермолках, как хищные вороны, обступили пана Тарло и, размахивая руками, старались перекричать друг друга. «Да покажите ж, ясновельможный пане, еще раз ваш перстень!» — расслышал, проходя мимо, Курбский.

— Мне уступить-то не хотел! — сердито проворчал Балцер Зидек, — думает, что эти вот больше дадут; как же!

Курбский догадывался, о каком перстне шла речь, но не хотел еще верить. Догадка его скоро оправдалась.

Они добрались до горницы, откуда издали еще доносился к ним смутный говор. То, что представилось тут глазам Курбского, было для него так ново, что он остолбенел на пороге.

За большим зеленым столом, освещенным сверху большой люстрой, чинно, важно председательствовал сам пан воевода, Юрий Мнишек. Перед ним высилась груда червонцев в

несколько тысяч золотых, и с мелком в одной руке, с позлащенной стопкой в другой, он выкрикивал точно команду:

— Ставьте, панове, ставьте!

Вокруг стола теснились прочие участники рыцарской забавы, и перед каждым сверкала на зеленом сукне такая же, как перед хозяином, только меньших размеров, золотая кучка; а зеленое сукно кругом было испещрено меловыми иероглифами. В числе играющих Курбский узнал всех тех молодых танцоров и пожилых зрителей, отсутствие которых перед тем заметил в танцевальном зале. Но то не были уже прежние «рыцари»: то были одичавшие жертвы демона игры. Куда девались их благородная осанка и выправка, их утонченное обхождение и «вежество»! С разгоряченными лицами, искаженными страстью, они дрожащей рукой ставили свой «конь», с ожесточением трясли игральные кости в стопке и шумно опрокидывали ее на стол; проиграв же ставку, раздражались самую неразборчивую бранью, а выиграв — испускали крики не менее отвратительной, дикой радости. Один только хозяин-распорядитель

игры, да бессменно дежуривший за спиной его придворный казначей, владели еще собою. По временам лишь отирая фуляром свое лоснившееся от пота голое темя, пан Мнишек с одинаковым невозмутимым достоинством принимал и раздавал ставки, и успокаивал проигрывающих обещанием дать им сейчас случай отыгратся, или же советовал им, «для перемены счастья, подкрепиться». «Подкрепление» же, в виде целой батареи всевозможных глечиков и пугар, кубков и чарок, было предусмотрительно поставлено в том же покое на другом столе. Что играющие усердно искали новых сил у этого источника, можно было заключить из того, что несколько сосудов было уже опрокинуто или брошено под стол, а на самом столе и на полу около него стояли целые лужи желтого, светло-красного и темно-пурпурового цвета.

— Вот, ваша княжеская милость, и наше поле битвы, — заметил шут Курбскому. — Много пролито у нас здесь уже крови, самой драгоценной виноградной крови! Но пролита она не даром, без толку, а представляет нечто весьма назидательное для пытливого ума;

ибо что в сущности мы видим тут перед собою, как не образцовую ландкарту?

Говоря так, шут размазывал еще более по полу своим дурацким жезлом разлитое вино.

— Вот, извольте видеть, Черное море, вот Средиземное, а вот и Красное, в коем, как всем ведомо, со всею своею ратью потонул приснопамятный Фараон. И у нас здесь немало таких фараонов, хе-хе-хе!

Тут один из игроков отозвал шута в сторону. Курбский видел, как игрок сердился, кипятился, тогда как шут прелюбезно ухмылялся, с соболезнаванием пожимая плечами. В заключение между обоими произошел любовный обмен: игрок нацарапал что-то на клочке бумажки и отдал ее баляснику, а тот отсчитал писавшему несколько дукатов и отвесил ему нижайший поклон. Сунув затем расписку с самым довольным видом в карман, он достал оттуда свою серебряную табакерку и наградил себя большой щепоткой табаку.

В дверях показался пан Тарло. Сделка его с евреями, по-видимому, не состоялась: хмурое лицо его выражало явную досаду. Балцер Зи-

дек уже подскочил к нему:

— Ну, что, ясновельможный? Говорил ведь я, что напрасно пойдете. Уступите-ка мне.

Пан Тарло даже не взглянул на него и большими шагами подошел к игорному столу.

— Вот моя ставка — алмазный перстень, — сказал он, — как воспоминание о милом прошлом, он для меня неоценим; но сам по себе он довольно ценен. Я ставлю его за двадцать дукатов.

Пан воевода взял перстень в руки, чтобы удостовериться в действительной его стоимости. Кругом слышались возгласы восхищения.

— Откуда у вас такая славная вещица, пан Тарло? Курбский протеснился также к столу.

— Нельзя ли и мне взглянуть? Может быть, я знаю этот перстень.

Пан Тарло запальчиво вскинулся на молодого русского князя.

— Неоткуда вам знать, князь, да и незачем знать! Перстень был уже в руках Курбского.

— Это — перстень панны Биркиной! — не колеблясь, объявил он. — Он утерян ею...

Все взоры разом обратились на пана Тарло. Лицо щеголя пылало; жилы на лбу у него налились, черные глаза неустойчиво бегали по сторонам.

— Вздор!.. — буркнул он.

— Он утерян ею в Жалосцах, — отчетливо повторил Курбский, — и вами, пане, поднят, утаен.

— Это гнусная ложь!

В присутствии целого общества высокородных панов его же обвиняли во лжи! Молодое самолюбие Курбского было смертельно уязвлено. Кровь ударила ему в голову; самообладанию его был конец. Одним движением богатырского плеча он отбросил в сторону шляхтича, разделявшего его от его обидчика.

Но пан Тарло предупредил его: в руках его блеснуло что-то — и молодой богатырь отшатнулся, упал на руки окружающих. Из груди его вырывалось болезненное хрипение, а в самой груди торчал кинжал, из-под которого сочилась кровавая струя.

Нетрудно представить себе последовавшее смятение. Неприятнее всех, понятно, был поражен хозяин. Крикнув подвернувшемуся

маршалку, чтобы тот бежал за доктором, он шепотом приказал стоявшему позади его казначею прибрать со стола всю кассу, а сам поспешил в танцевальный зал — поставить в известность о случившемся московского царевича.

Пан Тарло — надо отдать ему справедливость — забыл уже о своем перстне и ранее даже маршалка бросился за врачом.

Никто не заметил, как роковой перстень из рук Курбского скатился на пол, и, как особенно усердно хлопотавший около бесчувственного, Балцер Зидек что-то поднял с полу.

Глава тридцать третья

МСТИТЕЛЬ

В ожидании своей очереди в мазурке, панна Марина стояла на своем месте рука в руку с царевичем и с благосклонной улыбкой выслушивала какие-то оживленные его объяснения, когда пан воевода, видимо взволнованный, подошел к ним.

— А! Папа! — сказала она. — Что это с вами? Не случилось ли чего?

— Случилось, сердце мое, нечто очень прискорбное, что касается и его царского величества.

С тактом опытного дипломата, никого не обвиняя и никого не оправдывая, пан Мнишек глубоко соболезнующим тоном рассказал о кровавом столкновении между Курбским и паном Тарло. Димитрий был так потрясен, возмущен.

— Вы тотчас, конечно, возьмете этого Тарло под стражу и предадите уголовному суду! — воскликнул он.

— Арестовать его, пожалуй, можно, — ото-

звался осторожный Мнишек, — относительно же предания суду придется снести с Краковом: пан Тарло — большой фаворит его величества короля нашего, а королевское благорасположение нам теперь более, чем когда-либо нужно.

Соображение это видимо умерило гневный пыл царевича и, наскоро попросив извинения у своей дамы, он поспешил в игорную, сопровождаемый хозяином.

Панна Марина глядела им вслед, нахмутив брови, кусая губы. В душе ее как будто происходила борьба. Вдруг она пришла к какому-то определенному решению. Окинув зал быстрым взглядом, она махнула веером пану Осмольскому, стоявшему неподалеку и по-прежнему не спускавшему с нее глаз.

— Что прикажет панна?

— Мне действительно требуется от вас услуга, — настоятельно заговорила панна Марина. — Вы, я знаю, благородны и храбры: вы его примерно накажете!

— Накажу? Кого и за что?

С видом самого искреннего негодования повторила она то, что слышала сейчас от от-

ца.

— Да почему, однако, вы так уверены, что пан Тарло утаил перстень? — возразил пан Осмольский. — Он никогда не был мне близок; в последнее время менее, чем когда-либо прежде: но как бы то ни было, он — рыцарь, и к присвоению себе чужой собственности я считаю его неспособным.

— А я считаю его ко всему способным! Я ни на миг не сомневалась, что он виноват: зачем бы ему было выходить так из себя, зарезать человека?

— Да потому, что тот обвинил его перед всеми в таком низком поступке. Я сам бы не отвечал за себя...

— Нет, нет, милый пане, вы-то уж верно не подняли бы на кого-нибудь руки, не разъяснив дела.

— Да кто из них был нападающий? Напал же ведь первым этот русский князь; пан Тарло только оборонялся.

Хорошенькие глазки панны Марины гневно засверкали.

— Так вы, значит, отказываетесь? — запальчиво проговорила она. — Признайтесь

уж прямо: пан Тарло слишком хорошо дерется на саблях, на пистолях, и вы не уверены, что сможете справиться с ним...

Пан Осмольский слегка побледнел, но сохранил прежнее наружное спокойствие.

— Хвалиться я не умею, но от поединка, если он неизбежен, поверьте, никогда не уклонюсь, — отвечал он.

— А не уклонитесь, так и не извольте рассуждать!.. О, добрый вы мой! — совсем изменившимся, мягким голосом тише прибавила она. — Простите мне мою горячность! Но если бы вы знали, как этот пан Тарло мне надоедает, особенно со вчерашнего дня, когда прибыл сюда царевич; шагу мне просто не дает сделать! Уберите его с моих глаз, чтобы мне никогда более не слышать о нем! Случай такой удобный...

— Чтобы отделаться от него да, кстати, и от меня, потому что, кто бы из нас двоих ни был убит, другой будет сослан?

Панна Марина так и вспыхнула, но поборола себя.

— Если бы я хотела отделаться от вас, пане Осмольский, то давеча уже не удержала бы

вас; сами вы, я знаю, настолько уважаете себя, что никогда уже не показывались бы мне на глаза.

— Это верно...

— Вот видите ли. Вы, может быть, спросите: какое мне дело до этого Курбского? Лично до него мне, конечно, нет никакого дела. Но он — ближайший друг и советник царевича. Что же подумает царевич о нас, поляках, если мы безучастно допускаем убийство? Вы загладили бы наш общий позор...

— А кстати устранил бы, как вы сами говорите, и помеху для вас в лице пана Тарло и меня, — с невыразимо горькой улыбкой досказал пан Осмольский. — Теперь я вполне вас понял! Желание ваше будет в точности исполнено.

Отдав молодой панне формальный поклон, он отправился в игорную.

Здесь, между тем, перевязка Курбского подоспевшим врачом близилась к концу. Раненый не приходил еще в себя, а на вопрос царевича: «Есть ли надежда?» врач только плечами пожал:

— До утра дотянет.

По требованию Димитрия смертельно раненый был перенесен в свои покои. Пан Мнишек, удаляясь вместе с царевичем, шепнул несколько слов бывшему тут же секретарю князя Вишневецкого, и тот любезно обратился теперь к оставшимся:

— Пан воевода просит вас, панове, без него не стесняться и продолжать игру.

Приглашение было принято с общим одобрением. Все вострепнулись, разом заговорили. Одни двинулись опять к игорному столу, другие — предварительно к столу с винами.

— Не видали вы пана Тарло? — отнесся пан Осмольский к пану Бучинскому.

— Как мне приходит теперь на память, — отвечал тот, — он выбежал тотчас, как пан воевода крикнул доктора. По всей вероятности, он побежал за доктором, а дорогой его кто-нибудь задержал...

— А может быть и скрылся, чтобы не отвечать за убийство?

— Вы про кого это говорите, пане Осмольский? — раздалось тут со стороны дверей. — Надеюсь, что не про меня?

На пороге стоял сам пан Тарло.

— Именно про вас, — резко отчеканил пан Осмольский. — Кто убил человека, не дав ему защищаться, тот не рыцарь!

Пан Тарло вспыхнул и схватился за саблю:

— Вам, видно, угодно драться со мною?

— Очень рад: этим вы докажете по крайней мере, что не всегда нападаете на безоружных. Просим, Панове, посторониться!

Не успели озадаченные свидетели этого столкновения сообразить, в чем дело, как два тайные, но смертельные недруга с обнаженными клинками бросились уже друг на друга. Удары звонко сыпались за ударами. Ни один из двух бойцов, по-видимому, не уступал другому в фехтовальном искусстве. Но тогда, как пан Тарло то и дело наносил удары, пан Осмольский более защищался. Вдруг первый с проклятием отскочил назад и схватился рукой за щеку. Кровь струями брызгала между пальцев.

Поединок был окончен. Пока присутствующие столпились вокруг раненого и тщетно старались унять у него кровь (оказалось, что острое лезвие вражеской сабли рассекло ему щеку от уха до губ и обнажило весь ряд зу-

бов), пан Осмольский хладнокровно вытер платком окровавленную саблю, вложил ее в ножны и возвратился в танцевальный зал.

Здесь в танцах наступила пауза, и панна Марина гуляла по залу об руку с своей фрейлиной Брониславой. Пан Осмольский прямо направился к ней и с чинным поклоном отрапортовал так, как рапортовал обыкновенно самому пану воеводе о полковых делах:

— Воля панны исполнена: до времени он безвреден.

Лицо молодой панны покрылось густым румянцем.

— До времени? — повторила она. — Значит, он ранен, но не опасно?

— Нет, но все же настолько обезображен, что не скоро решится предстать перед ясные очи панны. Довольна ли панна?

— Стало быть, я могу спокойно удалиться. Будьте счастливы!

— Куда же вы, пане региментарь?

— Куда долг велит.

Разыскав пана воеводу, пан Осмольский доложил, что покушался-де преднамеренно на жизнь пана Тарло, нанес ему кровавую ра-

ну и, раскаиваясь, просил бы, как милости, сослать его, Осмольского, немедля в отдаленную исправительную хоругвь. Возражения совсем ошеломленного пана Мнишка ни к чему не повели: любимец его настаивал на своем, и еще до рассвета наступающего дня он был уже в пути на другой конец воеводства — отбывать свою вымышленную вину.

Глава тридцать четвертая ЕЩЕ О МАРУСИНОМ ПЕРСТНЕ

Придворный врач пана Мнишка чересчур уже поторопился похоронить молодого русского князя. Благодаря своему крепкому телосложению, Курбский пережил не только следующее утро после знаменательного придворного бала, но и недели, и месяца. Правда, жизнь его долго висела на волоске, и выздоровление шло крайне медленно.

Мокрая, непогодная осень буйно стучала и хлопала ставнями его опочивальни, а в палисаднике перед его окнами обрывала с деревьев пожелтевшие листья. В полупотемках, за спущенными подзорами больной беспомощно

был распростерт на своем ложе под шелковым одеялом то мечась в горячечном бреду и бормоча бессвязные слова, то изредка приходя в себя, чтобы вслед за тем снова впасть в забытье.

Зимние вьюги заунывно завывали в печной трубе, зазвенели снежными хлопьями по расписным «шклянным» окнам, а в палисаднике намели целые сугробы снега. Курбский продолжал лежать и только временами, очнувшись, видел потухшим взором, точно сквозь дымку, участливо склонявшееся над ним лицо доктора или фельдшера.

Наконец, в болезни произошел перелом к лучшему. Курбский стал довольно быстро поправляться, сидел уже в постели.

Но когда его в первый раз одели, усадили в кресло и, по желанию его, подкатили в кресле к окошку, его охватило невыразимо тоскливое чувство — чувство глубокого одиночества. Зима, зима снежная, студеная, бесприютная и на дворе-то, и на душе у него; ни листика не осталось...

А царевич? Тому, знать, и горя мало: по неделям, слышно, разъезжает по воеводству,

побывал и в Варшаве, пирует то там, то сям...

В таком-то грустном, подавленном настроении сидел опять Курбский перед окошком, когда скрипнула дверь и послышался вкрадчивый голос:

— Дозволите войти?

Курбский оглянулся. В дверь просунулась продувная размалеванная рожа в дурацком колпаке с бубенцами. Больной слабо улыбнулся.

— А, Балцер! Войдите.

Шут колесом перекувырнулся через всю комнату до Курбского и в знак особого почтения опустил перед ним до полу свой дурацкий жезл.

— Честь имею поздравить вашу княжескую милость с воскресением из мертвых! Только напрасно не закрыли еще этих гробов.

Он ткнул жезлом на лоб Курбского. Тот провел рукою по лбу.

— Каких гробов?

— А морщин на челе. Аль храните в них дорогих покойничков и зарыть жалко? Уберите их, уберите, пока не поздно. Будет время, иней старости убелит вам голову и бороду,



Шутъ опустилъ передъ нимъ свой дурацкій жезль.

мелкие дневные заботы, тайно грызущая скорбь изрежут, избородят вам все лицо ваше, и те маленькие детские гробики вы возьмете, увы, с собой уже в могилу!

— Я думал, Балцер, доктор прислал вас пошепить, позабавить больного. И без того-то, поглядите, какая непогода, поневоле взгрустнется.

— Виноват, ваша милость! Нарочно ведь и пришел попросить прощенья за непозволительную погоду. Не поставьте в вину! Слышите, как соборный колокол бьет? Дрожмя ведь тоже дрожит! Холодом, видно, отморозило язык. Придворный маршал наш и то обещает принять возможные меры.

— А не слышно ли чего нового из Кракова?

— Нового-то покуда ничего нету, а старого — сколько угодно, — отвечал шут, не раз побывавший в королевской резиденции вместе с паном воеводой и, с присущим ему даром подражания, тут же представил перед Курбским необыкновенно наглядно сцену в приемной королевского дворца в Кракове. Изобразил он дежурного рыцаря перед кабинетом короля и, с заложенными за спину ру-

ками, принялся расхаживать около входной двери с педантической равномерностью часового маятника, отбывающего свою положенную службу и не волнуемого никакими посторонними мыслями.

Но вот начинают прибывать один за другим разные более или менее высокопоставленные лица, допущенные к приему. Людям поменьше воображаемый дежурный слегка только кивал, отвечал отрывисто и коротко, перед сановниками же и вельможами он кошкою изгибал спину и нелепейшие вопросы их удовлетворял с заискивающей восхищенной улыбкой. Все эти разнообразные оттенки шут передавал так артистически тонко, что Курбский наслаждался его игрой, как художественным зрелищем. Расхвалив его, он выразил удивление, что тот, такой прекрасный лицедей, не пойдет на королевскую сцену, где заслужил бы и славу, и деньги.

— Да, деньги — великое дело! — подхватил Балцер Зидек, у которого при одном упоминании о деньгах глаза разгорелись. — Это — цель, к которой все мы стремимся; это — орех, который всякий бы разгрыз; это — ябло-

ня, которую всякий бы потряс; это — цветок, который всякий бы понюхал... А кстати, — прервал сам себя шут, — не богат ли нынче ясновельможный князь пенензами?

На ответ Курбского, что деньгам у него в последнее время неоткуда было взяться, Балцер Зидек покачал головой.

— А жаль: перстенок-то этак, пожалуй, из рук уйдет.

Курбский встрепенулся.

— Перстень? Какой перстень?

— А тот самый, извольте знать, из-за которого у вас с паном Тарло тогда эта свара вышла.

Курбский чувствовал, как кровь горячо хлынула ему от сердца в голову.

— Да где ж он теперь, этот перстень? — спросил он, стараясь, хотя и не особенно успешно, принять равнодушную мину. — Не у вас, Балцер?

— Куда мне с ним! Да и капиталов у меня таких нет.

— Так у кого же?

— А вы, князь, не выдадите меня?

— Разумеется, нет.

— Назвать этого человека я лучше все же не назову. Скажу только, что это — один еврей-ростовщик здешний...

— Пан Тарло продал ему, видно! — воскликнул Курбский.

— Нет, нет, пан Тарло тут право же ни при чем! — перебил Балцер Зидек, точно испугавшись, как бы пан Тарло не узнал от Курбского о месте нахождения перстня. — Сказал я вашей княжеской милости о перстне потому, что не нынче — завтра его повезут на продажу в Краков; а вам, сдавалось мне, перстень-то приглянулся...

Пронырливый шут украдкой вскинул на молодого князя такой острый взгляд, словно хотел проникнуть в тайник его души. Курбский овладел уже собой и проронил небрежно, как бы только из любопытства:

— А много ли требует за него этот еврей?

— Да сто дукатов, слышно.

— Ну, таких денег у меня и в заводе нет!

— Может статься, он сделает скидку.

В это самое время к Курбскому вошел прислужник с докладом, что пан Тарло желал бы его видеть.

— Пан Тарло? — удивился Курбский и нахмурился. — Скажи, что я еще болен и никак не могу его принять.

Но, едва только слуга вышел исполнить приказание, как в горницу, без дальнейшего уже доклада, ворвался сам пан Тарло.

— Сидите, князь, сидите! — крикнул он еще от дверей и с каким-то насильственным прямодушием протянул Курбскому руку. — Вам ходить, я знаю, еще трудно. А вы, Балцер, извольте-ка оставить нас одних.

Шут нехотя повиновался. Курбский, не принимая протянутой руки, холодно заметил:

— Не понимаю, пане, что вам еще угодно от меня.

— А вот, если позволите, сейчас вам изложу, — отвечал гость, с тою же развязностью, без приглашения, пододвигая себе стул. — Вы, может быть, удивлены, что я не в отъезде вместе с другими? Во-первых, я отбывал здесь, из-за нашей стычки с вами, двухмесячный арест; во-вторых, я тоже инвалид, — прибавил он, указывая на свою повязанную щеку, — из-за вас же поплатился...

— Слышал; но все же не понимаю, пане Тарло...

— Будьте милостивы выслушать до конца. Та кон-фузия учинилась между нами так нежданно-неоглядно, что ни вы, ни я сам не взвесили хорошенько наших слов и поступков. Скажите: вы, верно, подметили тогда в жалосцском лесу, как я поднял с земли перстень панны Биркиной?

— Не сам я заметил, а цыганка...

— Ну, так! Теперь все ясно, как день. Вы знали, что я завладел перстнем и не только его не возвращаю, а проигрываю даже в ставке. Понятно, что у вас должно было зародиться подозрение... Но клянусь вам Пречистой Марией, — торжественно продолжал щеголь, поднимая для клятвы три перста, — мне хотелось только наказать, помучить панну Биркину. Но тут она ночью, ни с кем не простясь, исчезает; перстень ее остается у меня залогом на руках. За игрой, каюсь, я теряю голову. Проигравшись дотла, я, как в чад, поставил перстень, чтобы вернуть проигрыш... Было это легкомысленно, согласен, но что поделаешь с дикою страстью? В страсти человек уже

сам не свой. Притом же перстень временно был как бы моею собственностью, арендной статьей, и я имел в некотором роде даже право располагать им, чтобы впоследствии, разумеется, возвратить в целости кому следует. Удержать его навсегда у меня, понятно, никогда и на уме не было. Вы, надеюсь, верите мне, любезный князь?

Он говорил с жаром и, по-видимому, вполне убежденно в правоте своей. Не разделяя его своеобразного взгляда на чужую собственность, Курбский не мог почти сомневаться в его искренности.

— Положим, что и поверил бы, — сказал он, — но...

— Пожалуйста, без всяких «но!» Скажите прямо: верите вы мне или нет?

— Верю...

— Вот за это слово вам великое спасибо! Представьте же себе, как должно было взорвать меня, рыцаря, когда перед целым обществом таких же рыцарей вы обозвали меня лжецом! Я — ратный человек головой и сердцем; более того, без неуместной скромности, — я горд и лют, как лев: не дай Бог кому

раздражить меня! Тогда я — кровожадный царь пустыни, и обидчику моему нет пощады! Вы, может быть, спросите: «да где же теперь перстень?» А ей-Богу же, руку на сердце, не ведаю! С игорного стола тогда он как в воду канул. Где бы он теперь ни был, я омываю уже руки. Черт с ним! Сгинь он совсем, и знать про него не хочу!.. Покаяние мое конечно. Но, «кто старое вспомянет, тому глаз вон», говорят у вас на Руси. Сам я на вас ничуть уже не злоблюсь, а напротив того, душевно даже жалею, что причинил вам такую неприятность, хотя пострадал гораздо больше вас.

На лице Курбского он прочел, должно быть, некоторое недоумение, потому что решился на акт геройского самоотречения.

— Вы, пожалуй, думаете, что мне мою рану легче переносить, чем вам вашу? Так извольте же: в виде особого доверия, для конклюдзии, я покажу вам то, чего до сего часа ни единый человек в мире, кроме врача моего, еще не видел.

Он стал осторожно снимать со щеки своей повязку. В пальцах его заметна была нервная дрожь; сжатые губы его передергивало; но он

выдержал свой «рыцарский» характер — и повязка спала.

— Ну, что? Хорош?

В натянутом смехе щеголя слышалась какая-то удалая, хриплая нотка.

Курбский, взглянув, в самом деле испугался. Вдоль всей левой щеки пана Тарло, от угла рта до самого уха, зияла глубокая рана, хотя и сшитая, казалось, но потом как будто опять растравленная, потому что цвет ее по середине был ярко-пунцовый, а к краям она переливала цветами радуги от бледно-желтого до темно-лилового.

— Бог мой! Кто вас лечит, пане? — спросил Курбский. — Ведь рану-то вам совсем разбередили.

— Правду сказать, и моя тут отчасти вина, — сознался пан Тарло, старательно перед зеркалом налагая себе опять повязку. — Кто мазь советовал, кто присыпку, примочку...

— И вы, небось, слушали всякого, пытали всякую дрянь? Побойтесь Бога! За что вы терзаете себя? Промывали бы себе щеку по несколько раз в день просто студеной водой — в неделю бы зажило. По себе сказать

могу: видите шрам на лбу?

— Тоже от поединка?

— Н-нет, — замялся Курбский, — в лесу раз недобрые люди напали, до кости череп расквасили...

Пан Тарло чуть-чуть усмехнулся: припомнил, видно, что слышал от покойного Юшки про участие молодого князя в разбойничьей шайке.

— А теперь вот только малый след остался, — сказал он. — Так вы думаете, любезный князь, и у меня так зарастет?

— Хоть, может, и не так: очень уж запустили, но все же куда скорее, чем от мазей и присыпок.

— И показаться в людях скоро можно будет? Курбский понял, перед кем тот так опасно скрывал свою изуродованную щеку.

— Отчего же нет? — отвечал он. — Для очей женских нет ничего краше, как этакий изрядный шрам на лице рыцаря.

Рыцарь просветлел.

— И то правда! Вы, князь, душа-человек! А я-то, признаться, к вам вот зачем. Царевич ваш доселе на меня из-за вас косо смотрит. Не

замолвите ли вы ему при случае дружеское слово за меня?

Заискивающий, притворно задушевный тон, которым была произнесена эта просьба, охладил снова минутное участие Курбского к пострадавшему через него врагу.

— После того, что было между нами, пане Тарло, о дружбе у нас с вами не может быть и речи, — сухо отвечал он. — Да и нуждаетесь ли вы в чьем-либо заступничестве?

— Ну, полноте, князь! Ваше слово для всякого ценно. Я твердо рассчитываю на ваше рыцарское отношение к вашему прежнему врагу.

И, поцеловав Курбского по польскому обычаю в плечо, гость, наконец, удалился.

Балцер Зидек, должно быть, стоял за дверью, потому что тотчас за уходом пана Тарло юркнул опять в комнату.

— А! Каков перстенок-то? — говорил он, повертывая во все стороны надетый у него на указательном пальце алмазный перстень, который от этого так и сверкал, так и переливался разноцветными огнями.

— Дайте его сюда, Балцер! — отрывисто

сказал Курбский, которому было невыносимо видеть Марусин перстень на руке балясника.

— Извольте, ваша милость! Еврея-то я уломал-таки: отдает за пятьдесят дукатов.

— И это для меня, признаться, много.

— Рассрочит! Покуда ваша милость надумаетесь, он вас не будет тревожить. Прошу прощенья: меня звали.

И с тою же поспешностью Балцер Зидек скрылся из комнаты, оставив заманчивый перстень в руках молодого князя. А Курбский? Первым побуждением его было — крикнуть назад шута; но голос у него замер в горле. С какою-то скорбною радостью стал он разглядывать перстень.

«Что за прелесть! Надо возвратить Марусе, непременно возвращу. Но через кого? Случай найдется. А до времени...»

Он расстегнул у себя ворот, достал тельный крест с образком своего ангела и, сам перед собой краснея, на одной цепочке с образком прицепил «заповедный» перстень.

Глава тридцать пятая В КОМ СИЛА

— Да ты, князь Михайло, совсем, я вижу, — Дмолодец-молодцом! — сказал царевич, возвратившись опять из многодневной отлучки. — Из лица только маленько еще бледен. Поправляйся, поправляйся, — пора; ты мне более чем когда-либо нужен.

На вопрос Курбского: как он доволен своим объездом воеводства и поездкой в Варшаву, Димитрий немного замялся: потом нехотя отозвался, что принимали-то его паны вообще радушно, даже пышно, «чисто по-польски...» Но раздумчивый, озабоченный вид его показывал, что ожидал он еще чего-то иного.

— Да тебе же, государь, посулили, что они все горой как один человек, станут за тебя на сейме? — прямо поставил уже вопрос Курбский.

— Сулить-то сулили...

— А на поверку-то не то выходит?

Царевич взял друга своего за руку и усадил его на диван рядом с собою.

— До сегодня, Михайло Андреич, жалеючи тебя, больного, я не хотел тебя своими делами тревожить: не расхворался бы еще пуще...

— Да ведь я же, государь, сам видишь, все равно, что здоров.

— Вот потому-то мне и охота бы теперь побеседовать с тобой душевно. Хоть и с высокими людьми я вожусь тут, а опричь одного тебя, у меня здесь нету доселе (что греха таить!) ни единого истинного доброжелателя. У всех у них одно лишь на уме: покорыстоваться от меня, будущего царя московского. Ты же — человек совсем верный, тайны никакой не выдашь...

— Сроду этого не делывал! Всякая тайна у меня в груди, что искра в кремне, скрыта.

— Знаю. А ты же человек рассудливый, смысленый: пособишь мне, может, думы мои избыть. Считаться мне надо, изволишь видеть, в особину и с королем-то в Кракове, и с сеймом польским, и с братьями-иезуитами. Король Сигизмунд, как ведомо тебе, родом королевич свейский; ему куда хотелось бы свейскую корону сохранить за собой да за юным сыном своим Владиславом; но дядя его, Карл,

норовит утянуть ее, и идет у них ныне бой смертный в Ливонии: чья возьмет.

— А ливонцам-то в чужом пиру похмелье? — вставил Курбский. — Паны дерутся, а у хлопцев чубы трясутся.

— Судьба, значит. Да что нам до ливонцев! Кто их ведает: за кого они! Доселе же счастье ратное клонилось более к полякам: великий гетман коронный, Замоиский, бывалый, старый вояка, поотобрал у свейцев всякие города ливонские: и Вольмар-то, и Феллин, и Белый камень (Вейсенштейн); а гетман литовский Ходкевич месяц назад штурмом взял последний оплот их — Юрьев (Дерпт). Все бы, кажись, ладно, да сам Сигизмунд этот себе и народу своему враг: спознался, хороводится, вишь, с колдунами заморскими, алхимиками, что железо да медь в золото претворяют — и уходит у него подлинное золото в трубу паром! Паче же того, слышь, гульба его одолела: до всяких затей придворных, потех рыцарских зело падох; на дело-то свое государево не удосужится, а по пустякам, на ветер, что пыль, казну свою королевскую пускает! Глядь, на рать-то в Ливонии и гроша медного

уже неоткуда взять; и ропщет рать, не покорствуют гетманы. А тут еще намереди на большом сейме варшавском отрешил старца Замойского, произвел в великие маршалы коронные прихвостня своего Мышкоского; ну, и замешалось все, прахом пошло!.. Сколько их теперь от него отшатнулося!.. Довелось мне побывать на таком малом их сейме. Что у шляхты этой там деется! Все как есть врозь: кто за кого, кто за что; ни ладу, ни толку; слушаться никому не в охоту, а в региментари, в гетманы всякий метит.

— Но отчего эти сеймики у них такую силу взяли?

— На то Речь Посполитая! Ведь король-то здешний без воли сейма ни единого ратника в поле не поставит, ни единой подати не наложит, не отменит. Намеркал мне по тайности хозяин наш Мнишек про короля Сигизмунда, что не прочь бы он, пожалуй, и руку мне подать противу Годунова; как воссел бы я на царство, так пособил бы ему в свой черед осилить свейцев; долг платежом красен. Да и с Русью-то нашей московской на двадцать лет, вишь, крепкий мир у них слажен, и сейм

вряд ли соизволит ныне же идти на Годунова. А тут и с Ливонией еще не порешили. Где ж им для меня рати, денег взять?

— Была б охота — все найдется! — с уверенностью сказал Курбский. — Нагляделся я, чай, как живут они здесь; всякий шляхтич — маленький воевода, а воево-Да — тот же круль польский. Так у них ли деньгам не найтись? А что до рати, то только клич кликнуть; всякий шляхтич — рыцарь, всякий себе, коли нужно, хоругвь ратников наберет. Была б охота, государь: «Хочу» — половина «могу».

— То-то вот и есть! — промолвил Димитрий, и в голосе его послышалась затаенная горечь. — Сам Мнишек, пожалуй, все для меня сделает — не из-за меня, конечно: что ему в русском царевиче?

— А из-за дочери своей, панны Марины?

— Знамое дело. Скажу прямо: нужен ему для нее царский венец. А откажись я от нее — и он для меня, москаля, палец о палец не ударит.

— Не во гнев молвить твоей царской милости: опостылела она, значит, самому тебе?

Царевич помолчал, потом глубоко вздох-

нул.

— Эх, милый ты мой! Совсем она, злодейка, напротив, извела меня...

— Так зачем же, прости, дело стало? Не русская она, правда, не нашего закона; но ради мужа, коли точно любит, за верой не постоит.

— «Коли любит!» В этом-то и загвоздка... Слышал, я чай, что ее второй месяц в Самборе уже нет?

— Сказывали мне, государь: скоро после приезда нашего занемогла, мол, да лекарями к сестре княгине в Жалосцы услана.

— Так, верно. Но чем занемогла, отчего? Ведаешь ли?

— Не ведаю, государь.

— И тебе бы ни словечком не промолвился — да невмоготу! На другое же утро после того праздника, что задал мне пан воевода и где ты, бедняга, так поплатился, с дочкой его что-то совсем неладное учини-лося, словно кто обошел ее. Не то, чтобы хворь какая лютая напала на нее, нет; но девичью резвость с нее разом как ветром свеяло, головушку повесила, из очей ясных свет выкатился... И отвез-

ли ее тут к Вишневецким — другим-де воздухом подышать. Да и точно воздуху не хватало ей...

— Прости государь, в толк не возьму.

— Сам я тоже спервоначалу уразуметь не мог, уныло продолжал Димитрий. — Да затейник этот, шут Балцер Зидек, глаза мне открыл: рассказал такую притчу...

— И денег при этом выклянчил?

— А ты-то, Михайло Андреич, почему знаешь?

— На себе изведал.

— Да, сребролюбец! Но притча его все же как бы на правду похожа. За голубкой-де, говорил он, гнался могуч орел: откуда ни возмись тут ясен сокол, из-под когтей орлиных унес ее... А кому ж и быть тем соколом, как не пану Тарло? Все кружился около моей голубки, доколе крыл ему не обкарнали. Устыдился он, укрылся от всех очей. А она с того же часу стосковалась: унес он, знать, сердце девичье!

— Нет, царевич, догадка твоя (не в зазор молвить) не на одну ножку — на обе хромает. Буде этот пан Тарло точно люб ей, статочное ли дело, чтобы она в беде покинула его? Хоть

не видела б, да с порога его не сходила б, чтобы ежедневно, ежечасно знать, каково-то ему, бедному. Она ж, словно ей и горя мало, живет себе за тридевять земель, и ни слуху от нее, ни духу. Это ль любовь верная, горячая?

— Да что же тогда было с ней? По ком она горюет?

— Во всяком разе не по пане Тарло. И горюет ли еще, полно? Мне же, государь, сдается совсем иное.

— Что же?

— Ведь она, как ни есть, ляхитка...

— Ну?

— В иезуитской тоже школе побывала: хитрости-мудрости ее не учить стать. Видит, что сухоту навела на сердце орлиное, и у самой в жилах кровь, не вода; любовь — пожар: загорится — не потушишь. Да у орла-то крылья еще подпешены, нету полета орлиного. Вернее, стало, у моря погодуждать: взлетит он в поднебесье — ладно: с собой голубку орлицей унесет; не взлетит — просим не прогневаться: голубка и соколом не побрезгает.

Димитрий немного ободрился и в волнении зашагал по комнате.

— Дай Бог, Михайло Андреич, чтобы догадка твоя верна была... Такая, я тебе скажу, присуха напала, что просто жизнь не в жизнь! Без брачного венца с ней не надо мне и царского венца!

— А ей без царского венца к брачному проку нет! — Досказал Курбский. — Как, значит, ни раскидывай, а первым делом тебе, государь, надо заручиться царским венцом.

— Легко сказать! Ни от короля, ни от шляхты, сам видишь, помощи не жди. Остается одна, последняя сила земная, недобрая, правда...

— Иезуиты? — догадался Курбский. — Берегись их, царевич! Баламуты эти, коли захотят, точно, вознесут всякого, возвеличат; захотят — втянут в беду неизбывную.

— Но они, сам ты говоришь, все могут: и короля-то обойдут, окрутят, и шляхту...

— И тебя самого, государь!

— Меня? Да что им от меня?

— Через тебя они дорожку себе на Русь проторят.

— Ну, проторят, нет ли — это еще вилами по воде писано. Что вперед загадывать? А в них, повторяю тебе, вся сила! Покуда мое дело

ни шагу, можно сказать, не двинулось; а почему? Потому что я силы той сторонился. Не даром же и патер этот Сераковский все около меня ходит да бродит, словно поджидает только случая...

— Ну, вот, вот! Как волк, чует уже поживу. Берегись его, право!

Димитрий через плечо оглянулся на своего друга и самонадеянно, гордо усмехнулся.

— А я ему, мнишь ты, в руки так вот и дамся? Лукавец он, верно, какого поискать; но колебать православие мое доселе не пытался. А попытается — так разумом я тоже не совсем плох: погодим еще, кто кого перелукавит.

Горько было Курбскому слушать такие речи царевича; но возражать было уже бесполезно: в иезуитах Димитрий видел теперь единственную свою надежную опору, а при упрямстве своем он, конечно, не отказался бы от принятого раз решения.

«Оберечь бы мне тебя только по мере сил; глядеть в оба!» — обещал себе Курбский. Но, увы, углядеть все никому не дано. Видел он, что царевич не раз сам искал теперь обществу патера Сераковского, видел, что между

обоими происходили какие-то таинственные совещания; но о чем именно они совещались — Димитрий пока умалчивал, точно опасался влияния на себя своего друга и советчика. Вскоре один из подначальных Сераковскому иезуитов отбыл в Краков; но в какой связи отъезд его был с планами царевича — для Курбского точно также оставалось загадкой.

Незадолго до Рождества, когда они раз были наедине, царевич не утерпел, казалось, снова поделиться с единственным своим доброжелателем занимавшими его мыслями.

— Помнишь еще, Михайло Андреич, разговор наш о том, в ком вся сила? — начал он. — Вот у меня письменное свидетельство, что я был прав.

— Что сила в иезуитах?

— Да.

В руках царевича оказалось распечатанное письмо.

— Кто тебе пишет, государь?

— Это не ко мне.

Он показал Курбскому надпись. На затылке письма значилось по-польски:

«Преподобному патеру Николаю Сераковскому в Самборе от патера Андрея Ловича в Жалосцах».

Курбский удивленно поднял глаза на царевича.

— Патер Сераковский сам отдал грамоту эту в твои руки?

Димитрий как-то насильственно усмехнулся.

— Нет, друг мой; что она теперь у меня, он, конечно, не знает. Балцер Зидек подъехал опять ко мне с иносказательным сном: приснилось-де ему, что у Сераковского выпала эпистолия, которую он, Балцер, поднял; а как проснулся, так оказалось, что сон в руку. И от пана Тарло было бы ему спасибо; да меня обойти он не счел-де возможным.

— Потому что пан Тарло в долгу, как в шелку, а ты верно не поскупился с ним!

— Да вот, послушай, сам оценишь. Говорили тебе, что панне Брониславе Гижигинской, первой фрейлине панны Марины, выпало крупное наследство?

— Да, после одной дальней родственницы. Слышал как-то.

— В начале тут в грамоте речь идет об ней. Прочту я нарочно тебе все дословно, чтобы ты видел, что за мастера эти красноглагольники улещать простаков.

«Fratre in Deo et Filii et Regina Coeli!

Спешу сообщить вам, что ваша драгоценная инструкция относительно панны Б. (то есть Брониславы, — пояснил царевич от себя в скобках.) привела к результату — если и не самому желанному, то все же благоприятному. Со своей стороны я приложил сперва все возможные старания, дабы воздействовать на наследницу. Указывая ей на такое наглядное непостоянство мужчин, приводя ей многие примеры несчастных супружеств и внушая ей вообще отвращение к брачной жизни, я, вместе с тем, рисовал ей в самых радужных красках святое житие смиренной девственницы, отрекшейся от всех мирских соблазнов и посвятившей себя всецело делам христианского подвижничества.

Успех казался обеспечен; зашла уже речь об отказе всего наследства в пользу нашей общины. Но тут на беду

пожаловал сюда этот неисправимый пан Т. (то есть Пан Тарло), который, как оказывается, едва вырвался из когтей своих самборских кредиторов. Богатая наследница была для него находкой. Отказавшись уже от журавля в небе — панны М., которая держит его теперь в почтительном отдалении от себя, он протянул руку за этой синицей, и та разом забыла все мои наставления и далась ему в руки. Пришлось прибегнуть к крайнему средству — напомнить ему, что он связан клятвой с общиной Иисуса, которая, незримая, неуловимая, неуязвимая и вездесущая, к преданным ей сынам церкви милосердна (что сам он неоднократно испытывал уже на себе), но беспощадна к ослушникам и изменникам. По невоздержности нрава он рвал и метал, но в конце концов стал умолять меня, на каких бы то ни было условиях, дать ему свободу. Что оставалось мне, *clarissime*, делать с этим сумасбродом, от которого общине доселе, правду сказать, более вреда, чем пользы? Памятуя ваши слова, что и половина наследства панны Б., по разме-

рам оного, была бы для нашей кассы ценным вкладом, я решился, на свой страх, освободить пана Т. от его клятвы, но с письменным от него обязательством при женитьбе на панне Б. уступить общине половину ее наследства. И вот сегодня состоялось торжественное обручение обоих. Жду дальнейших инструкций».

— Так вот они каковы, эти господа иезуиты! — заметил тут царевич. — С этой силой, как видишь, нельзя не считаться.

— А о панне Марине в письме ничего более не говорится? — спросил Курбский.

Глаза Димитрия заблестали.

— Говорится: «Настроение панны М. пришло в некоторое равновесие: она беззаботно порою опять шутит, смеется, хотя прежних девичьих дурачеств у нее уже не видать. Перенесенная ею душевная буря прошла для нее, как видно, не бесследно...» Какая ж то «душевная буря», скажи? Мне все думается на пана Тарло!

— А дальше в грамоте нет ничего об этом?

— Ни полуслова. Говорится только, что «ее тешит опять мысль о царском венце, но что и

ради этого венца она ни в каком случае не изменит своей римской веры...»

— А что я говорил тебе, царевич? — с живостью подхватил Курбский. — Она, увидишь, не только сама нашего закона не примет, но и тебя еще в свой обратит.

— Ну, до этого еще далеко! — уклончиво отозвался царевич; но в щеки его, тем не менее, поднялась краска. — Буде у панны Марины даже и было что такое в мыслях, — сам, друг любезный, посуди: они для нас еретики; мы для них схизматики. Чья же вера перед Господом угоднее и праведней: их или наша? Кому судить? За нашу восточную церковь, правда, вся Русь да греки; за них же — весь прочий мир христианский...

— Окроме лютерцев, кальвинов, гусситов! — горячо перебил Курбский. — Зачем же те-то от папы римского отступились? Знать, тоже неспроста!

— Вестимо... — пробормотал, не поднимая глаз, Димитрий и сложил письмо. — Но в иезуитах теперь и спасение мое, и погибель; а гибнуть я не намерен! Так ли, иначе ли, полагаю с ними.

— Но русского Бога своего, государь, все же не забудешь?

Царевич смело закинул голову.

— На Бога, милый, надейся, да сам не плошай!

Глава тридцать шестая СЕСТРА И БРАТ

Наконец-то они и в резиденции королевской, в самом Кракове! Расстояние, которое в наше время по железным путям мы безоглядно пролетаем в какие-нибудь сутки, полсутки, в те блаженные времена первобытных дорог и широкого гостеприимства требовало целых недель. И не мудрено: в сутки проезжали они много-много пять миль, да после каждых двух Дней на третий делали продолжительный привал.

Благо, высланные вперед для заготовки фуража и ночлега, два покоевца оповещали, как бы мимоходом, о предстоявшем проезде самборского воеводы с московским царевичем все жившее в своих имениях по пути их следования именитое панство, и оно наперебой

зазывало к себе высоких гостей. Известный своим несметным богатством хлебосольством князь Сангуш-ко подготовил для них даже медвежью облаву с таким банкетом, после которого у участников три дня головы трещали, и извинялся только, что, ввиду Великого поста, лишен был возможности устроить бал.

В самом Кракове наши путники не могли, разумеется, остановиться в одной из городских гостиниц, содержавшихся исключительно евреями и служивших пристанищем разве для проезжих купцов, а отнюдь не для вельможного панства. Поэтому, для найма соответственного помещения, еще за неделю вперед был отправлен туда полномочный комиссар. Комиссаром этим был ни кто иной, как пан Бучинский, которого пан Мнишек, убедившись в его необычайной деловитости и ловкости, переманил на службу к себе в Самбор. Поручение свое пан Бучинский выполнил вполне успешно, добыв для своего нового патрона и царевича со всем их штатом, на все время пребывания их в столице, целый замок с полной обстановкой; правда, за баснословную цену.

Наступал уже вечер, когда Курбскому удалось, наконец, выбраться на улицу, чтобы, после утомительного путешествия, поразмять члены, да кстати и осмотреть незнакомый еще город.

Март месяц был уже на исходе; стояла весенняя ростепель, и навалившие за зиму по городским улицам сугробы снега стекали теперь мутными ручейками по боковым канавкам, обнажая уже кое-где камень, так как главные площади и улицы королевской резиденции были вымощены на общеевропейский лад булыжником. Да и самый вид города был совсем особый, столичный. Самбор, хоть и центр воеводства, был почти сплошь деревянный: чистенькие мазанки в пять-шесть окон чередовались с убогими бревенчатыми лачугами, а меж ними то и дело тянулись нескончаемые заборы и плетни, за которыми на лужайках пасся всякий домашний скот. Здесь, в Кракове, напротив, встречались целые улицы с каменными громадами в два-три яруса; над воротами и над узорчатыми фронтонами красовались фамильные гербы, вытесанные из камня. А движение-то какое, тол-

котня по улицам — что муравейник! А пестрота, богатство нарядов: шелк да парча! Особенно же много замечалось черных ряс духовных лиц.

Шагая все вперед, Курбский забрел наконец в самый заброшенный — еврейский квартал. Тут он увидел и оборотную сторону Кракова. По середине теснейших, сажени в полторы, переулков струились мутные, зловонные ручьи, которые, надо было думать, в течение целого года не иссякали, так как улица служила единственным стоком для окружающих жилищ. Жилища же эти не заслуживали даже названия домов: это были какие-то безобразные, кое-как сколоченные логовища ужасающей нищеты, развалившиеся от сырости и грязи. Все они немилосердно перекошились и поддерживались только подпорками из кольев. Цельных окон и дверей почти не встречалось. Соломенные крыши насквозь перегнили, а кое-где и просвечивали. Казалось, довольно было подуть крепкому ветру, чтобы от целого квартала осталась только груда смрадного мусора. Удушливый смрад и теперь несся со дворов, из разбитых дверей и

окон. Несмотря, однако, на такие неблагоприятные условия, переулки эти людьми кишмя кишели; и все-то были в жалких рубищах, а женщины и малые дети поражали своим болезненным, изможденным видом. Но национальная живучесть сказывалась здесь: взрослые мужчины, скучась посреди улицы, с азартом размахивали по воздуху руками и убежденно спорили между собой на своем родном жаргоне о своих грошовых интересах. Маленькие Ицки и Шмуйлы с тою же юркостью шныряли между ног их, с тою же горячностью петушились, задирали Друг друга, чтобы вслед за тем перед более задорными Давать со всех ног тягу, распуская по ветру болтающуюся назади из разреза штанишек рубашечку — этот традиционный стяг израильского племени.

Но всего разительнее упрямую выдержку этого племени Курбский мог наблюдать в раскрытое окошко одной лачуги, откуда раздавался невообразимый гам детских голосов. То была еврейская школа, «хедер»: за отдельными столиками сидели или стояли кучки детей и в один голос галдели урок из талмуда,

вслед за своими маленькими репетиторами, безустанно покачиваясь под такт взад и вперед всем корпусом. Особенное же усердие, можно сказать ожесточение, в исполнении своих обязанностей выказывали сами репетиторы: сжатыми кулачишками со всей силы колотили они по столу, глаза у них просто выпучивались из головы, зубы оскаливались. Учитель же, «меламмед», без верхнего платья, с засученными рукавами и с лозою в руке только расхаживал между столами и прикрикивал, поощряя кого нужно лозою.

Заметив тут, в какую он забрел трущобу, Курбский повернул назад — в христианскую часть города.

Но выбраться из лабиринта тесных переулков было не так то просто, тем более, что уже смеркалось, и улицы как-то сразу вдруг опустели: некого даже спросить было о дороге. Уличных фонарей в ту пору даже в столичных городах не было в помине, и только мерцавший случайно из того-другого окна скудный свет сальной свечи или масляной лампы неопределенно озарял Курбскому дорогу.

Так он вышел на пустынную площадь пе-

ред каким-то костелом. Тут позади его послышался грохот быстро приближающихся колес; показалась легкая карета, запряженная всего парой коней. Когда экипаж поравнялся с ним, Курбский различил в спущенное окошко двух закутанных в вуали дам. Вдруг из бокового переулка выскочило трое каких-то лохматых субъектов — нищих или бродяг. В один миг лошади были остановлены, кучер и гайдук стащены с козел, дверцы кареты открыты... Грубая мужская брань, пронзительный женский крик...

Нечего говорить, что Курбский с обнаженной саблей бросился на грабителей. Один из них тут же растянулся под его ударом. Двое других обратились в бегство.

— Брат Михал! — раздался вдруг над ухом Курбского знакомый женский голос.

Но гайдук дам уже захлопнул дверцу, вскочил на козлы, и карета покатила далее.

Ошеломленный саблей Курбского третий грабитель пришел между тем в себя, вскочил на ноги и был таков. Но Курбскому было уже не до него. В ушах у него звучал еще голос одной из спасенных им дам — голос родной его



Курбскій съ обнаженной саблей бросился на грабителей.

сестры.

Когда ему, с помощью одного случайного прохожего, удалось, наконец, добраться во свояси, он тотчас послал за Балцером Зидеком.

— Чем могу служить ясновельможному князю? спросил тот.

— Я еще в долгу у вас, Балцер: за перстень не все еще выплатил. Между тем мне придется опять просить вас об одном одолжении.

— Вашей милости только приказывать, а мне исполнять.

— Дело, видите ли, в том, что здесь, в Кракове, пребывает ныне, вероятно, с матерью литовская княжна Марина Крупская. Так мне необходимо достоверно знать, точно ли они здесь и для какой цели.

— К завтрашнему дню все разузнаю.

И, в самом деле, на другое же утро шут явился с докладом, что княгиня Крупская находится в Кракове не только с дочерью Мариной, но и с сыном Николаем, и остановилась там то; что же до цели их прибытия, то молодая княжна готовится, слышно, в кармелитки и потому каждодневно ездит из дому в мона-

стырь кармелиток к заутрене и к вечерне.

Курбский глубоко задумался. «Не сама ли судьба натолкнула его на своих, чтобы снова соединить его с ними, ближе которых на белом свете у него все-таки никого не было? Но ведь родная мать едва не принесла его в жертву иезуитам; родной брат видел в нем только схизматика-москаля и соперника по наследству. Одна лишь сестра, хоть и католичка, выказывала к нему иногда родственные чувства, защищала его от нападков матери и брата... Но ее самое же постригают теперь в монахини — уж не силой ли тоже? Надо разведать во что бы то ни стало! Но он — отверженец семьи и общества, баннит; как примут его мать и брат? Совершить насилие над ним они здесь, в столице, уже ради имени своего, вероятно, не решатся, хотя и переиначили его на польский лад; но, чтобы они доверили ему свои семейные тайны, чтобы они послушались относительно сестры его советов — об этом нечего было и думать. Даже к свиданию с сестрою они его просто-напросто не Допустят. Как же быть-то?»

Балцер Зидек, не спускавший глаз с Курб-

ского, прервал тут его размышления:

— Вашей княжеской милости, верно, пови-
дать кого из них нужно?

— М-да... княжну, но совершенно как бы
случайно, так, чтобы сама она впредь об этом
не ведала.

— Так и назвать ей вашу честь не дозволи-
те? Трудненько это будет... Ну, да Балцер Зи-
дек вам все оборудует в наилучшем виде.
Только деньжонок это будет стоить ой, ой! —
многонько денег: без смазки разных мамушек
да нянюшек не обойдется.

Курбский не стал торговаться и дал своему
новому комиссионеру выговоренный им за-
даток. Через два дня тот возвратился с удовле-
творительным ответом: после немалых труд-
ностей ему удалось-таки проникнуть в дом
княгини Крупской и войти в сношение со ста-
рушкой-мамкой княжны. По счастью, княги-
ня, с перепуга после нападения разбойников,
занемогла, и мамка, вместо нее, сопровождала
теперь княжну и к заутрене, и к вечерне. В
кармелитский монастырь, однако, Курбского,
как мужчину, не допустили бы; поэтому хит-
рая старуха намыслила свести раз свою пито-

мицу к вечерне не туда, а в Марианский костел, под предлогом, что она, мамка, дала обет поставить свечу святой Марианне.

В урочный день и час Курбский был в Марианском костеле. Он занял место за колонной около главных входных дверей (как было условлено через Балцера Зидека с мамкой сестры его), чтобы не пропустить незамеченным никого из входящих богомольцев. Вот загудели колокола, и храм начал быстро заполняться. Курбский не спускал глаз от входа.

Тут показалась ожидаемая. Хотя лицо ее было покрыто черного цвета флерным «квешом» (головное покрывало), Курбский не мог сомневаться, что то сестра его: высокая фигура, горделивая осанка живо напомнили ему его мать, а в ковылявшей за панной старушке он узнал мамку сестры.

Он подался вперед, и когда обе только что проходили мимо него, произнес тихо, но самым задушевным тоном:

— Сестрица Марина!

Молодая панна вся так и вздрогнула и испуганно воззрилась на него. Но вслед затем она еще выше, надменнее вскинула голову и

прошла далее.

Заиграл орган; храм огласился стройными звуками церковной музыки и хорового пения. Курбский опустился на колена сейчас за коленопреклоненной княжной.

— Царь и Отец Небесный! — вполголоса начал молиться молодой князь. — Укроти, смягчи гордое сердце сестры моей, чтобы она вспомнила своего забытого брата! Внуши ей, Господи, что ему от нее ничего не нужно, что разыскал он ее единственно по братской любви, чтобы помочь ей и словом, и делом.

Церковная музыка покрывала мольбу Курбского, но не совсем заглушала ее: четки в руках молодой княжны заметно задрожали. Вдруг она стремительно поднялась и, потупившись, удалилась в сторону, в один из боковых приделов костела.

Простояв с минуту еще на коленях, чтобы не обратить постороннего внимания, брат ее также привстал и направился к главному входу; но отсюда, позади колонны, он обошел кругом к тому самому приделу, где должна была находиться княжна Марина.

Она, точно, как будто ждала брата. Лежала

она, правда, опять на коленях перед старинной иконой Пречистой Девы; но икона помещалась в глубокой нише, едва освещенной одиночной лампадкой, и никого кругом, даже старухи-мамки не было видно. Когда Курбский занял место на каменных плитах рядом с молящейся, та на этот раз уже не шевельнулась.

— Дорогая сестрица! — тихо заговорил Курбский. — Доверься мне! Сам Бог свел нас здесь, в Кракове. Ежели ты несчастна, то я сделаю все, чтобы выручить тебя.

Молодая девушка не отвечала, не оглянулась даже на него; но все тело ее затрепетало, голова поникла еще более, и Курбскому послышался всхлип.

— Ты плачешь, Марина? Стало быть, ты вправду несчастна? — продолжал он. — Скажи: ты идешь в монастырь не по своей охоте?

Девушка повернулась к нему лицом, быстро откинула черный флер — и он узнал и не узнавал в ней свою сестру Марину: за последние шесть лет, что они не видались, из совсем молоденькой, по семнадцатому году, панночки распустилась видная, гордая панна. Толь-

ко в лице ее не было ни кровинки, в увлажненных глазах ее была написана ожесточенная скорбь.

— А ты теперь тоже католик? — выговорила она.

— Нет, я по-прежнему верен восточной церкви...

— Так отойди же от меня! Или нет, я сама уйду. Она опустила «квеф», приподнялась и хотела удалиться. Брат заступил ей дорогу.

— Дорогая моя! Сестрица моя милая! Выслушай брата... Ведь нам с тобой, по всей видимости, никогда уже на веку не встретиться. Кроме матушки, у нас с тобой был и родитель. Если он, живя меж католиков, до глубокой старости, до последнего издыхания упорно держался восточной церкви, то...

— Молчи! Не смей говорить мне ничего против нашей святой римской церкви! — запальчиво прервала его княжна Марина. — Ты забываешь, что ты в костеле, что всякое слово здесь против нашей веры — богохульство!

— Не буду, сестрица. Отыскал я тебя вовсе не с тем, чтобы отвратить тебя от твоей веры. Оба же мы молимся тому же Создателю, а как

молимся, лишь бы молились истово, без утайки — для Него, Отца нашего Небесного, все одно: все мы — его дети. Узнал я, вишь, что отдают тебя в монастырь, и должен был спросить: не неволят ли тебя?

Княжна Марина со вздохом отвернулась и медлила с ответом.

— Значит, неволят! — воскликнул Курбский. — Я этого не допущу!

— Ты? — недоверчиво промолвила сестра и горько улыбнулась. — Тебя, баннита, матушка просто в дом не впустит, а узнает брат Николай — помилуй тебя Бог!

— Баннит я еще, правда, сестрица; но банницу с меня не нынче-завтра снимут: я здесь, в Кракове, не сам по себе, а с московским царевичем, при котором состою самым близким человеком.

— Да сам-то царевич кто такой? Слышала я...

— Теперь, милая, я попрошу тебя замолчать! — решительно перебил ее брат. — Я признаю его за царского сына и не дозволю против нею ни полуслова. Довольно с тебя, что он прибыл в Краков с согласия короля Си-

гизмунда, что король готов принять его и не отказывает ему в своей поддержке. Ты понимаешь, значит, что через своего царевича я мог бы многое для тебя сделать. Откройся мне: за что родные на тебя так осерчали, что осудили тебя на вечное заточение?

Нести горе свое одной стало молодой княжне, видно, невмоготу: с чувством непри-творной благодарности глянула она в глаза брата и, как бы стыдясь предстоящего признания, тотчас снова потупилась.

— Неохота мне трогать память нашего покойного родителя, — тихо начала она. — По его ли вине, нет ли, польская корона всегда, еще и при его жизни, была, как ты знаешь конечно, против нашей полурусской семьи; с кончиной же его мы при дворе совсем в немилость впали.

— Потому что мама не исполнила всего, как бы следовало, что было прямо предписано ей в завещании мужа! — подхватил Курбский.

— Будь так. Но если она кой-кому из служилых людей не отдала завещанной доли...

— Или просто силой отняла у многих то,

что пожаловал им батюшка еще при жизни своей...

— Ну, полно, брат Михал. Нам, детям, судить родителей своих негоже. Мама делала это все ведь только для нас...

— То есть, для брата нашего Николая, но никак уж не для меня, да и не для тебя: зачем бы ей отдавать тебя в монастырь? Ну, да Бог ей судья! Прости, сестрица; говори дальше.

Из рассказа сестры Курбский узнал следующее: если при короле Стефане Баторие семье их, как пришло, жилось трудно, то Сигизмунд III еще пуще теснил их, отнимал у их матушки, княгини, под разными предлогами для своих фаворитов сперва мелкие местности, а потом и крупные. Года четыре назад, по декрету королевскому, в Ковель, родовой их город, был прислан шляхтич Щасный Дремлик с требованием добровольно очистить их замок для Андрея Фирлея, зятя первой жены князя Андрея Михайловича Курбского, Марии Голшанской, которому литовские сенаторы присудили Ковель. Накануне, однако, еще прибытия Дремлика, к ничему не чаявшим Курбским нагрянули глухою ночью гайдуки

Фирлея, перебили, переранили всю их стражу и прислугу и принялись грабить замок. На утро явился Щасный Дремлик, как раз еще вовремя, чтобы защитить княгиню с детьми от грабителей, которые готовы были выгнать их на большую дорогу. Строго наказав самовольников, он вежливо попросил Курбских уступить замок «законному» новому владельцу, Фирлею, и тем ничего не оставалось, как покориться необходимости. Они собрались к давнишней подруге княгини, пани Доротее Фаличевской, в село ее Перевалы. Но при этом княгиня, оставаясь при убеждении, что паны сенаторы ее кругом обидели, и что Ковель по-прежнему ее собственность, тайком вывезла оттуда с собой все драгоценное оружие, дорогую церковную утварь и разное другое добро. Этого Щасный Дремлик не мог уже попустить, нагнал их на дороге, отобрал все увезенное, а самое княгиню взял под стражу. Только когда пани Фаличевская представила заклад в 100 000 злотых, он нашел возможным отпустить княгиню к подруге на поруки. Но с этого времени княгиня возненавидела Дремлика, как самого заклятого врага, хотя

тот исполнял не более как королевский декрет и обходился с ними кротко, почтительно... На этом княжна Марина запнулась и замолкла. Курбский, не сводивший с нее глаз, не мог не заметить, что при имени Щасного Дремлика голос ее звучал иначе.

— А этот Щасный Дремлик — бедный шляхтич? — спросил он.

— Да; но душой заправский польский рыцарь...

— И человек еще молодой?

— Да... не старый...

— А собой-то каков? Пригож?

— Право, не знаю...

Но ответ девушки был так нерешителен, румянец так внезапно залил ее бледное до тех пор лицо, что у брата не могло оставаться сомнений...

— Не возьми во гнев, милая моя, — сказал он, — но ты, я вижу, очень хорошо знаешь, каков из себя этот Щасный Дремлик: лучше, пригожей его для тебя нет человека в Божьем мире. Ведь правда?

Молодая княжна боролась еще минутку с природной стыдливостью, затем чуть слыш-

но прошептала:

— Правда...

— Ну, вот. И сама ты точно также ему в мире всех дороже?

— Кажется.

— А мама наша, конечно, слышать об нем не хочет, потому что он простой шляхтич, да еще потому, что обошелся с вами в Ковеле так не «по-рыцарски?»

— Вот именно; но скажи, брат Михал, на тебя сошлюсь: мог ли он оставить нам то, что было уже не наше?

— Вестимо, не мог. И из-за него-то, поди, мама так и осерчала на тебя, что отдает тебя в монастырь?

— Из-за него, да... Ах, я несчастная, несчастная!

Долго заглушаемое душевное ожесточение вырвалось наконец наружу. Закрыв лицо руками, девушка глухо зарыдала. Брат начал было утешать ее, обещаясь перетолковать с матерью.

— Нет, нет, лучше и не пытайся!.. — перебила его сквозь слезы княжна. — Тебя она все равно не послушает, а мне тогда совсем жи-

тъя не станет...

— Так разве с братом Николаем?..

— Ни-ни! Он первый же настоял на том, чтобы меня удалить в монастырь за тот якобы позор, что причинила я нашему роду, полюбив простого шляхтича.

— Так, стало быть, ничего оно не остается, как бежать тебе к твоему суженому, обвиняться тайно.

— Что ты, что ты говоришь, Брат Михал! — испугалась княжна; но по радостному звуку голоса ее слышно было, что мысль брата воскресила уже ее надежды.

— Как сделать это — я еще сам не ведаю; надо толком поразмыслить. Но ты, сестрица, согласна?

— Брат! Дорогой брат мой! — был весь ее ответ. Богослужение в Марианском костеле шло своим чередом, и никто не обратил внимания, как из бокового полутемного придела вышел сначала молодой высокий рыцарь, чтобы тотчас удалиться из храма, а немного погодя показалась и молодая панна, чтобы перед главным алтарем распластаться крестом. Молилась княжна Марина усерднее,

дольше всех и поднялась только тогда, когда подошедшая к ней старушка-мамка не напомнила ей, что пора идти домой.

Глава тридцать седьмая **ЦАРЕВИЧ У ПАПСКОГО НУНЦИЯ**

Судьба сестры поглощала теперь внимание Курбского чуть ли не более судьбы самого царевича; к тому же в делах царевича произошла некоторая заминка.

Еще в первые дни своего пребывания в Кракове, Курбский наткнулся раз на улице на оригинальную процессию. Четверо дюжих телохранителей в пунцово-красных камзолах разгоняли бердышами встречный народ для своего господина, следовавшего за ними верхом на статном, откормленном, мышинового цвета муле, накрытом шелковым, вышитым ковром с цветными кистями. Сам всадник был осанистый, сухощавый старик со строгими, но привлекательными чертами гладко выбритого лица, в высокой митре и в фиолетовой рясе с пелериною, отороченной белой атласной тесьмою. По бокам его бежали два

нарядных пажа, а позади, несмотря на весеннюю слякоть, тянулась пешком целая вереница католических патеров и мирских чинов. В числе духовных Курбский заметил и иезуита Сераковского, который с видом скромного самосознания выступал в первом ряду.

— Рангони, римский нунций! Дайте дорогу!.. — проносилось кругом, и всякий спешил посторониться и благоговейно глядел вслед знаменитому папскому легату, пользовавшемуся такою силою у престола св. Петра.

«Уж не к царевичу ли?» — сообразил Курбский и ускорил шаги, чтобы на всякий случай быть дома еще до прибытия высокого гостя.

Догадка его оправдалась. Едва успел он предупредить Димитрия, как Рангони всходил уже на крыльцо. Визит этот, очевидно, не был простой формальностью; на некоторое время царевич заперся с представителем папы в своем кабинете; а когда они возвратились оттуда в приемную, то немногих слов, которыми они тут еще обменялись, было достаточно, чтобы понять, о чем у них могла быть речь.

— Так мне, стало быть, можно надеяться

узреть ваше царское величество и под моей убогой кровлей? — говорил Рангони, как старший к младшему, милостиво вполоборота озираясь на царевича.

— Если вашей эминенции угодно будет только назначить день и час... — отвечал Дмитрий с такой неподобающей его царскому званию заискивающей улыбкой, что Курбского покорило.

— На этой неделе я, к сожалению, должен лишиться себя этого удовольствия, — сказал нунций, — но на будущей, вербной, буду очень счастлив побеседовать опять с вами. И у меня в доме, ваше высочество, конечно, не откажетесь подтвердить то, что изволили высказать сейчас, как ваше твердое решение?

— Конечно, *eminentissime*...

— Так до приятного свидания!

«Что это за „твердое решение“ у царевича? — мелькнуло в голове Курбского. — Уж не обещал ли он ему...»

Он боялся додумать. От него, единственного своего истинного доброжелателя, царевич не скроет же того, что вскоре, вероятно, должен будет узнать весь свет. Действительно,

под вечер, наедине, Димитрий, как бы в виде предисловия, завел сперва речь о двух православных пастырях, которые прошлым летом из Жалосц были отправлены в Краков на суд королевский.

— Знаешь ли, Михайло Андреич, — начал он, — что беглый этот епископ Паисий в остроге здесь на днях душу Богу отдал? От нунция я нынче сведал.

Курбский благочестиво осенил себя крестом.

— Упокой Господь его грешную душу!

— То-то грешную... Что ни говори, сам он был тоже немало виноват.

— А с отцом Никандром что же? — спросил Курбский.

— Старик в конец, сказывают, помешался: выздоровления уже не ждут. А вот что я тебе поведаю еще по тайности, друг мой, — продолжал царевич, точно от избытка волновавших его радостных чувств, — дело-то мое, благодарение Богу, кажись, выгорает!

— Нунций обещал тебе, государь, поддержку?

— Да.

— Но сам-то ты ему не много ли тоже пообещал? Краска поднялась в лице в щеки Дмитрия; брови его гневно насупились.

— Что я раз обещаю — то хорошо знаю! — резко оборвал он разговор и в течение целого затем вечера не удостоил уже своего друга приветливого слова.

На вербной неделе царевич получил официальное приглашение от нунция к обеду. Курбский, как обыкновенно, сопровождал царевича и во дворец нунция. Дворец этот поражал своею, можно сказать, царскою пышностью. Лестница и сени были обиты красным сукном; ряд проходных зал блистал позолотой, стенною живописью, лепною работою. Ливрейной прислуге не было числа; а в обширной приемной, в ожидании выхода его эминенции, толкались без счета же прелаты, каноники, монахи разных орденов, а также светские сановники и рыцари.

С появлением царевича все затихло и почтительно расступилось. В тот же миг противоположные двери широко раскрылись — и с высокомерно-благосклонной улыбкой непоколебимого сознания своей власти и своего

собственного достоинства показался оттуда сам легат его святейшества, папы. Первым подошел к руке его с несвойственным ему смирением, почти с подобострастием Димитрий. Примеру его последовали пан Мнишек и остальные присутствующие.

Единственным, казалось, исключением был Курбский: несказанно больно было ему видеть само унижение дорогого ему русского царевича перед представителем папства, и сам он ограничился только формальным поклоном. Но испытанный дипломат Рангони словно и не заметил его холодности; напротив, когда царевич объяснил, что это — молодой князь Курбский, сын знаменитого сподвижника Грозного царя Ивана IV, нунций сказал и Курбскому, как каждому из присутствующих, одну из тех обычных, ничего незначащих и ни к чему не обязывающих любезностей, которые никем, конечно, не принимаются за чистую монету, но тем не менее, будучи изложены в красивой форме, сопровождаемы приветливой миной, редко не достигают своей цели — произвести желаемое благоприятное впечатление.



Первымъ подошелъ къ рукѣ нунція, съ несвойственнымъ ему смиреніемъ, Димитрій.

Обед был сервирован в громадной столовой, состоявшей, в сущности, из трех больших, смежных и разделенных только арками зал: с одного конца стола до другого пирующим нельзя было даже хорошенько разглядеть лиц друг друга. Стол буквально гнулся под тяжестью серебряной посуды с вензелем Рангони. Перед каждым прибором было по два маленьких, серебряных же, генуезской филиграновой работы сосуда — с солью и с перцем и один стеклянный — с уксусом.

Хозяин то и дело упрашивал ближайших гостей не брезговать его «скромной» монашеской трапезой:

— Пане коханку! Что вы не кушаете, не пьете? Будьте милостивы, не обижайте! Блюда постные — не оскоромитесь.

Ввиду Великого поста, не было, действительно, ни одного скоромного блюда; но всевозможные похлебки, рыба, овощи и печенья подавались в таком изобилии и в таком приготовлении, что отсутствие мяса как-то не замечалось. Курбскому казалось, что он в жизнь свою не едал еще так вкусно. Даже хлеб, величиною с тележное колесо, отличал-

ся таким отменным вкусом, что герой наш не утерпел заявить о том своему ближайшему соседу за столом, толстяку монаху-бенедиктинцу.

— Краковский хлеб вообще не имеет себе равного в целом мире, — самодовольно отвечал тот, — а главное, заметьте, никогда не черствеет.

Обильные возлияния развязали понемногу язык бенедиктинцу, и с расплывающею по всему лоснящемуся от жира, широкому лицу, улыбкой он сам уже обратился к Курбскому.

— Вы, миряне, едите, конечно, еще жирнее нас, духовных. На пасхе-то, поглядите-ка, как вас у его величества, короля нашего, закормят! На прошлой пасхе самому мне выпала честь обедать при высочайшем дворе. По середине стола, извольте представить себе, «Agnus dei» — цельный ягненок, от которого отведали только мы, духовные, да некоторые сановники, да ясновельможные пани. По сторонам ягненка — ехемплум 4 времени года — 4 цельных кабана; далее tandem 12 месяцев — 12 оленей с позолоченными рогами. Внутри же кабанов и оленей — всякая всячина: цель-

ные поросята, окорока, колбасы, зайцы, тетерева, куры... За оленями tandem 365 дней года — 365 куличей и баб с искуснейшими вензелями, с назидательными изречениями; а между всем этим крупным съестным понаставлены, понавалены мазуры, лепешки, жмудские пироги, разукрашенные всевозможной бакалеей. О бибенде (питье) и толковать нечего: tandem, по числу времен года, месяцев, недель и дней в году: 4 стопы старого шпанского вина, 12 кружек кипрского, 52 бочонка итальянского и 365 погар венгерского; для челяди же exemplum 8, 760 годовых часов — столько же кварт сладчайшего меду! А не повторить ли нам с вами медку? Repetitio est mater studiorum.

За столом нунция, на самом деле, также ни в еде, ни тем менее в напитках недостатка не было: рейнское сменялось венгерским, венгерское бургонским, бургонское мальвазией. Тонзуры патеров дымились: речи их становились все одушевленнее, развязнее. Там и сям раздавался уже громкий смех. Особенную веселость возбудил рассказ одного патера, побывавшего недавно в Версале, о последней су-

масбродной выдумке французов.

— Вопрос: для чего во всяком благоустроенном доме служит вилка? — говорил он. — Ответ: для того, понятно, чтобы кравчему было способнее придерживать мясо да рыбу, пока рушит их ножом. Едим же мы нарезанное, все от мала до велика, слава Богу, руками. На что же и руки человеку? А дабы они всегда были чисты, опрятны, меж отдельных блюд прислуга разносит нам воду и ручники; да и вода-то примерно здесь, у его эминенции, даже благовонная, так что кушать потом следующее блюдо этими пальцами любо-дорого!

— А версальцы-то, что же, ужели кушают вилоккой?

— Вот подите ж! Недовольно того, что иные одевают к обеду перчатки, у всякого-то еще своя вилочка, чтобы не запачкать, извольте видеть, на сорочках пышных брыжей. Как курицы клювом, они тыкают, тыкают этак вилочкой по тарелке и чинно, тремя перстами, к устам подносят; а по пути-то, глядь, половину-то по столу, на себя же рассыпят. Умора, да и только!

Даже его эминенция, нунций, изволил бла-

госклонно улыбнуться забавному рассказу.

— Да, искусству есть надо нам у них еще поучиться, сказал он, — зато в «бибенде» мы им, пожалуй, сами урок дадим.

По знаку хозяина был подан старинный золотой кубок вместимостью в пять добрых кружек. Дав полюбоваться царевичу искусно выгравированными на всей окружности кубка сценами из крестовых походов, Рангони сперва сам пригубил кубок, а затем передал его Димитрию; от Димитрия кубок пошел вкруговую вокруг всего стола. Стоявшие наготове слуги с полными кувшинами неустанно доливали кубок: кто из гостей делал только изрядный глоток, кто в два-три глотка осушал кубок.

— А теперь, панове, позвольте предложить вам современного нектару, — возгласил нунций, — в Польше он еще доселе никому неведом: варит мне его старик ксендз-капуцин, которого я нарочно вывез с собой из Рима; из чего же варит — это его тайна.

В огромной серебряной чаше была внесена четырьмя слугами лилового цвета студенистая масса, которую каждый из столующих

черпал себе ложкой. По крепкому и, в то же время, тонкому аромату студня можно было догадываться, что он сгущен из смеси каких-то редких, старых вин, и вкус его, действительно, был так отменно хорош, что чаша в несколько минут опустела.

— А вы, *illustrissime*, что же так приумолкли? — отнесся Рангони к главе краковских иезуитов и духовнику короля, Петру Скарге, который вовсе не прикасался ни к «нектару», ни к обыкновенному даже вину и один из всех сохранял строгий, суровый вид. — Мы привыкли видеть в вас самого велеречивого оратора, Демосфена нашего времени.

Патер Скарга обвел присутствующих исподлобья неодобрительным, пронизывающим взглядом и отозвался:

— *Eminentissime* преувеличивает мою элоквиенцию. Где кубок *in dulci júbilo* (в сладостном ликовании) ходит по рукам и отвращает души от праведных мыслей, от христианского долга, там уста Божьего проповедника немеют, безмолвствуют.

— Но вы, *illustrissime*, ратуя за слово Божие, исходили, как слышно, вдоль и поперек

весь материк Европы, — вмешался царевич, — на пути вашем, несомненно, вам попались разные назидательные случаи? Всякий подобный случай из ваших уст мог бы принести нам, грешникам, не только великое удовольствие, но и вящую пользу.

— Вашему царскому высочеству угодно, чтобы я рассказал вам такой случай? — переспросил иезуит, и глаза его засветились каким-то особенным огнем.

— Крайне обяжете.

— Извольте. Дело было не далее, как в прошедшем году, в немецком городе Регенсбурге, где я остановился проездом. Незадолго помер палач городской, и три молодца явились искать его место. Но как вызнать, который в деле своем больше навычен? И вот, порешено было, чтобы они явили свое искусство на трех же преступниках, что сидели о ту пору в городском остроге и были осуждены уже на смертную казнь. Вывели грешников на лобное место, велели опуститься на колени, и стал за каждым из них один палач. Как же взялись молодцы за свое дело? Первый сорвал у своего инкульпата ворот рубахи, про-

вел ему по шее киноварью красную черту, размахнулся мечом — и отскочила голова ровнехонько по красную черту. Второй перевязал своей жертве оголенную шею двумя шелковинками и одним ударом отсек ему голову ровнехонько между шелковинок. Наступил черед третьего палача, плечистого, саженого детины. «Ну, любезный, с ними тебе, не тягаться!» — говорил кругом народ. «А вот, поглядим!» — отвечал тот и лихо засучил рукава. Всем хотелось поглядеть, как-то он изловчится, извернется; все понадвинулись, сучились вокруг, а два другие палача ближе всех. И ахнуть никто не успел, как свистнул меч — и отлетели разом три головы: инкульпата да двух первых палачей. Так-то третьим палачом по праву было заслужено место заплечных дел мастера города Регенсбурга. *Sapiente sat.* (Для разумного довольно).

За жестоким рассказом патера Скарги, так мало отвечавшим общему игривому настроению, слышался там и сям только недовольный шепот, натянутый смех; вслух высказываться ни у кого не хватило духу.

— Но какое поучение, *illustrissime*, следует

из вашего рассказа? — спросил царевич.

— Поучение для всех ищущих власти и имеющих могучих противников; в решительную минуту одним взмахом меча отсечь головы многоглавой гидре!

— Или, вернее сказать, рассечь Гордиев узел, — поправил Рангони. — И его царское величество, я уверен, не упустит в свое время случая к тому. В чем же будет заключаться этот узел, ваше высочество признаете, может быть, удобным ныне же объявить перед настоящим избранным обществом, как сказали мне о том келейно еще несколько дней назад?

Все взоры кругом были прикованы к царевичу. Как подметил Курбский, царственный господин его довольно умеренно прикасался к кубку. Щеки его были немногим румянее обыкновенного, и вино, не затуманив ему головы, ускорило разве только движение крови в его жилах, прибавило ему самоуверенности и отваги.

— Охотно объявлю, — сказал он, окидывая окружающих смелым, вызывающим взором. — Если Господу Богу моему угодно будет

благословить меня свергнуть с моего отцовского престола узурпатора, Бориса Годунова, то за братскую помощь, какую я чаю для себя от короля Сигизмунда и Речи Посполитой, я торжественно обязуюсь быть вечным другом польского народа...

— И только? — спросил тихонько нунций, когда Димитрий вдруг замолк.

От Курбского не ускользнуло, что царевич мельком покосился на него, Курбского, словно стеснялся досказать при нем свой торжественный обет. Но колебание Димитрия продолжалось всего одно мгновение, в следующее он уже с высоко вскинутой головою громгласно продолжал:

— Сверх того, я не задумаюсь признать главенство ею святейшества, папы римского, и...

— И перейти в лоно святой римской церкви, — помог ему досказать Рангони. — *Vivat!*

Нечего говорить, что заздравный крик этот нашел у столующих живой отголосок, и что как духовенство, так и рыцарство двинулось с кубками к будущему царю московскому поздравить с таким великим решением.

— А теперь, ваше высочество, во дворец! —

объявил хозяин. — Прошу извинить, панове; но его королевское величество ждет нас.

Глава тридцать восьмая ЦАРЕВИЧ ПЕРЕД КОРОЛЕМ СИГИЗМУНДОМ

С невыразимо тяжелым сердцем сопутствовал Курбский названному сыну царя Ивана Васильевича во дворец королевский. Пусть даже обещание принять римскую веру было вынуждено у него непримиримыми врагами православия, иезуитами, но, взойдя на престол отцовский, он, верный своему царскому слову, сделается уже ревнителем папства и послушным орудием а руках тех же иезуитов! Но как знать? Димитрий ведь тоже себе на уме; у него, пожалуй, свой особый умысел, и иезуиты все же обманутся в расчете... Надо выждать.

Король, в самом деле, был приготовлен к приему Царевича. Но аудиенция носила не столько официальный, сколько частный характер. Димитрий с ближайшими к нему лицами был введен коронным обер-камергером

не в тронную залу, а в кабинет короля.

Сигизмунд III, мужчина лет под 40, но в меру полный, очень еще красивый и цветущий, не пошел навстречу своему царственному гостю, а остался стоять в отдалении, не снимая шляпы и опершись рукою на маленький столик. Его сдержанный, надменный вид, его поистине королевская осанка произвели на царевича, видимо, сильное впечатление: ступив вперед несколько шагов, он остановился, снял шляпу и, заложив правую руку за пояс, левою избоченясь на рукоятку сабли, дрогнувшим голосом заявил о своем «счастьи» видеть своего «августейшего брата».

От короля, очевидно, не укрылось, что новоявленный «брат» его хоть и бодрится, но внутренне трепещет перед ним, и по губам его скользнула самодовольная улыбка. Выразив и со своей стороны «живое удовольствие» по поводу настоящей встречи, он, все еще не трогаясь с места, протянул «брату» руку.

Царевич подался вперед и смиренно поднес эту руку к губам. Затем, по предложению короля, он начал излагать причины, побудившие его прибыть в Краков. Говорил он все

еще неровным, тихим голосом, и поэтому до слуха Курбского, оставшегося с прочими у дверей, долетали только отрывки его речи. Под конец, однако, он совершенно, казалось, овладел собою и заключил речь громко таким неожиданно смелым обращением к королю:

— Вспомни, государь, что сам ты родился пленником в темнице, куда родители твои были брошены дядей твоим Эриком, и откуда вывел тебя только милосердный Промысл всемогущего Бога! Размысли о человечестве и не откажи в помощи несчастному, угнетенному тем же злополучием!

Сигизмунд слушал до сих пор с приветливым видом. Теперь он насупился и с неудовольствием глянул на стоявших по-прежнему у входа невольных свидетелей этого свидания. Обер-камергер понял, что оплошал, и поторопился выпроводить в соседнюю приемную всех, кроме нунция. Вслед затем вышел туда и царевич. Он был в большом волнении; грудь его высоко подымалась, глаза лихорадочно горели. Хотя Курбский стоял от него в двух шагах, тот его не видел, устремив взор

куда-то в пространство. Всегдашняя самоуверенность на этот раз как будто совсем ему изменила. Пан Мнишек подошел к Димитрию и вполголоса ободрил его:

— Первое дело, ваше величество, — духом не падать: все еще устроится к лучшему.

— Дай-то Бог! — вздохнул царевич. — Скоро ли они договорятся?

Совещанию короля с папским нунцием, в самом деле, казалось, не будет конца. Но, наконец, дверь в королевское святилище растворилась, и на пороге показался Рангони. Молчаливым жестом пригласил он царевича и остальных всех войти.

Сигизмунд стоял, как и прежде, на том конце кабинета, опершись о столик; но черты его заметно смягчились, повеселили.

С опущенной головой, с рукою у сердца, как бы ожидая своего приговора, Димитрий приблизился к королю. Тогда последний приподнял на голове шляпу и произнес ласково во всеуслышанье:

— Да поможет вам Бог, Димитрий, князь московский! Выслушав и рассмотрев все ваши свидетельства, мы несомнительно при-

знаем в вас сына царя Ивана IV и, в знак нашего искреннего доброжелательства, жалуем вам на всякие ваши требы ежегодно сорок тысяч злотых. сверх того, как другу Речи Посполитой, мы не препятствуем вам сношаться с нашими панами и пользоваться их усердным вспоможением.

Радость и смущение названного Димитрия были так велики, что он пробормотал только несколько невнятных слов. От имени его Рангони выразил королю глубокую признательность; после чего Сигизмунд так же благосклонно отпустил всех от себя.

В приемной все с поздравлениями окружили царевича, а нунций его обнял и поцеловал.

— Все от нас зависевшее сделано, — сказал он, — теперь от самого вашего величества зависит исполнением вашего обещания обеспечить дальнейший успех дела.

— О, за дальнейшее-то мы отвечаем! — подхватил старик Мнишек, в восторге потирая руки, — за нами Дело не станет.

Все, по-видимому, были как нельзя более удовлетворены исходом аудиенции. Один

Курбский только поник головой и ввечеру, наедине с царевичем, не утерпел-таки спросить его:

— Когда же, государь, ты примешь латынство? Царевич покраснел и гневно сверкнул очами.

— Ты что это, Михайло Андреич, в дядьки ко мне, что ли, приставлен? Пытать меня вздумал?

— Не пытать, государь: смею ли я! Но «давши слово, держись», говорится; и про себя скажу: не помышляй я изменить родной своей вере, у меня, право, духу бы не хватило...

— И никогда бы тогда своего не добился! — резко оборвал его Димитрий. — Где нет прямой дороги, там, друг мой, поневоле свернешь на окольный путь.

— Так ты, царевич, стало быть, только околицей едешь, лукавишь с ними? А я-то было уже поопасил-ся... Но не во гнев тебе молвить, у меня бы на такое ложное обещание язык не повернулся. Больно уж ты, государь... не знаю, как лучше-то сказать.

— Криводушничаю?

— Да...

— А ты, князь, не слышал разве давеча за обедом притчу этого отца криводушников-иезуитов Скарги про трех палачей?

— Слышал.

— Сказал он ведь ее для меня же, чтобы я, значит, на ус себе намотал. Ну, и намотал! — с самонадеянной усмешкой заключил царевич.

«Стало быть, он все же по-прежнему тверд в отцовской вере», — старался успокоить себя Курбский и избегал уже возвращаться к этой щекотливой теме.

А аудиенция у Сигизмунда между тем повела за собою самые наглядные доказательства королевского благорасположения к Дмитрию. Наступившая вскоре Пасха дала к тому особенный повод. Несмотря на истощение государственной казны, обычные на Святой неделе народные увеселения приняли на этот раз небывало разнообразный и разгульный характер. Город был расцвечен национальными польскими и русскими флагами. На рыночной площади перед ратушей были возведены балаганы и карусели, куда черный народ пускался даром, были разбиты палатки со всяким съестным, сладостями и хмельными на-

питками, отпускаясь по самым пониженным ценам. С сумерками все главные улицы иллюминировались плашками; в окнах светились транспаранты с аллегорическими изображениями и надписями, а на перекрестках жгли бенгальские огни и палили холодными зарядами из пицалей.

Паны точно также не были обойдены развлечениями, разумеется, более утонченными. Так, на той же рыночной площади были поставлены для них стрельбища, в которых по вечерам, при свете факелов, происходила ожесточенная стрельба. Когда пуля попадала в центр цели, над палаткой к ночному небу с змеиным шипом взвивалось несколько ракет и с треском рассыпалось в вышине красными или зелеными искрами к вящей потехе глазющей черни. Днем же устраивались конские скачки и рыцарские турниры, на которых победителям из прекрасных рук жаловались разные ценные или же и просто шуточные призы.

Восторженнее всего, однако, были всеобщие ликования при торжественном проезде по городу короля с московским царевичем, с

восьмилетним королевичем Владиславом и в сопровождении блестящей свиты. Шумными волнами валила за ними пестрая толпа с оглушительными криками: «vivat, vivat!» Из окон домов, с украшенных коврами балконов разряженные горожанки махали платками и голосисто вторили толпе: «Vivat!»

Глава тридцать девятая

НОВЫЕ УСЛУГИ БАЛЦЕРА ЗИДЕКА

Для одного только Курбского этот непрерывный общий праздник был в чужом пиру похмельем. С одной стороны он терзался сомнениями за царевича, с другой — за сестру. Сам же он, в первом порыве, подал тогда мысль — тайком увезти ее; бедняжка ждала его теперь, конечно, с лихорадочным нетерпением; но, как человек неопытный и прямой, гнушающийся всяких тайных козней, он ничего-таки еще не предпринял. Как взяться за такое непривычное дело? Кому довериться! Да и дело-то, что ни говори, нечистое, обманное... Попытался он один раз толкнуться к матери; но непреклонная, ожесточенная

против сына-схизматика княгиня не допустила его даже до себя.

В таком-то подавленном настроении вышел он опять однажды под вечер на вольный воздух и ненароком забрел к королевскому дворцу.

Перед самым дворцом возвышалась огромная триумфальная арка, вся сплошь покрытая гербами воеводств и городов Речи Посполитой, а вверху украшенная большим вензелем S и D (Sigismundus и Demetrius), составленная из разноцветных лампочек. По сторонам стояли четыре гения: добродетели, мудрости, храбрости и правосудия. На площадке же перед аркою была новая панская затея — ярмарка-маскарад. В новеньких с иголки палатках продавщицами стояли придворные дамы. И таких нарядных торговок, разумеется, ни на одной ярмарке в мире еще не бывало; покупателями были придворные же кавалеры в образах крестьян, евреев, цыган, одетых не менее изящно. Простолюдины, понятно, к самым палаткам не подпускались, но придворной страже стоило великого труда задержать напор многотысячной толпы зевак, которые

час от часу прибывали.

— Куда вы прете, дьяволы! — орал один ре-
тивный стражник и наотмашь хлестнул бли-
жайшего к себе зрителя, серого мужичонка,
по лицу.

— За что?! — завопил тот. — Ведь задние
же толкают.

— За что?! — огрызнулся, передразнивая,
блюститель порядка. — Болван! Да нешто у
меня руки так долги, чтобы достать задних?

Курбский, благодаря своему панскому пла-
тью и атлетическому телосложению, без за-
труднения пробрался к самой ярмарке. Пер-
вый, кто попался ему тут на глаза, был шут
Балцер Зидек. Наряжен он был деревенским
знахарем и громко выкрикивал бывшие у
него в перевешенном через плечо ящике чу-
додейственные лекарства:

— Купите, панове, купите! Вот липкий
пластырь — для болтунов; вот ляпис — для
злых языков; вот мазь — для ращения волос,
коли вас манихеи общипали; вот хлыстик, ко-
ли вам не перескочить камней преткнове-
ния... Купите! Купите!

— Остры вы умом, Балцер, а язык ваш того

острее! — заметил, проходя мимо, Курбский.

— Ум — аптека моя, ваша милость, а остро-
словие — ланцет, — отозвался балясник. —
Для чего я живу?

Чтобы лечить ближних от скуки и горя. А
для чего лечу их? Чтобы самому жить. Не мог
ли я каким зельем услужить и ясновельмож-
ному князю?

— Нет, Балцер, от моей боли у вас зелье на-
вряд ли найдется.

— Да боль-то какая у вашей чести? Не
внутренняя ли, душевная? Не сомнения ли
вас мучат?

— Может быть...

— Так есть у меня для вас такие два сло-
вечка, что сомнения те как ветром сдует.

— Какие же то словечки?

— Сказать их можно лишь на ушко, а тут,
изволите видеть, сколько лишних ушей, да
все больше не в меру длинных.

— Куда же нам отойти?

— А вон в проулочек.

Курбский направился молча в указанный
шутлом глухой проулок. Балцер Зидек, продол-
жая чесать язык, бежал вприпрыжку рядом.

Слегка до сих пор накрапывавший дождик полил вдруг сильнее. На углу сидели, прикорнув на земле, две старухи-торговки, одна с лукошком крашенных яиц, другая с корзиной гнилых яблок.

— Ишь ты, как зарядило! — ворчала одна из старух, — то-то у меня с утра еще поясницу ломило. Смотри, говорю дочке, дождь будет! Ан по-моему и вышло.

Балцер Зидек с угрожающей миной остановился перед торговкой.

— Ты что это, тетка: вперед уже знала, что дождь будет?

— Вестимо, знала, родимый.

— И по начальству не донесла? А все вельможное панство тут мокни из-за тебя под дождем? Ах, ты старая ведьма! Это тебе так не сойдет.

И, насев на нее, шут начал методично, не спеша, отсчитывать по спине ее рукою шлепки, приговаривая:

— Это за панов! Это за хлопцев! Это за смердов! А это за Балцера Зидека!

Бедная старушонка заголосила; Курбскому пришлось вступить в дело. Бросив разоби-

женной серебряную монету, он сделал обидчику внушение и отвел его затем глубже в проулок под выдающийся навес, укрывший их от дождя.

— Ну, так говорите же, Балцер, что у вас есть для меня? Только сделайте милость, не паясничайте.

— А вот, извольте слушать, милостивейший князь. Вчера это ввечеру вышел я задним крыльцом на улицу — людей посмотреть и себя показать. Глядь — мимо меня шмыгнули двое: впереди старик седобородый в нищенском одеянии, а за стариком мальчуган в холопской ливрее. Это бы не диво, а то диво, что походка-то у старика совсем не стариковская; мальчуга же с лица, ни дать, ни взять, наш пан Бучинский. «Эге! — смекнул я. — Балцер Зидек, не зевай!» Благо, уже так стемнело, что мне без опаски можно было идти за ними. Вот подошли мы к дому иезуитов, и хоть старик-то был с виду нищий, но привратник без дальних слов с низким поклоном впустил обоих. Обождав маленько, я к привратнику:

— Так и так, — говорю, — пан воевода мой

послал меня сейчас за паном Бучинским. Пропусти-ка.

— Никак, — говорит, — невозможно: не велено.

— Что за вздор! Я же, — говорю, — очень хорошо знаю, с кем он здесь и зачем.

— Знаешь?

— Еще бы не знать, коли за этим же делом послан.

— Так... Ну, погоди, говорит, тут; а я дежурного послушника вызову.

Вызвал дежурного; переспросил меня и тот, головой помотал, однако ж наверх провёл, в приемную. «Пойду, — говорит, — доложу пану Бучинскому». Пошел он докладывать; а я не промах, — тихомолком вслед. Дошли мы этак до самой молельни иезуитской. Стал он шептаться с приставленным тут у дверей другим послушником; а я, прижавшись в уголок, от слова до слова все и подслушал. Да что узнал тут — и, Боже мой!

— Что же такое? — спросил Курбский, у которого, в чаяньи чего-то недоброго, дух захватило.

Балцер Зидек полез в карман за своей че-

репаховой табакеркой и, щелкнув ее по крышке, предложил табаку молодому князю:

— Не прикажете ли?

— Нет, благодарю... Так что же вы узнали?

Говорите скорее!

Шут, не спеша, набил себе табаком сперва одну ноздрю, потом другую и языком причмокнул.

— Что узнал! М-да... для всякого простого человека новость эта дуката стоит, а ваша княжеская милость, я знаю, не поскупится и на пяток дукатов.

Курбский, не прекослова, достал кошелек и вручил шуту требуемую сумму.

— Вот это по-княжески! — сказал Балцер Зидек, пряча деньги. — В молельне-то, оказалось, исповедывался у папского нунция, причащался да миропомазан был по римскому обряду тот самый седобородый старик, что пришел туда с паном Бучинским...

— Ты лжешь, бездельник! — вспылил Курбский и железной пятерней своей схватил шута за горло с такою силой, что тот по-синел и захрипел.

Тотчас же, впрочем, опомнясь, богатырь

наш устыдился уже своего грубого насилия и разжал пальцы. Балцер Зидек, болезненно морщась, стал растирать себе рукою шею.

— Экие рученьки у вашей чести... Чуть не задушили ведь, как собаку...

— Потому что вы, Балцер, как собака, лаете на всякого... — сдержаннее проговорил Курбский.

— Лаю? Разве я кого по имени назвал вам?

— Не называли, но разумели, я знаю, царевича Димитрия.

— А коли знаете, так, стало быть, сами же того ожидали от него. Нет дыму без огня. За что же обижать-то бедного шута?

— Ну, не сердитесь, Балцер. Очень уж горько мне было слышать... Но кручина у меня не эта одна: есть и другая.

— А звать-то ее как? Не княжной ли Крупской?

— Да вы, Балцер, узнали еще и про нее что-нибудь? — с беспокойством приступил к шуту Курбский.

— Узнал... Но ведь ваша милость совсем, пожалуй, задушите?

— Не трону!

— И лжецом не обзовете?

— Не обзову.

— Ах, да! — вздохнул с соболезованием Балцер Зидек. — Эти патеры — бедовый народ: ни другим, ни себе! Ровно через три дня княжны Крупской не будет — будет Христова невеста.

— Через три дня! Это верно?

— Чего вернее: от самой старухи-мамки нынче сведал.

— Что мне делать, Господи? Что мне делать!

— А попросту, не говоря дурного слова, ее выкрасть.

Курбский даже вздрогнул; шут словно прочел в душе его.

— Легко сказать: «выкрасть!» — промолвил он. — Да как? Где взять в такое короткое время надежных пособников?

— А Балцер Зидек на что же! Балцер Зидек вам всю штуку оборудует. Нынче же еще по-видаю мамку. Угодно князю?

— Ничего, кажется, более не остается... По-видайте. Я вас благодарностью моей не забуду.

— А задаточек?

С подобострастным поклоном принял балясник задаток; но когда Курбский, кивнув ему, первый удалился, он начал опять усиленно растирать себе горло и злобно глянул вслед уходящему:

— Чтобы у тебя рука отсохла, еретик проклятый! «Я, — говорит, — вас благодарностью моей не забуду». И я тебе, сударик мой, этого не забуду!

Глава сороковая БАННИТ

Триста лет тому назад даже столичные города в ночную пору погружались в мирный сон, и разве какой-нибудь запоздалый гуляка недопетой песней нарушал порой всеобщую тишину. Краков в описываемое время, несмотря на ряд дневных празднеств в честь московского царевича, не составлял в этом отношении исключения. Такое безлюдье, как и полное отсутствие уличных фонарей, значительно облегчало Курбскому его отважную попытку выкрасть сестру свою из дома мате-

ри. Природа на этот раз ему также благопритствовала: ночь выдалась безлунная и довольно бурная. Ветер бушевал по крутым черепичным кровлям, стучал ставнями, завывал в печных трубах.

Часы на городской ратуше только что пробили полночь, когда к зданию, где временно поселилась старая княгиня Крупская, легкой рысцей подъехали трое всадников: Курбский с парубком-стремянным и Балцер Зидек. Последний сидел на дамском седле, предназначенном для княжны Марины. К дому прилегала высокая каменная ограда. По указанию шута, все трое остановились около того места ограды, где, по ту сторону ее, должна была быть приставлена старухой-мамкой княжны лестница. Прямо с хребта коня Балцер Зидек с обычной своей кошачьей ловкостью прыгнул на ограду. Курбский, бросив повод свой стремянному, без затруднения, благодаря своему росту, взлез туда же. Лестница, действительно, оказалась на месте. Оба спустились в сад. Балцер Зидек тихонько окликнул старуху.

— Здесь, пане! — слышался сквозь

непроглядный мрак старческий женский голос. — А ясновельможный князь тоже с вами?

— Я здесь, — отвечал за себя Курбский. — А княжна что же?

— Простите, ваша княжеская милость; но сестрицу вашу опять словно раздумье взяло: желала бы вперед еще перемолвиться с вами.

— Гм... Да где же она?

— Тут сейчас в доме: в сад выйти поопасилась. Дайте ручку, я проведу вас. Ишь ты, темень-то какая!

Курбский доверчиво взял протянутую ему руку и побрел за старухой шаг за шагом, как слепец за вожакom.

— Тут, ваша милость, крылечко, — предварила старуха, — не оступитесь: пять ступенек.

Курбский стал подниматься на крыльцо, отсчитал пять ступенек — и чуть не растянулся, запнувшись ногой о веревку, протянутую поперек крыльца, на четверть аршина от полу. В тот же миг несколько рук схватили его, рванули разом назад с крыльца и повалили навзничь.

— Поймали вора! — крикнуло несколько мужских голосов.

— Измена, князь! Спасайтесь! — донесся со стороны приставной лестницы голос Балцера Зидека.

Поверженный наземь Курбский не имел возможности вынуть из ножен саблю и отбивался как мог кулаками. Болезненные крики и крепкая брань нападавших свидетельствовали, что те его еще не совсем осилили. Тут блеснул свет, и Курбский разглядел вокруг себя человек пять-шесть дюжих хлопцев, а на крыльце, с шандалом в приподнятой руке, брата своего Николая. Свет значительно облегчил первым задачу, и в конце концов молодой князь оказался-таки скрученным по рукам и ногам, а рот ему был заткнут платком.

— Несите его за мною, — коротко приказал Николай Крупский, и хлопцы подхватили на руки младшего брата и внесли его в дом.

Рядом комнат он был пронесен в отдаленный покой с решетчатыми окнами и, по-прежнему связанный, посажен тут на стул. Выслав слуг, старший брат освободил младшему брату рот от платка и самому себе пододвинул также стул.

— Теперь мы можем на досуге, без свидете-

лей, потолковать с тобою, — сказал он. — Рук и ног я тебе не развязываю, покуда мы на чем-нибудь не сладим.

Младшему брату стоило немалого усилия над собою, чтобы вернуть себе требуемое хладнокровие.

— Что же тебе от меня нужно? — спросил он.

— Мне в тебе, поверь, нужды никакой нет. Тебя же я могу спросить: зачем к нам пожаловал, да еще в такую пору, таким воровским порядком.

— Тебе, брат Николай, спрашивать нечего: сам же устроил облаву на брата, как на дикого зверя.

— Да, доведался я, что злоумышленники собираются войти ночью в дом наш; называли мне и имя князя Курбского, но ум мой отказывался верить, чтобы тот Курбский был родной брат мой.

— Напротив, ты должен был вперед знать, что я не дам в обиду сестры, коли ты, старший брат ее, за-место того, чтобы быть ее первым защитником, стал ее первым злодеем.

— Ладно! — перебил тот, нетерпеливо сры-

ваясь со стула. — Тебя, я вижу, не образумишь. Скажу тебе вот что: ты — баннит; банниция с тебя еще не снята, а ты не только самовольно явился в столицу королевскую, но в ночную пору еще в чужой дом залез. Ежели отдать тебя в руки судей, то ведаешь ли, что ждет тебя?

— Смертная казнь, надо полагать, буде царевич не вступится.

— Смертная казнь, да! А вступится ли твой названный царевич — еще бабушка надвое сказала.

— Ну, и отдавай меня на позорную казнь, коли честь Курбских тебе не дорога!

— Честь наша родовая мне, может, вдвое, вдесятеро дороже, чем тебе, бездомному бродяге, которому все равно терять на свете нечего. Но правда твоя: позорить из-за тебя наше славное имя мне не пристало. И потому вот тебе мой сказ: ты даешь мне грамотку с рукоприкладством, что на веки вечные отрекаешься от всех прав на отцовское наследство и николи впредь поперек пути нашего не станешь; я же умолчу о твоём злодейском умысле и развяжу тебя; ступай на все четыре

стороны.

Курбский задумался на минуту: попытаться ли еще усювестить брата не нудить сестры ийти в монастырь, а дать ей быть счастливой с милым человеком? Да нет, брат Николай не таков; уступки от него не жди!

— Дело мое проиграно, — промолвил он вслух, — я сдаюсь. Но подписки тебе я никакой не выдам: как доселе я не искал твоего наследия, так же точно обойдусь без него и впредь.

— На бумаге, брат, такое обещание все вернее. Желчь поднялась в Курбском. Молодое самолюбие его восстало против дачи письменного документа, который обличал бы оказанное ему недоверие. Но при движении, которое он сделал тут, связывавшие его веревки больно врезались в его тело и напомнили ему, что он во власти брата. Благоразумие заставляло его уступить.

— Ты дашь мне, однако, переговорить сперва с сестрою? — спросил он.

— Нет, не дам.

— Ты отказываешь мне в такой малости!

— Коли это, по-твоему, малость, то тебе ни-

чего не стоит от нее отказаться.

— А без того я не выдам расписки!

— Не выдашь? Твое дело, холодно проговорил старший брат и взял со стола карандаш. — До утра оставляю тебе сроку. Надумайся — ладно; не надумаешься, будешь стоять на своем — готовься идти прямо в острог, а оттуда на лобное место.

Дверь стукнула, замок щелкнул; со связанными руками и ногами герой наш очутился в темноте.

Сестра, быть может, еще ничего не знает и считает его за вероломного хвастуна! Он осыпал себя упреками за слишком большую доверчивость к пройдохе-шуту, который явно продал его.

Под утро, когда стало немного уже светать, Курбский забылся. Вдруг кто-то тронул его за плечо. Он открыл глаза: перед ним стояла высокая женская фигура в белом. Из-под блонд ночного чепца на него озабоченно строго глядело бледное, морщинистое лицо, обрамленное седыми буклями. Как она за пять лет осунулась, постарела! Он рванулся навстречу к ней.

— Мама! Вы ли это?

Княгиня отступила и приложила палец к губам.

— Тс! Николай не знает, что я взяла у него ключи... Она пристально заглядывала в его лицо, настолько освещенное из окна полусветом утренних сумерек, что она могла убедиться в юношеской свежести и красоте сына. Луч материнской гордости сверкнул в ее взоре. Но она тотчас же поборола нахлынувшее на нее доброе человеческое чувство, отошла к окну и, не оборачиваясь, заговорила:

— Ты, несчастный, стало быть, все еще не хочешь отказаться от отцовского наследия, хотя утратил уже на него всякое право?

— Я давно от него отказался, мама! — уверил сын.

— Так ли? А зачем же ты не хочешь дать подписки?

— Как это для меня ни унизительно, я все-таки дал бы ее, лишь бы раньше того мне можно было объясниться с сестрой Мариной.

— Да для чего тебе это? Чтобы сбить ее с толку?

— Не с толку сбить, а услышать из соб-

ственных ее уст, что она не сердает на меня за мою оплошность...

— И что она по своей охоте идет в монастырь?

— Этого-то я от нее не услышу.

— А я говорю тебе, что сама она того пожелала...

— Простите мама; но мне хорошо известно, что вы с Николаем ее неволите.

Княгиня с живостью повернулась от окна и сделала несколько шагов к сыну.

— Ты смеешь не верить!

— Самому мне очень прискорбно, но что же делать, мама, коли веры к вам уже нету?

— Не смей называть меня мамой, негодяй! Ты — баннит, и княгиня Крупская баннита не может признавать своим сыном.

Курбский закусил губу и потупил взор, как бы для того, чтобы, против его воли, ни одной жалобы, ни одного укора уже не вырвалось у него, ни один взгляд не выдал этой чужой ему теперь, бессердечной и гордой женщине, что у него на душе.

— Ты что ж это, негодник, и отвечать мне, взглянуть на меня не хочешь? — помолчав,

все более ожесточаясь, проговорила княгиня.

Ответа не было.

— А! Уже мальчишкой ты был нестерпимо упрям и зол, а теперь всякую совесть потерял? Баннит! Вот уж, погоди, нынче же мы выдадим тебя...

Баннит только повел плечом, как бы говоря: «ваша воля!» Мать постояла еще минуту; потом, не промолвив уже ни слова, в сердцах вышла вон.

Прошло около часу времени. Снова щелкнул замок, и на пороге показалась княжна Марина. Черты ее были страдальчески возбуждены, в глазах стояли слезы, губы беззвучно шевелились, но по движению их Курбский понял слова: «Ах, брат, брат!»

— Мама все же пустила тебя ко мне? — спросил он. Сестра сделала утвердительный знак головою и, казалось, ждала, чтобы он начал.

— Я кругом виноват перед тобою, дорогая сестрица, — заговорил он, — мне стыдно в глаза тебе глядеть...

— Так лучше... — глухо, чуть слышно прошептала она. — Без родительского благосло-

вения все равно не быть счастьем на земле. А мама прокляла бы меня. В иноческой келье я найду если не счастье, то покой душевный.

— Ты, Марина, так еще молода: тебе ей-Богу же грешно похоронить себя...

— Не искушай! — умоляющим тоном прервала княжна. — Я буду молиться весь век свой за маму, за тебя.

Тщетно брат пытался еще поколебать ее решимость; молодая девушка не горячилась, не сердилась, но дух и воля ее словно совсем были сломлены; она окончательно уже отрешилась от здешнего мира.

— Ну, что я говорила тебе, Михаил? — слышался около них строгий голос матери, которая незаметно вошла к ним. — Вот тебе бумага, перо и чернила. Пиши же теперь сейчас, что обещал Николаю. Но ты связан... Сможем ли мы развязать тебя?

— Михал — все же нашего рода, мама, — вступилась за брата княжна, — он не уйдет.

Сам Курбский не считал нужным оправдываться, но так глянул на мать, что та, уже не перечая, сама освободила ему руки и вместе с дочерью пододвинула к нему стол. Курбский



— Вот тебѣ бумага, перо и чернила. Пиши сейчасъ, что
общалъ Николаю.

обмакнул перо и написал:

«Отрекаюсь за себя и наследников моих, буде когда окажутся таковые, от всех моих наследственных прав на всякую движимость и маетность после покойного родителя моего князя Андрея Михайлова сына Курбского. Краков, в 10 день апреля 1604 года. Князь Михайло Андреев сын Курбский».

— Так ли? Довольно ли с вас? — спросил он, когда прочел матери вслух написанное.

— Так; но подпись твоя еще не удостоверена...

— А вы думаете, что я, пожалуй, откажусь от нее?

— Мама верит, и все мы тебе верим! — поспешила вмешаться опять княжна. — Довольно, мама, этого унижения, право, довольно! Дивлюсь я еще терпению брата Михала. Уже ли в сердце вашем не осталось уже ни искорки любви к младшему сыну?

Легкая краска выступила на бледных щеках старой княгини, и глаза ее гневно вспыхнули.

— У меня один сын всего — Николай. А тебе, — холодно отнеслась она к Курбскому, — тебе я, так и быть, отпускаю все прошлое и ничего от тебя более не требую! Можешь идти, куда хочешь.

Курбский не сводил с нее глаз. Но напрасно искал он в застывших чертах ее мелькнувшей давеча материнской нежности; она к нему даже шагу не сделала.

Тут две другие женские руки — руки сестры обвили его шею: голова девушки припала к плечу его; рыдания душили ее. Прощаясь с младшим братом, она как бы прощалась навеки и с этим миром.

— Ну, будет! — раздался над ними черствый голос княгини. — Идем, Марина!

Не взглядывая, молодая княжна, впереди матери, поспешно вышла из комнаты. Курбский, который невольно также прослезился, остался сидеть закрыв глаза рукою.

Вдруг он услышал свое имя; он опустил руку: пред ним стояла его мать и глядела на него с таким участием... Без слов он очутился в материнских объятьях.

— Смотри! — промолвила княгиня, выervo-

бождаясь из его рук, — и данная ей сыном подписка разлетелась в мелкие клочки. — Николай должен и так тебе поверить. О, если бы ты хотел только стать настоящим поляком!..

— Молчите, мама! Дайте мне помнить в вас одно доброе! Памяти отца я во всяком случае не опозорю.

— Ну, так второго сына у меня нет и не будет! — разом остыв, объявила княгиня. — Ступай — и забудь, что у тебя есть родные!

Ее не было уже в горнице. Как в чаду, Курбский очутился на улице, едва сознавая, что было с ним.

К действительности он вернулся только тогда, когда всходя у себя по лестнице, столкнулся лицом к лицу с предателем своим, Балцером Зидеком.

— А, Балцер! Очень рад, что встретил вас, — сказал он. — За последнюю услугу вашу я вас ведь не отблагодарил еще как следует.

Шут оторопел.

— О, никакой благодарности мне от вашей милости не нужно.

И он готов был дать тягу. Но Курбский уже схватил его одной рукой, а другой сорвал с гвоздя висевшую на стене нагайку.

— Нет, любезнейший, я не люблю оставаться в долгу! — особенно перед Иудой Искариотом.

Балцер Зидек понял, что ложью ему уже не извернуться. Надо было умиловить разгневанного наглым острословием.

— Помилуйте, ваша честь! Христа продали за тридцать сребреников; так как же вас-то было не продать за дважды тридцать?

Но и обычное остроумие на этот раз не вывезло. Молодой князь собственноручно отсчитал зубоскалу нагайкой несколько полновесных ударов, после чего, со словами: «Теперь мы в расчете», прошел далее.

Один из придворных Сендомирского воеводы был случайно свидетелем этого расчета и со смехом спросил шута, который, охая, почесывал себе спину:

— А что, Балцер, скажите-ка: что чувствуется после такой бастонады из княжеских рук?

— О, ваша милость, — огрызнулся тот, —

этого ни в сказке сказать, ни пером описать. Чтобы понять это Дивное чувство, надо самому испытать.

У царевича Курбский застал прибывшую за день перед тем депутацию с Дона. Еще во время пребывания Димитрия в Самборе, Вишневецкие и Мнишек, лично заинтересованные в скорейшем успехе покровительствуемого ими претендента на престол московский, прилагали возможные старания, чтобы склонить в его пользу всю шляхту в Малой Польше и на Украине. Одним из самых ревностных агентов их был староста истерский Михайло Ратомский, который с этою же целью отправился к донским казакам преданного ему шляхтича Щастного-Свирского. Благодаря искусным проискам комиссионера, донцы в самом деле отрядили депутатами к царевичу атаманов своих: Андрея Корелу и Михайлу Нежакожа. Пышная обстановка, окружавшая Димитрия, а еще более поистине царские, праздничные чествования его королем Сигизмундом, которых очевидцами они сами были накануне, не оставили, казалось, в простодушных донцах и тени сомнения в

подлинности сына Грозного царя. Недолго думая, они напрямик заявили царевичу, что на них и на родичей их он может полагаться как на самого себя.

— И скоро едете опять к себе на Дон? — спросил тут Курбский; а на ответ, что «скоро: денька через два», обратился к Димитрию, — Пусти меня с ними, государь! Объездил бы я для тебя и Украину, завернул бы в Запорожскую Сечь...

— А что, в самом деле? Свой человек на месте — великая помощь, — сказал царевич. — Без тебя, советчика и друга, на первых порах мне, пожалуй, скучно и тяжело будет; но, успеха ради, мало ли чем в жизни поступиться надо? А тебе же, друг, и оставаться тут не приходится: сказывал я вечор его величеству королю о твоём баннитстве; снять-то опалу с тебя он снимет, но видеть тебя впредь при своём дворе не желает: другим-де баннитам зазор и соблазн. Поэтому я не держу тебя: поезжай с Богом!

Так-то Курбский два дня спустя отбыл уже с донцами из Кракова. В день отъезда своего, однако, еще известился он, что в монастыре

кармелиток утром того же дня совершенно было, в присутствии папского нунция, торжественное пострижение в монашеский чин княжны литовской Марины Крупской.

Глава сорок первая

БРАЧНАЯ ЗАПИСЬ

Снова настало лето. Была вторая половина мая. На днях только пан Юрий Мнишек привез царевича Димитрия обратно в резиденцию свою — Самбор. В Кракове добились они только того, что король Сигизмунд готов был глядеть сквозь пальцы, если бы Сендомирский воевода негласно и, как бы, на свой страх стал вербовать по Литве и Украине в войско царевича всяких вольных рыцарей, жолнеров и искателей приключений, охочих до воинской славы и до чужого добра; причем на военные издержки не возбранялось воеводе употреблять доходы с вверенного ему воеводства. По совету Рангони, царевич отнесся с собственноручным письмом к всевластному в ту пору главе католического мира, папе Клименту VIII, прося благословения его свя-

тейшества на предстоявший ему великий подвиг — вернуть себе прародительский венец. Автором послания был, впрочем, не сам Дмитрий: триста лет назад искусство излагать письменно свои мысли было дано только немногим избранным, и названный сын Грозного царя, несмотря на природные дарования, на внешний лоск, не составлял в этом отношении исключения. Сочинение соответственной эпистолии было поручено пану Бучинскому, и тот, проникшись тайными желаниями царевича, изложил письмо так красноречиво и обошел, в то же время, так искусно всякие прямые обязательства будущего царя московскою перед римским престолом, что заслужил полное одобрение Димитрия. Менее доволен был отец панны Марины, который с глазу на глаз выразил сочинителю сожаление, что тот не сделал никаких оговорок, которые заграждали бы царевичу отступление.

— А на что же брачная запись? — отозвался со своей приятно-скромной улыбкой пан Бучинский. — В ней царевич должен обязаться, тотчас по возложению на него царского венца, принять и брачный венец; без Царско-

го венца для дочери пана воеводы, я полагаю, не может же быть и брачного венца.

— Верно, милый мой! — согласился пан Мнишек, почти с отеческой любовью оглядывая небольшую фигурку предусмотрительно-го секретаря, — недаром крохотный алмаз ценится дороже горы булыжной; вы, друг мой, алмазик чистейшей воды.

— И пан воевода доверит мне это дело?

— Кому ж доверить, как не вам! А что же вы имеете в виду внести еще в брачную запись?

— Хотя самборское староство и отдано пану воеводе якобы в полную собственность, — начал пан Бучинский, — но доходов с него еле-еле хватает на текущие расходы. Непредусмотрительные же расходы особенно возросли со времени пребывания московского царевича в доме пана воеводы. Казалось бы, эти последние расходы по всей справедливости должны бы быть возмещены в свое время из казны московской.

— И вы, пане Бучинский, находите удобным столь деликатный пункт включить также в брачную запись?

— В денежных делах, пане воевода, чрезмерная деликатность, простите, не у места. Впрочем, все зависит от формы, в какой будет изложен этот пункт. Затем предвидятся еще немалые издержки на снаряжение царской невесты и на путешествие ее в Москву. По моему расчету на возмещение как уже произведенных расходов, так и всех предстоящих можно бы назвать круглую сумму в десять сот тысяч злотых.

— Ой, ой! Не чересчур ли уж много?

— Лучше перепросить, чем недопросить.

— И вы думаете, что он охотно на это согласится?

— Охотно ли, нет ли — не знаю; но в конце концов что же ему делать? Далее позвольте уже без обиняков спросить пана воеводу: заготовлено ли уже в приданое столовое серебро?

— Гм... Правду-то сказать, покамест было столько других неотложных расходов...

— Значит, не заготовлено? И не беда; найдется. Точно также, быть может, у панны не имеется таких драгоценных клейнотов, какие подобали бы будущей царице московской?

— Где же взять-то ей было? Да и те, что имеются, не все еще, признаться, по счетам оплачены. А клей-ноты у вас, милый пане, тоже для нее найдутся?

— Да мало ли в Кремле московском и серебра, и клейнотов? Рано ли, поздно ли, они все равно перейдут в собственность молодой царицы московской; так могут ли быть какие-либо затруднения ко внесению их в ту же брачную запись? Но так как все мы под Богом ходим, в том числе и царевич Димитрий, то было бы не излишне ныне же записать на имя будущей царицы доходные уделы, хотя бы, примерно, Псков да Великий Новгород, разумеется, со всеми их пригородами и селами, с людьми думными, дворянами и детьми боярскими.

По мере того, как молодой секретарь развивал отдельные пункты брачной записи, глаза у пана Мнишека все ярче разгорались.

— Однако вы, милый Бучинский, заноситесь не слишком ли уж далеко? — воскликнул старик. — Вы забываете про московскую боярскую думу; с ее стороны, поверьте, будет сильный отпор...

— Несомненно будет; но столь же несомненно, что будущий царь московский разобязавшись записью перед своей венценосной супругой, настоит на своем. Владея же теми землями и вотчинами, молодая царица должна иметь полное право не только ими распоряжаться, построить в них римские костелы, монастыри, школы — чем она выполнит главный долг свой римскому престолу.

— И все это вы, дорогой пане, беретесь внести в брачную запись?

— По крайней мере приложу все старания, если пан воевода даст мне на то полномочие.

— Даю, даю и вперед одобряю!

Вечером того же дня пан Бучинский имел аудиенцию у царевича Димитрия и провел у него два часа При закрытых дверях.

На следующий же день, 25-го мая 1604 года, царевичем собственноручно был подписан договор с паном воеводой на польском и русском языках, составленный паном Бучинским и заключающий все упомянутые выше пункты[6], а вслед затем всей Сендомирской шляхте было разослано составленное тем же Бучинским циркулярное оповещение о по-

молвке московского царевича Димитрия с дочерью пана воеводы Юрия Мнишка, панной Мариной.

Глава сорок вторая НА МОСКОВИЮ!

Редкий польский сеймик мог похвалиться таким числом участников, сколько стеклось их к назначенному сроку под гостеприимную кровлю пана воеводы «для всестороннего обмена мыслей всех сочувствующих помолвке младшей дочери воеводы с царевичем московским», как значилось в циркуляре.

После «легкой» закуски, способствовавшей надлежащему подъему духа приглашенных, распахнулись двери огромного танцевального зала. В глубине его возвышалась на обитом красным сукном амвоне кафедра, перед которой были расставлены ряды стульев. На поддерживающих хоры колоннах были развешаны национальные флаги и щиты с фамильными гербами всей присутствующей крупной и мелкой шляхты, увитые кругом и соединенные между собою живою зеленью и

живыми цветами. На самих же хорах живым одушевленным цветником были собраны первые представительницы местной женской красоты в праздничных одеяниях. Ударявший в залу, сквозь высокие готические окна с расписными цветными стеклами, яркий солнечный свет, играя всеми цветами радуги, придавал всей торжественной обстановке какой-то волшебный оттенок.

Когда, по указаниям дежурных маршалков, гости по чинам заняли свои места, на кафедру взошел первым сам царевич Димитрий и, окинув окружающих смелым, гордым взглядом, обратился к ним с таким словом:

«Высокородные рыцари и доблестные сыны Речи Посполитой! Заслуги ваши гражданские и военные поставили отчизну вашу в ряд первых монархий Европы, и взоры всех соседей ваших с справедливой завистью и удивлением следят за каждым успехом великого польского народа. Всеблагой Промысл Божий явно бдит над своим избранным народом и в настоящее время дает ему новый случай покрыть себя неувядаемой воинской славой и привязать к себе узами безграничной

благодарности братское славянское племя. Законный вождь и покровитель этих ваших братьев стоит теперь перед вами. Но дерзкий и лукавый узурпатор еще в младенчестве исторг у него из рук монарший жезл, и благодаря лишь особой благодати того же всемогущего Провидения, до сего дня сохранилась жизнь помазанника Божия от коварных убийц. Благородные рыцари польские! Наияснейший король ваш Сигизмунд, как неизвестно вам, удостоил меня своей братской любви и осыпал царскими почестями; глава единой апостольской церкви, первосвященник римский, призывает на меня, недостойного, благословение Всевышнего. Ужели же одни вы, великодушные, бескорыстные, откажетесь протянуть мне руку помощи? О, нет! Не могу верить! Недаром вы — поляки! Как избранники судьбы, как орудие Божие, вы не задумаетесь возвратить вашим младшим братьям их природного царя, а царь этот (клянусь вам священной памятью моего незабвенного родителя, клянусь вам моим собственным спасением душевным!) — царь этот исполнит долг свой в отношении к святой римской

церкви и всей Речи Посполитой, в отношении к каждому из вас по-царски! Священнослужители латинского закона, имеющие бессленно сопровождать меня, как первые мои советники, до ступеней прародительского трона, озаботятся конечным торжеством истинного учения Христова в обширных областях моей дорогой отчизны. Продолжающаяся и поныне, с переменным счастьем, кровопролитная борьба храброго польского народа с упорным народом свейцев в конце концов несомненно увенчает оружие ваше свежими лаврами. Но борьба эта (нельзя скрыть!) по продолжительности своей тяготеет непосильным почти бременем на казне королевской, на всем народе польском. Новый царь великой Руси, памятуя свои священные обязательства к приютившим его благородным полякам, первым долгом своим почтет, конечно, вступить за правое дело и не положит оружия, доколе Речи Посполитой не будут возвращены спорные ливонские земли, а его королевскому величеству Сигизмунду — родовая корона свейская. Что же до каждого из вас, высокородные панове, то нужно ли мне давать вам еще ка-

кие-либо особые обещания? Смею ли я сомневаться, что каждый из вас, С присущей всем настоящим сынам Польши беззаветной отвагой и несокрушимым честолюбием, — и так сумеет взять себе с бою все воинские отличия и земные блага, какие предоставляет ратным людям война? Само собою разумеется, что чем кто больше поведет ратников, тем тот скорее и легче выдвинется перед прочими и достигнет заслуженного. Со своей стороны позволяю себе вполне уповать на известное всему миру мужество и благородство польской шляхты, и могу только заверить моим царским словом, что оказанная Мне вами добровольная помощь не будет забыта Мною!»

Говорилось это с таким увлекающим пылом, с таким искренним убеждением в прирожденность своих Царских прав, что присутствующие «высокородные и доблестные» рыцари слушали с возрастающим сочувствием, особенно с того места речи, где упоминалось о воинских отличиях и «земных благах», которые каждым из них могли быть взяты с бою. Таким образом, когда Димитрий сошел с

амвона, все, как наэлектризованные, повскакали с сидений, весь громадный зал зашумел, загудел.

— Теперь начнутся прения, и вашему величеству всего лучше на время удалиться бы на хоры, — шепнул царевичу пан Бучинский.

Тот последовал благоразумному совету и вслед за тем показался уже в вышине, на хорах, около своей Высоконареченной невесты, панны Марины.

Не отходивший от кафедры пан Мнишек, в качестве председательствующего, зазвонил в серебряный колокольчик.

— Не угодно ли кому, панове, высказаться по поводу сейчас выслушанного вами?

— Просим высказаться пана Осмольского! Да, да, пана Осмольского! — донеслось с одного конца зала, где сгучилась, по-видимому, оппозиция.

— Осмольский здесь? Да когда же он прибыл? Ведь его не было на закуске? Пропустите пана Осмольского! — раздалось с разных сторон.

Опальный поклонник панны Марины пользовался по-прежнему таким всеобщим

уважением в воеводстве, что когда он двинулся к кафедре, все стоявшие по пути его шляхтичи тотчас расступились, и он едва успел пожимать на ходу дружелюбно простиравшиеся к нему справа и слева руки.

— Неужто же вы, пане региментарь, против нас? — вполголоса заметил Мнишек Осмольскому, когда тот всходил на амвон.

Но пан региментарь и не взглянул на своего начальника. Спокойно и явственно он начал речь свою с того, что многие-де весьма уважаемые шляхтичи отсутствуют в настоящем собрании. Но почему? Потому что безусловно отвергают войну с дружелюбной Московией. Сам его царское высочество царевич Димитрий указал сейчас на то, что народ польский не в меру уже обременен тягостями войны с свейцами. Новая война с великим народом русским усугубила бы еще эти тяготы, не говоря о том, что исхода ее нельзя даже предвидеть. С другой стороны, царь Борис имеет мирную «пакту» с польским сеймом на двадцать лет, а такая «пакта» — тот же нерушимый закон, та же клятва...

Между слушателями поднялся шумный го-

вор, похожий на ропот. Слышнее, резче других звучал голос пана Тарло:

— Ну, да! Закон! Клятва! Москалям!

Не отходивший от кафедры пан Мнишек в свою очередь сердито буркнул недипломатичному оратору:

— Пожалели бы хоть мою бедную Марину!

Пан Осмольский невольно вскинул глаза на хоры к дочери начальника. Молодая панна, прелестнее собой чем когда-либо, глядела на него с вышины так печально, так укорительно, что он быстро отвел опять взор и забыл уже, казалось, продолжение своей речи.

— Ну, что же дальше? — донеслось нетерпеливо из среды волнующейся перед ним массы голов.

Он снова заговорил, но по неровному и миморному, словно виноватому тону его было ясно, что говорил он далеко уже не то, что намеревался сперва сказать:

— Конечно, если «пакта» эта заключена с узурпатором, то она не могла бы уже иметь той обязательной силы... и закрепив на престоле могучей дружественной державы наследственного царя, мы, поляки, гораздо лег-

че справились бы с нынешними врагами нашими, свейцами...

— Так, да не так! — крикнул снова пан Тарло. — Панове, не дозволите ли мне прибавить от себя несколько пояснительных слов?

— Да, да! Просим! Пусть говорит пан Тарло! Дайте сказать теперь пану Тарло! — загалдела разом сотня голосов, заглушая протест немногих сторонников мира.

Смущенный пан Осмольский безмолвно покорился требованию большинства, а победоносно занявший на кафедре его место пан Тарло окинул аудиторию орлиным взглядом и начал:

— Панове рыцари! Сейчас только воин польский, региментарь, осмелился во всеуслышание говорить вам о тягостях войны. Вы, лучшие представители Речи Посполитой, единодушно этим возмутились. Кто смеет сомневаться в мощи нашей дорогой отчизны, кому милее воинской славы горшок с гречневой кашей, тот сиди себе, пожалуй, с бабами за печью, но имей хоть совесть отказаться от своего воинского чина, от своего регимента...

Отошедший было пан региментарь живо

обернулся и с негодованием прервал ораторствующего:

— Пан Тарло извращает мои слова, панове! Но если бы вы точно решили войну, то я готов сложить с себя звание региментаря...

— И прекрасно! И давно бы так! — подхватил пан Тарло, и крик его нашел в толпе живой отголосок.

Поднялся общий гам и спор. Пан воевода нашел себя вынужденным взяться за председательский звонок.

— Благоволите, милостивые панове, выслушать до конца!

Выждав, пока волнение кругом несколько улеглось, пан Тарло самонадеянно еще прежнего продолжал так:

— Почтенный пан региментарь имел гражданское мужество добровольно отказаться от своего военного поста. Но самборское воеводство, благодарение Богу, не оскудело еще доблестными людьми: достойный преемник ему и между нами здесь хоть сейчас найдется. Скромность в сторону, позволяю себе указать не на свои собственные заслуги (о них ближе судить пану воеводе и всему ясновель-

можному панству), а на мою всегдашнюю готовность для блага родины жертвовать всем моим достоянием и моею головою...

Такое беззастенчивое самовосхваление не могло встретить большого сочувствия, потому что, хотя все присутствующие при оценке собственных заслуг, подобно пану Тарло, готовы были отложить «скромность в сторону», но относительно личности кандидата в региментари в мнениях своих решительно расходились.

Ранее, однако, чем кто-либо собрался, возражать, к немалому соблазну всех, а тем более самую пана Тарло, с хор, из цветущего букета прекрасного пола, на весь зал прозвенел голос молодой супруги нашего щеголя, пани Брониславы:

— Нет, нет, не верьте ему! Я не согласна, я не позволю!

Легко представить себе, какую злорадную веселость среди многочисленных чающих движения воды должен был возбудить этот супружеский протест. Короткие, но выразительные восклицания: «Гм! Недурно! О-го-го!» — долетавшие с разных концов зала до

слуха пана Тарло, на минуту как будто ошеломили и этого храбрейшего рыцаря; так что пан воевода счел своевременным вступить в дело.

— Уважаемый пан Тарло весьма верно заметил, панове, что в воеводстве нашем кандидатов на открывшуюся вакансию региментаря нет числа, заговорил он. — Каждый из вас может оценить свои личные качества, конечно, лучше других, и редкий, я полагаю, положив руку на сердце, признает себя недостойным кандидатуры. Но одну должность, к сожалению, по самой силе вещей, можно предоставить не более, как одному кандидату... Видит Бог, как охотно каждого из вас я возвел бы сейчас не только в региментари, но и в гетманы. Кроме этих начальнических должностей, однако, должны быть в войске и подначальные чины. Так иным из вас поневоле придется, на первое хоть время, удовольствоваться более скромными постами. При этом, впрочем, вы не упустите иметь в виду, что, согласно святому писанию, у кого есть много, тому много и дается. Кто поставит от себя хоругвь, тому честь, а кто поставит их две, тому

двойной почет. Поэтому, прежде распределения свободных мест, не благоугодно ли будет вам, милостивые панове, учинить рукоприкладство: кто сколько ратников снарядить от себя в поле; а я, как полномочный воевода Речи Посполитой, приняв от вас ратников, не премину, по долгу службы и совести, указать каждому из вас подобающее место. Поход состоится не ранее осени, когда кончатся главные заботы наши об урожае, и когда самый урожай определится. Предлагаемая же вам ныне подписка должна служить мне для ближайших соображений, какие до времени принять приговорительные меры. Пане секретарь! Благоволите предъявить почтеннейшим панам подписной лист.

Таким ловким оборотом дела пан Мнишек сразу прекратил дальнейшие прения, и паны без возражений всею гурьбою двинулись к кафедре, где появился уже пан Бучинский с пергаментным листом в одной руке и с лебяжьим пером в другой. Немногие собственноручно заносили на лист свое обязательство; большинство диктовало секретарю и затем выводило внизу более или менее привычною

рукою свое имя, или же просто ставило три ххх.

Настала очередь и пана Тарло. Хмурый, как ночь, он что-то медлил принять перо и бросил украдкой взгляд на хоры.

— Сколько ратников прикажете вписать от вашего имени, пане добродзею? — спросил пан Бучинский.

— Пишите хоругвь... — был глухой ответ.

— Целую хоругвь?

— Что, что такое? — донеслось опять звонко с хор. — Ничего не пишите: он не пойдет на войну!

В шумевшей кругом толпе послышался уже громкий смех. Пан Тарло обомлел, но тотчас снова пришел в себя и заявил во всеуслышанье:

— Пока я воздержусь еще определить цифру моих ратников и прошу отметить в списке только меня самого.

— Да я же не отпущу вас! — не унималась любящая супруга. — Я не куплю вам ни коня, ни вооружения!

Скандал вышел полный, небывалый. Пану Тарло ничего не оставалось, как поскорее сту-

шеваться, что он и не замедлил сделать.

Зато дальнейшая подписка имела блестящий успех: национальный гонор польский заставлял каждого из прочих подписчиков оттенить себя от бедняги пана Тарло возможно большим числом собственных ратников.

На последовавшем под вечер банкете эпизод с супругами Тарло служил одной из самых благодарных тем разговора. Ни самого щеголя, ни нежной спутницы его жизни не было на лицо. Но от придворного врача было всем известно, что пани Бронислава не на шутку занемогла; а злые языки прибавляли, что недомоганью этому был не беспричинен чересчур скорый на расправу супруг ее.

Великое изобилие на банкете яств и напитков, в особенности же присутствие, без разбора, именитой и бедной шляхты отозвалось на самом характере пиршества. Еще до «заедков» дамы вынуждены были покинуть столовую. Бессвязные речи, нелепые тосты и раскатистый хохот гудели, гремели с одного конца столовой до другого.

Один только царевич, сидевший между будущим своим тестем и новым секретарем,

был как-то раздумчив и молчалив. На участливый же вопрос пана Бучинского: чего он так нерадостен среди общего веселья, — Дмитрий тихо вздохнул:

— А вы не слышите разве, что у всех тут на уме, какое у всякого третье слово? «На Москву!» Чему вперед все рады? Конечно, не моему торжеству, а разорению моей отчизны!

— Да, ваше величество, уж не взыщите: вековые вражды двух народностей ни вам, ни пану воеводе сразу не искоренить. Скажу более: без этой вражды сегодняшняя подписка противу Годунова потерпела бы, может быть, неудачу.

— Хорошо хоть, что Курбского нет теперь при мне... — пробормотал про себя Дмитрий.

От входных дверей донеслась такая крупная брань, что все банкетующие повернули головы. Оказалось, что придворный шут Балцер Зидек цепким чертополохом ухватился за полы какого-то пана, который с негодованием, но тщетно от него отбивался.

— Сейчас брось его, Балцер! — гневно крикнул на балясника Мнишек. — Что у вас с

ним, пане Цирский?

Пан Цирский, мелкий шляхтич-однодворец, поневоле должен был подойти к вельможному хозяину, и с видом оскорбленного достоинства ударяя кулаком в грудь, начал объяснять, что, не желая понапрасну беспокоить пана воеводу, он тихомолком собрался восвояси, когда вдруг в дверях привязался к нему этот бездельник...

— Потому что пан по рассеянности кое-что еще здесь забыл, не все прихватил, — перебил его Балцер Зидек. — Позвольте поштучно проверить.

И прежде чем совсем оторопевший пан Цирский успел воспротивиться, проворный шут извлек из-под полы запасливого гостя пару серебряных ложек, серебряную же «талерку» и, наконец, позлащенную «пугару». Общее недоумение разрешилось гомерическим хохотом одних столующих и ропотом других. Уличенный похититель готов был, казалось, сквозь землю провалиться. Но великодушный хозяин дал поступку его совершенно неожиданную окраску.

— Я могу выразить пану Цирскому только

мою искреннейшую признательность, — сказал он, с легким разве оттенком иронии, — что в память сегодняшнего знаменательного дня он взял некоторую мелочь с собою. Эй, хлопцы! Уложить сейчас все это пану Цирскому в корзину да приложить полдюжины венгерского. Но особенно меня радует, что сделано это было так чисто: кроме записного нашего соглядатая, Балцера Зидека, никто-таки ведь из нас здесь ничего не заметил! Это был первый опыт предстоящих нам в Московии военных фуражировок, и опыт, надо отдать честь, вполне удачный! Предлагаю, панове, тост за нашего первого фуражира, пана Цирского!

Тост был принят с одушевлением и заключился единодушным ликованием пирующих:

— На Московию!

«Как хорошо, что Курбского нет при мне...» — повторил мысленно про себя царевич.

Утешался он только тем, что войско-то хоть у него обеспечено. Но и это утешение едва не было отнято у него на следующее же утро. Пан Мнишек казался чрезвычайно оза-

бочен; на вопрос же Димитрия: что его так сокрушает, — как бы нехотя отозвался, что вчерашний анекдот с паном Цирским наглядно, кажется, показывает, с какою голью, даже среди родовой шляхты, им придется иметь дело. Чего же после этого ждать от природных проходимцев, низкорожденной черни? Держать в надлежащей субординации такую шайку, одевать, содержать их всех — никаких сил и средств, пожалуй, не хватит.

Такой упадок духа пана воеводы, искренний или притворный, немало смутил Димитрия. Но опытный пан Бучинский, которому он, как ближайшему к себе теперь человеку, сообщил свои сомнения, разрешил их очень просто:

— Да пожалуйста ему также удел на Руси. Одним больше или меньше — не все ли уж вам одно? А духом он, увидите, мигом воспрянет.

И точно: пасмурное чело пана Мнишка тотчас просветлело, когда царевич, поразмыслив, последовал совету умника секретаря и новою грамотою, от 12-го июня 1604 года, пожаловал тестю княжества Смоленское и Се-

верское. Димитрию же сдавалось, что он подписал свой собственный приговор, и невольно вспомнился ему опять Курбский, при котором, как знать! он повел бы себя, может быть, совсем иначе.

А где же был тем временем сам Курбский?

Глава сорок третья МИШУК!

— Михайло Андреич! Ты ли это? Не сонное ли виденье?

Курбский задержал коня и протянул руку пешеходу, которого нагнал на дороге и в котором узнал Данилу Дударя, прошлогоднего спутника и «архангела» купца Биркина. Запорожец оглядел сперва свою собственную руку: чиста ли? отер ее о свои широчайшие шаровары и затем уже бережно принял и пожал кончики княжеских пальцев.

— Ведь твоя милость нонече не нашего поля ягода? И что ж это сказывали, будто ты долго жить приказал?

— Не всякому слуху верь, — отвечал Курбский, озирая изодранный чекмень казака. —

А тебе, Данило, каково живется?

— У Царя Небесного небо копчу, у царя земного землю топчу. Чего так загляделся на меня: что больно захудал, пообносился? Мы, братику, не привередливы: голодать, холодать давно за привычку.

— Так ты, стало, уже не при Степане Маркыче?

Данило сначала крупно выругался по адресу Степана Марковича, а потом словоохотливо поведал, как он жениху Марусину, Стрекачу Илье Савельичу, не дал пановать над собой, и как из-за этого-де у него с Биркиным крупная свара вышла, шумное дело.

«Так она, значит, еще не замужем!» — сообразил Курбский, а сам чувствовал, как кровь горячею волною прилила ему в лицо. Куда как охотно порасспросил бы он еще о Биркиных; но позади ехал парубок — стреманный его, и он стал рассказывать о самом себе, как побывал для своего царевича на Дону, да как вот, на обратном пути, завернул сюда, в Дубны; а тут сведал, что недалече, в Кринице, ярмарка знатная.

— И что старые знакомцы, Биркины, там

же? — подхватил Данило и сочувственно-лукаво подмигнул глазом. — Да, жаль ее, голубки; да что поделаешь! А вот и Криница!

С вышины пригорка они увидели под собою, в обширной, обросшей травой балке, как на ладони, всю картину ярмарки. Урочище Криница, отстоявшее от Лубен верст десять, славится с незапамятных времен своим целебным родником, к которому в десятую пятницу стекаются тысячи богомольцев и торговцев. Более возвышенная и сухая половина балки служит для торга. Среди двух рядов куреней и шалашей с «сластеницами» и разным готовым съестным товаром, скучилось до тысячи крестьянских возов с сырыми сельскими произведениями. В низменной болотистой половине балки виднелась самая «криница» — огороженный водоем, сажени четыре в длину и ширину, накрытый деревянным навесом, на столбах которого были развешаны иконы.

Торг еще не начинался: и торговцы, и покупатели столпились около «криницы», вода которой только что освящалась духовенством. Богослужение шло к концу. Вот цер-

ковный притч в золотых ризах дал место мирянам, и те плотной стеной, но чинно, шаг за шагом, с обнаженными головами, потянулись по деревянным мосткам к освященному источнику. Здесь каждый наклонялся к воде и либо черпал ее себе кружкой, кувшинчиком, либо просто брал ее горстью, чтобы окропить себе темя, омыть лицо.

Вдруг сердце в груди у Курбского екнуло и шибко забилося. В ряду богомольцев, возвращавшихся от родника, он разглядел толстяка Биркина, а рядом с ним стройную девушку в праздничном малороссийском платье. То была, конечно, Маруся, но не прежняя бойкая, цветущая Маруся, а какое-то угнетенное, как бы убитое горем существо: круглое пригожее личико ее вытянулось, поблекло; глаза углубились, окаймились темными кругами.

— Что она: недомогала, знать, сильно? — тихо спросил Курбский запорожца.

Тот покосился на стремянного, с интересом также засмотревшегося на невиданное зрелище, и тихо же ответил:

— Да, братику, занеможешь, небось! Глядеть на дивчину — вчуже жалость берет! На

солнышко просвечивает.

— Так она замуж-то идет не по доброй воле?

— Наступя на горло да по доброй воле! Хоть и держит нареченного в отдалении от себя, да дяде-то слова супротивного тоже молвить не смеет. Пуще же того по другом милом дружке она тужит, — с обычным добродушным лукавством прибавил казак, — без него ей и цветы-то не цветно цветут, и деревья не красно растут. А вот и он, вишь, злодей ее!

— Где? Который?

— А вон сейчас за ней, мозглявец. Образина-то одна уж чего стоит, продувная, богопротивная! Глазенки, что зверьки, по сторонам так вот и рыскают; а рожа оспой, что поле ржаное, вспахана: только засеять да заборонить. Сам Господь молодчика отметил.

При виде нареченного Маруси, на душе у Курбского стало еще тоскливей. Ужели ей жизнь прожить за этим «отмеченным»? Не жизнь то, а мука смертная! Как бы вызволить бедняжку?

Данило словно заглянул в душу молодого князя.

— Одно средство только и есть, — сказал он.

— Какое?

— Увозом увезти. «Краденый конь не в пример дешевле купленного обойдется», — сказал цыган.

Курбский, хотя сам не так давно еще замышлял сделать то же со своею родной сестрою, теперь почему-то наотрез отверг предложенную меру.

— Гляди-ка: торг никак зачинается, — промолвил он и, отдав коня своему парубку, сам с Данилою сошел по крутой тропинке в балку.

Ярмарочное движение живой волной подхватило, понесло их.

— Что покупаешь, господин честной?

— К нам пожалуйте, к нам, милостивцы!

— Почетный покупатель дороже денег: за даром отдаем.

Так раздавалось отовсюду, и десятки рук тянулись к красавцу-богатырю, таща его то к возам, то к шалашам.

— Ну вас к бисовой матери! — ворчал Данило, локтями пробивая вперед дорогу своему спутнику. — Гам и бестолочь, вавилонское

языков смешение, что на польском сейме!

Тут добрались они до довольно обширного куреня, сбитого на живую руку из лозняка и досок. На окнах заманчиво был выложен разный красный и галантерейный товар.

— Вот и Биркиных лавка, шепнул Курбскому запорожец.

В дверях стоял, с достоинством выпятив свое, еще более, казалось, раздобревшее брюхо, сам дядя Марусин и с профессиональным красноречием зазывал к себе проходящих. Он тотчас узнал Курбского, и если бы тот даже имел перед тем намерение не заглядывать к Биркиным, то теперь пройти так мимо уже не приходилось. Степан Маркович не менее Данилы был озадачен воскрешением молодого князя из мертвых и в первую минуту словно забыл, что слышал прошлым летом про склонность племянницы к гайдуку царевича, или же был слишком уже уверен в ней после данного ею Стрекачу слова.

— Мы тут на походе, — извинился он, — не изготовились принять как надобно, но редко-му гостю рады.

Приглашение было не очень-то радушно,

запорожец не был удостоен и взгляда; но Курбский, не прекослова, последовал за Биркиным в лавку. Бывший здесь с прочими приказчиками Илья Савельич рассыпался только что в похвалах разложенному на прилавках товару перед двумя лубенскими модницами и не имел поэтому времени обратить должное внимание на вновь вошедшего, которого хозяин тут же провел за переборку в заднюю часть куреня.

— Глянь-ка, Машенька, какого я тебе гостя-то привел!

Занятая за переносным очагом, Маруся быстро обернулась и сперва побледнела как смерть, чуть не упала с испуга, а вслед затем зарумянилась до корней волос, просияла светло-радостно. Пока она, по требованию дяди, устанавливала стол разной «немудрящей бакалеей», гость, скрывая свое собственное замешательство, стал рассказывать о своем спасении, а там о браке пана Тарло с панной Гижигинской и об ожидаемой помолвке царевича с панной Мариной.

— Всем-то угнездиться надо — дело житейское, — подхватил Степан Маркович. — И у

нас тут тоже свадьба на носу, пир зазвонистый. Тогда, князь, милости просим!

На глазах Маруси проступили слезы, и она поспешно обратилась снова к шипящей на огне сковороде.

Вбежавший в это время мальчишка вызвал хозяина в лавку, и молодые люди остались одни. Наступило тяжелое для обоих молчание, которое прервалось бы, может быть, не скоро, не явись на сцену совершенно неожиданный посредник.

Слегка притворенная боковая дверка внешне настезь растворилась, и оттуда выставилась, мыча, красивая бычачья голова с начинающимися рожками.

— Мишук! — вскрикнула Маруся и бросилась притворить опять дверь, но рогач, гремя копытами по деревянной настилке, шагнул уже вперед, и Курбский признал в нем своего прошлогоднего туренка, обратившегося за год времени в статного молодого тура.

«Она зовет его Мишукон: уж не по мне ли? — подумал Курбский. — И никогда с ним, знать, не расстается, коли и сюда-то из города с собой взяла...»

Тур, по-видимому, питал к своей молодой госпоже также большую привязанность, потому что, склонив перед нею голову, дал ей трепать себя по курчавой шее. Курбский подошел к молодому животному с другой стороны и стал также гладить его.

— Точно шелковый, — говорил он, а сам, не отдавая себе в том отчета, взял ее за руку. — Ты, Марья Гордеевна, очень его любишь?

— Да... потому... потому что... — залепетала она и, пуще застыдившись, отвернула пылающее лицо, но руки не отнимала.

Вдруг в двух шагах от них послышались скрип козловых сапогов и сердитое фыркание. Перед ними стоял нареченный Марусин, Стрекач Илья Савельич, задорно избоченясь и с искаженным от негодования лицом.

— Марья Гордеевна! Дяденька вас спрашивают: пожалуйста в лавку.

Маруся не потерялась; очень мало уже, видно, уважения внушал он ей, и, не глядя, сухо проронила:

— Ладно... Вперед выведу только Мишука...

— И сами без вас справим. Пожалуйте, пожалуйста! Здесь вам не место.

Не смея оглянуться на Курбского, девушка с нескрываемым отвращением сделала большой круг, чтобы миновать неподвижно торчавшего на пути ее жениха, и скрылась.

— Прощенья просим! — пробурчал Стрекач Курбскому, схватил тура за мохнатый загривок, а коленком изо всех сил пнул его в пах. — Ну, ты, шалый!

Мишук, должно быть, и ранее уже разделял антипатию своей госпожи, потому что при самом входе Ильи Савельича злобно повел на него своими большими белками. Бесцеремонное обращение с ним тщедушного купчика совсем его раззадорило. Склонив набок лобастую голову, он так свирепо напер на врага, что с одного удара сшиб его с ног, и прежде, чем Курбский успел помешать, повторил еще удар. Весь курень огласился таким болезненным воплем, что из лавки метнулись за переборку и хозяин, и племянница, и молодцы. Курбскому удалось между тем обхватить разъяренное животное за шею и втолкнуть его в боковую дверь. Все домочад-

цы столпились около пострадавшего, лишившегося чувств. Герой наш, видя, что никому уже не до него, почел за лучшее, не простясь, удалиться.

Глава сорок четвертая ОТЧЕГО КУРБСКИЙ ЧУРАЛСЯ БРАЧНОГО ВЕНЦА

Вечерело, а Курбский все еще не оставлял Криницы, хотя не оставался уже в ярмарочной балке. Велев стремянному ждать себя, он взобрался на вершину одного из окружающих балку лесистых холмов, чтобы здесь, в отдалении от людской суеты, на досуге поразмыслить о себе и Марусе. Лежа на спине с сложенными за голову руками, глядел он, не отрываясь, в синевшее между тихо колеблющимися древесными вышками, безоблачное небо. Березы кругом, словно перешептываясь о нем, таинственно шумели, а из глубокой балки доносился смутный гул ярмарочной суеты.

Волнение его понемногу улеглось, но на душе у него по-прежнему было тяжело и без-

отрадно; мысли его, как ласточки, реяли туда да сюда, не зная, на каком решении окончательно остановиться.

Почудилось ему раз как-то под тем холмом, на котором он расположился, сердитое мычанье, и, странное дело! мычанье это напомнило ему Марусина четвероногого любимца. Вслед за мычаньем послышалось точно предсмертное хрипенье; потом грубый смех и говор людской. Что говорилось — он не мог разобрать, да ему было и не до того.

Но тут голод начал заявлять свои права. Курбский нехотя приподнялся и начал спускаться под гору.

Так ведь и есть! Под самым холмом, в лужах дымящейся еще крови, лежали внутренности убитого сейчас и выпотрошенного животного. Разбросанные кругом клочья курчавой черной шерсти могли в самом деле принадлежать туру... Но Курбскому все еще не верилось, что Маруся согласилась пожертвовать своим Мишуком.

Ярмарка оказалась в полном разгаре. Под вечер из окрестных сел и деревень понавалила еще тысяча-другая народу, и промеж возов,

перед палатками, шел самый оживленный торг, в воздухе стоял несмолкаемый гомон.

По краю балки, позади палаток, Курбский завернул к рассевшимся тут со своими съестными припасами торговкам. Полные ночвы (корытца) животрепещущей рыбы, ползущих раков ожидали здесь любителей, для которых их тут же и чистили, жарили или варили на пылающих переносных очагах. В закрытых котлах были наготове горячие галушки и пельмени. Нечего, кажется, говорить, что наш молодой богатырь в своем панском платье сделался яблоком раздора продавщиц. Утоляя голод, он имел случай прислушаться к многоголосому ярмарочному концерту.

— Бери, друже, что ли! Торгуешь — хаишь; купишь — похвалишь, — звучало с одной стороны.

— Цыган да жид обманом сыт, — слышалось с другой.

По более пологим скатам балки живописными группами разместились приезжие паны, «пидпанки», а больше всего простонародье. Где, луца подсолнечники, слушали слепца-кобзаря и в унисон ему подтягивали; где

ели и пили, гуторили, а где забавлялись в кости, в орлянку и в азарте крупно перебрались.

В одном месте, под самым скатом, посредине дороги, народ столпился такой плотной стеной, что Курбскому не было возможности пробраться. Из-за этой живой стены доносились бречание бандур со звоном литавр, гиканье с присвистом и одобрителный народный гомон. Подойдя ближе, Курбский, благодаря своему высокому росту, увидел через головы малорослой толпы следующую сцену:

Несколько подвыпивших панов полулежали в кружок на разостланных коврах и пировали. Символическим изображением их пиршества служила красовавшаяся на большом серебряном блюде, увенчанная зеленью, голова молодого тура. Но центром всеобщего внимания был Данило Дударь, который, сбросив с плеч свой казацкий чекмень, отплясывал трепака.

— Живо, эй, живо! — прикрикивал он на старика-бандуриста и мальчика-литаврщика, прилагавших и без того все усилия, чтобы извлечь из своих первобытных инструментов

возможно-задорные и громкие звуки.

Пот лил с плясуна уже градом, а он, гикая, взвизгивая, все неистовее приседал, привскакивал, выводил все новые коленца. Вдруг одна нога у него как-то подвернулась, и он распластался в пыли, да так и остался лежать в растяжку. Громогласный хохот глазающей черни и полная чара пенистой браги из рук панских были ему наградой. Принимая последнюю, он заметил вдруг молодого русского князя.

— А, княже мой! Смотришь тоже, как добрые люди чествуют Данилу?

*«Ой, спасибо, тещеньку,
Ой, спасибо, матинку,
Як жив буду,
То вже не забуду!»*

Курбский сделал ему знак, что желал бы поговорить с ним, и запорожец, подобрав с земли свой чекмень, не совсем охотно последовал за ним. Первый вопрос касался турьей головы на панском блюде. Оказалось, что то в самом деле была голова бедного Мишука, которого Биркин, за его крутую расправу с Марусиным женихом, сбыл панам, а те тут же

велели приколоть да на доброе здоровье и скушали.

— А что, разве этому Илье Савельичу так уж плохо? — спросил Курбский.

— Нехорошо, братику, совсем, кажись, нехорошо! Призывали к нему знахарку: сказывает, что два ребра у него переломлено, да нутро повреждено.

— Гм... Жаль мне беднягу; но из-за Марьи Гордеевны я все же, грешный человек, рад. Свадьбу, поди, теперь отложат?

— Знамое дело; до свадьбы ли им! А тебе, Михайло Андреич, небось, повидать бы еще ее?

Курбский покраснел и замялся.

— Не то, чтобы... но одну вещицу передать...

— Давай — отнесу.

— Нет, мне надо отдать ей из рук в руки. Казак лукаво прищурился.

— Смекаем! Ну, что ж, к самому вечеру, как совсем стемнеет, народ порассыпется по горам, по долам, огни по деревьям зачнет зажигать, — тут, я чай, и Марья Гордеевна выйдет из дому.

Солнце спряталось, и сумерки украинской ночи быстро сгущались над Криницей и окружающими ее холмами. Курбский поднялся опять на один из этих холмов, где, по уговору с запорожцем, тот с Марусей могли затем найти его. Кругом, по всем возвышенностям, ближе и дальше, раздавались веселые оклики ярмарочного люда, выбиравшего себе наиболее удобные места для предстоящего зрелища.

Вот на побледневшем небе робко проглянула вечерняя звезда. Внизу, на дне балки, за наступившим полумраком ничего уже нельзя было толком различить: очаги все были потушены, и только несмолкающий, смутный гам, доносившийся оттуда, говорил, что жизнь там еще не замерла.

В воздухе стояла сыроватая, душистая теплынь и такая тишь, что ни одна ветка на деревьях не шевелилась, словно сама природа притаилась в ожидании того, что будет.

Вот и совсем стемнело, а в вышине, в небесах, ярко вызвездило.

Вдруг, в самом отдаленном углу балки, там, где находился чудотворный колодезь,

блеснула такая же светлая звездочка; вслед за нею другая, третья, десятая, сотая: то зажигались тонкие восковые свечи, прилепленные благочестивыми богомольцами на срубе криницы. Освещение колодца было как бы общим сигналом. Такие же огоньки начали вспыхивать по всему пространству обширной балки: на очагах, на телегах, на рогах волов. Одновременно и вся окрестность озарилась: чуть не каждое дерево на окружающих холмах засверкало огнями. Эта простая сама по себе, но колоссальная иллюминация представляла что-то сказочно-фантастическое, небывало-торжественное. Что значила перед нею та великолепная в своем роде иллюминация из плашек и транспарантов, которая, в честь царевича, была устроена королем Сигизмундом на Пасхе в Кракове!

Здесь дело не ограничилось еще зрелищем. Лишь только засветились огни, как на одной из вершин невидимый запевало затянул духовную песню, которую тотчас подхватил невидимый же хор. Как бы в ответ, с противоположной вершины зазвучала народная хоровая песня; а из балки поднялось разом

несколько хоров, под аккомпанемент звенящих крестьянских кос.

Тут запели и на прочих холмах, и эти разнообразные напевы нескольких тысяч певцов росли, переливаясь, и общим ликующим гимном возносились к мерцающим бесчисленными звездами ночным небесам.

Как очарованный, Курбский глядел и слушал, забыв даже на время о Марусе. Вдруг из-за зелени перед ним вынырнули две темные фигуры: Данилы Дударя и женщины в накинутом на голову большом платке.

— Вот и мы! — говорил казак. — Теперя, голубушка, не от кого тебе скрываться: покажися.

Девушка нерешительно отвела рукой платок, и Курбский увидел снова милое ему личико племянницы Биркина.

— У тебя, князь, есть что передать мне?.. — чуть слышно послышалось с ее губ.

— Да, вот пропажу твою.

Он отдал ей заветный ее перстень.

В первую минуту Маруся перстню своему будто сердечно обрадовалась; но вслед за тем готова была уже отказаться от него.

— Нет, нет, оставь его лучше на счастье себе... Ты из-за него же чуть жизнью и попла- тился: пан Бучинский писал мне... А мне все одно счастья уже не видать...

— И мне тоже... Я не возьму твоего перст- ня.

— Эх, вы, детвора моя! — вмешался запоро- жец, — глядеть на вас — смех да горе. Чем бы пораздумать хорошенько, как поваднее по- стылого жениха с рук сбыть, а у вас только: «ах!» да «ох!..» Надо, видно, Данилу Дударю за дело-то взяться. Жив быть не хочу, коли сва- дьбы не расстрою, не отобью у гаспида этого охоты жениться. Трус он естественный да во всякие приметы и знаменья, как в Бога свое- го, верит. Вот и намыслил я раздобыть вол- чьего или медвежьего жиру, булыжник им смазать, да по пути к церкви тот булыжник пораскидать: как поедете с ним под венец, ко- ни-то на дыбы, ни шагу далее... В лучшем ви- де дело состряпаем: комар носу не подточит.

— Нет, Данило, — печально, но с решимо- стью возразила Маруся, — слово мое Илье Са- вельичу раз дадено; теперь же, как и без того уж смерть над ним висит, измышлять нам

что противу него совсем уж не гоже...

— Так ему, стало, еще не полегчало? — спросил Курбский.

— Куда! Мечется, мучится так, что вчуже сердцу больно; а помочь-то нечем: знахарка и то с ног сбилась, ума не приложит. Коли Богу угодно, чтобы он все же оправился, то тому, значит, так и быть, и выйду я за него не прекословя. Если ж не оправится, то тоже воля Господня... и тогда...

— Тогда с другим, милым уже человеком, закон примешь? — досказал Данило. — И зато хошь спасибо: до чего ни есть хошь договорились! Что же ты сам-то, Михайло Андреич, молчишь, ни слова? Ведь любишь же ты ее тоже, всем сердцем любишь? А сухая любовь этакая, что сухой кус без поливки, только крушит.

«И за что я ее еще томлю-то? — думал между тем Курбский. — Ведь она, голубушка, в самом деле верит, что и у меня-то это одно на уме, что сам Господь свел нас с нею... Надо открыться ей...»

Глубоко переведя дух, он попросил заповождца оставить его, Курбского, наедине с Ма-

русей.

— Давно бы так, — одобрил Данило и от удовольствия крякнул. — Столкуйтесь, милые, как быть следует, не чинитесь, а я тем временем в балку сбегаю: в горле что-то пересохло.

Они остались одни. Как бы для защиты и опоры, Маруся обхватила рукою белый ствол осенявшей их березы и безмолвствовала. Но Курбский видел, что девушка вся, как лист, трепетала. А он готовит ей еще такой неожиданный удар...

— Прости ты меня, Марья Гордеевна, — начал он, и в голосе его слышалось искреннее сокрушение раскаянного грешника. — Я много, много виноват перед тобою. Сейчас вот Данило говорил тут, что пора мне тоже закон принять. А я-то... его уже принял...

Точно не смея понять, Маруся, бледная как смерть, уставилась на него расширенными от ужаса глазами. Вдруг ей стало ясно, что он для нее безвозвратно потерян, и что сама она словно стоит над бездною...

— Владыка многомилостивый... — пробормотала она. Свет помутился в очах ее, и она

бессильно прислонилась головой к стволу дерева.

— Женившись, не разженишься, — продолжал тихо Курбский. — Третий год я уже поженен, хоть и не по своему выбору, не по своей воле. Поведаю тебе все, как было.

И без утайки поведал он, как подростком еще бежал из дома родительского с Литвы на Русь, и как угодил тут в челядинцы к князю Рубцу-Масальскому.

— Была же в дворне княжеской вдовушка одна... Раиса... — рассказывал он далее, и по звуку голоса его слышно было, как тяжело было ему произнести это имя, — не из самых уже молодых: лет под тридцать; но из себя все еще красавица... Многие по крайности так находили. С виду будто цыганка: кожей смуглая, волоса как смоль, а глаза огневые, палящие. Этими-то глазами, а паче того речью ласковою безбожница всю дворню мужскую, можно сказать, заморозила. Подрос я — и меня тоже не обошла тут, наметила. По самому мне, скажу по совести, такие не любы. «А хочешь, Михайло, женю тебя на себе?» — говорила она мне смеючись. «Жени!» — говорю и

сам тоже смеюсь. Смех смехом, а женила! Случись праздник. Был грех, дал я спoitь себя хмельной брагой. Подсыпали, нет ли, в брагу мне какого еще зелья — сказать не умею. Словно сквозь сон помнится только, как везут меня с Раисой в церковь, как ведет нас поп вокруг аналоя... А на другое утро пробудился уже окрученным законным мужем Раисы! Больше всех смеялись сам старый князь с княгинею. И прежде-то сердце мое не лежало к Раисе, а теперь, как привязала она меня к себе воровски, насильно, — просто не глядел бы на обманщицу!.. Вестимо, что и я ей тут скоро опостылел. Выжил я год с ней, еще полгода, — сил моих долее не стало; крадучись, ушел я от нее в лес дремучий... О сию пору, кроме тебя, Марья Гордеевна, ни единая душа не слышала о моем позоре...

Маруся, припав к дереву, стояла неподвижно, как окаменелая. Только из-под опущенных ресниц ее тихо капали слеза за слезой. Теперь она, наконец, подняла голову и сквозь слезы взглянула на рассказчика.

— И с тех самых пор ты, значит, так и не видел ее?

— Нет... Бог с нею!

— Ах, князь Михайло Андреич! Как ни есть, она все же жена тебе перед людьми и перед Богом; что она-то тебя крепко любила, как жене должно, из твоих же слов видно. Тяжкий грех взял ты себе на душу!

Такой жестокий приговор со стороны дорогой ему девушки смутил Курбского.

— Так что же по-твоему, Марья Гордеевна, мне делать-то теперь?

— Выкупить ее у Масальских, принять к себе как жену законную и жить ладно и советно...

В это время снизу, от подножия холма, явно донесся распеваемый хриплым басом заключительный куплет шуточной песни о «Теще»:

*«Що витер загуде,
Теща дума: зять иде;
Що куриця киркне —
Теща и крикне.»*

Это Данило Дударь предупреждал молодых людей о своем возвращении. Маруся торопливо принялась кутаться в платок.

— Пора мне... Неровен час, хватится меня

дядя...

— А что пожелать мне тебе, Марья Гордеевна, на последнее прощанье — сам не ведаю... — сказал Курбский.

— Что Господь пошлет, то и благо. Ты же, князь Михайло Андреич, не забудь, смотри, своей Раисы... Дай Бог тебе счастья с нею!

— Нет, Марья Гордеевна, — с горечью возразил Курбский, — покуда мне не до нее: дай сердцу уходитья...

— Куда же ты собираешься отселе?

— На Сечу Запорожскую: для царевича рать вербовать.

Приблизившийся в это время к говорящим запорожец подхватил последние их слова.

— На Сечь Запорожскую? Ай да княже! Что дело, то дело! Кормилец, возьми-ка меня в товарищи! Я же там свой человек.

— Пожалуй, едем.

С великой радости Данило бросил в воздух шапку и поцеловал в плечо будущего патрона и товарища.

— А меж собой то, детки мои, на чем вы порешили?

— Навек прощаемся... — отвечал с глубо-

ким вздохом Курбский.

— Уж и навек! Бог милостив. А разлучиться до поры до времени надо, ничего не поделаешь. Ну, что ж, прощайтесь, сердечные, вы мои: мешать не стану.

Он отвернулся и слышал только за спиною как бы женский всхлип... А вот его тронула уже за руку Маруся и заторопила.

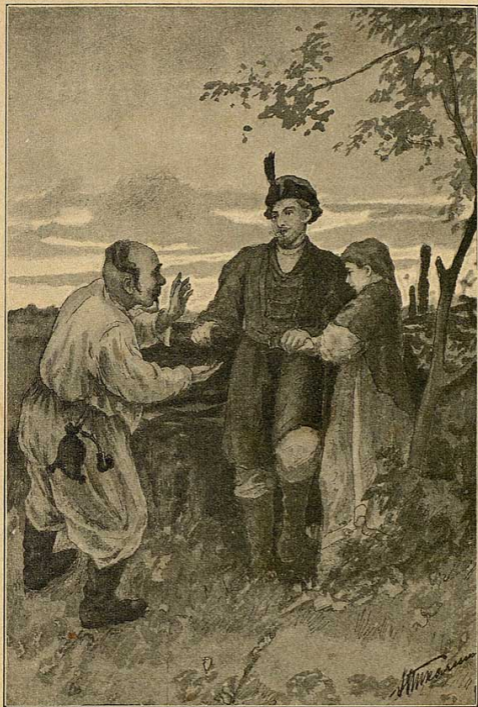
— Идем же, Данило, идем...

— Ну, полно, болезная моя, не убивайся, — утешал ее на ходу запорожец, — свидитесь еще, верь моему слову. Коли Савельич твой сам теперя не окочурится, так я лучше своим кулаком его пристукну...

— Что ты, что ты, Данило! Креста на тебе нет! — ужаснулась девушка. — Обещай мне только глядеть за князем в оба, чтобы ему дурна какого не учинилось.

— Об этом-то, красавица моя, не печалуйся: буду хранить его для тебя как зеницу ока...

А Курбский стоял все на том же месте. Народное празднество кругом не прерывалось: чуть где догорала свеча — зажигалась новая; песни сменялись песнями, и общему ликования этому, казалось, конца не будет. На душе



— Ну, что-жь, прощайтесь, сердечные вы мои: мѣшать не стану.

же Курбского было совсем темно, мертво. Распростившись с ним, Маруся словно унесла последнюю искру его жизни, и охотнее всего он сейчас же лег бы в могилу, чтобы навсегда забыться. Не поверил бы он, если бы даже кто мог предсказать ему, что Маруся вскоре будет свободна, так как жених ее уже не оправится, и что сам он, Курбский, не далее как через полгода снова с нею свидится...

1901



Примечания

1

То есть копеек, которых 100, как и теперь, составляли рубль.

[^^^]

2

Борис Годунов состоял в переписке с ленциантом прав Тобиасом Лонциусом в Гамбурге относительно устройства в России не только школ, но и университетов.

[^^^]

3

Ефимок — рейхсталер (от Joachimsthaler) принимался на Руси в XVII веке за 50 копеек.

[^^^]

По удостоверению современников, Вишневецкие титуловали Лжедмитрия I «величеством» еще на Волыни.

[^^^]

5

Банниция — изгнание из края и лишение всех гражданских прав; баннит — подвергшийся банниции.

[^^^]

Для любопытствующих мы считаем не лишним привести здесь дословно весь русский текст этого замечательного исторического документа:

«Мы, Димитрий Иванович, Божию милостию Царевич Великой Русски, Углицкий, Дмитровский и иных, князь от колена предков своих и всех государств Московских государь и дедич. Рассуждая о будущем состоянии жития нашею не только по примеру иных монархов и предков наших, но и всех христиански живущих, за призрением Господа Бога всемогущего, от которого живет начало и конец, а жизнь и смерть бывают от него ж, усмотрели есмя и улюбили себе, будучи в королевстве Польском, в дому честном, великого роду, житья честного и побожного, приятеля и товарища, с которым бы мне, за помочью Божиею, в милости и любви непременяемой житие свое проводите ясневельможную панну Марину с Великих Кончиц Мнишковну, воеводинку Сендомирскую, ста-

ростенку Львовскую, Самборскую, Меденицкую и проч., дочь ясневельможного пана Юрья Мнишка с Великих Кончиц, воеводу Сендомирского, Львовского, Меденицкого и проч. старосты, жуп Русских жупника, которого мы испытавши честность, любовь и доброжелательство, для чего мы взяли его себе за отца, и о том мы убедительно его просили; для большего утверждения взаимной нашей любви, чтобы вышереченную дочь свою панну Марину за нас выдать в замужество. А что теперь мы есть не на государствах своих, и то теперь до часу: а как даст Бог, буду на своих государствах жити, и ему б попомнити слово свое прямое, вместе с панною Мариною, за присягою; а яз помню свою присягу, и нам бы то прямо обема сдержати и любовь бы была меж нас, а на том мы писаньем своим укрепляемся. А вперед во имя пресвятыя Троицы, даю ему слово свое прямое царское: что женюсь на панне Марине; а не женюсь, и аз проклятво на себя даю, утверждая сие следующими условиями. Первое: кой час доступлю наследственного нашего

Московского государства, яз пану отцу его милости дам десять сот тысяч злотых польских, как его милости самому для ускорения подъема и заплаты долгов, так и для препровождения к нам ея, панны Марны, будущей жены нашей, из казны нашей московской выдам клейнотов драгоценнейших, а равно и серебра столового к снаряду ея; буде не самому ея, панны, отцу, в небытность его по какой-либо причине, то послам, которых его милость пришлет или нами отправленным, как выше сказано, без замедления дать, даровать нашим царским словом обещаем. Другое то: как вступим на наш царский престол отца нашего, и мы тотчас послов своих пришлем до наяснейшего короля Польского, извещаяючи ему о том и бьючи челом, чтоб то наше дело, которое ныне промеж нас, было ему ведомо и позволил бы то нам сделати без убытка. Третее то: той же преж реченной панне жене нашей дам два государства великия, Великий Новгород да Псков со всеми уезды и с думными людьми, и с дворяны, и с детьми боярскими, и с попы, и со все-

ми приходы, и с пригородки, и с месты, и с селы, со всяким владением, и с повольностью, со всем тем, как мы и отец наш теми государствы владели и указывали; а мне в тех обоих государствах, в Новгороде и во Пскове, ничем не владети, и в них ни во что не вступатися; тем нашим писанием укрепляем и даруем ей панне то за тем своим Еловом прямо. А как, за помочью Божиею, с нею венчаемся, и мы то все, что в нынешнем нашем письме написано, отдадим ей, и в канцрерии нашей ей то вовеки напишем, и печать свою царскую к тому приложим. А будет у нашей жены, по грехом, с нами детей не будет, и те обои государства ей приказати наместником своим владети ими и судити, и вольно ей будет своим служилым людям поместья и вотчины давати, и купити и продавати, также вольно ей, как ся ей полюбит, что в своих в прямых удельных государствах монастыри и костелы ставити Римские, и бискупы и попы Латинские, и школы поставляти и их наполняти, как им вперед Жити; а самой жити с нами; а попы свои себе

держати, сколько ей надобе, также набоженство своей Римския веры держати безо всякие забороны, якоже и мы сами, с Божиєю милостию, соединение сие приняли; и станем о том накрепко помышляти, чтоб все государство Московское в одну веру Римскую всех привести, и костелы б Римские устроить. А того Боже нам не дай, будет те наши речи в государствах наших не полюбятся, и в год того не сделаем, ино будет вольно пану отцу и панне Марине со мною развестися или пожалуют побольше того подождут до другого году. А яз тепере в том во всем даю на себя запись своею рукою, с крестным целованием, что мне все сделати по сему письму, и присягою на том на всем, при святцком чину, при попех, что мне все по сей записи сдержати крепко и всех русских людей в веру Латинскую привести. Писано в Самборе, месяца мая 25 дня, лета 1604».

Подписано: «Царевич Димитрий».